МОСКОВСКИЕ ОБЫВАТЕЛИ

Михаил Вострышев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге — жизнеописания московских жителей, прославившихся своей ученостью, чудачествами, полезными делами и благими намерениями. Это новое, значительно дополненное издание книги — верный помощник тому, кто хочет глубже познать историю России и ее древней столицы, ибо через занимательные документальные рассказы о москвичах XVIII и XIX веков — врачах, иконописцах, фабрикантах, генералах, педагогах, юродивых и шутах — во всей полноте и живописности предстанет ее облик. О многих персонажах современный читатель даже не подозревает, так как о них за последние восемьдесят лет не написано ни строчки.

- Государственный деятель и ученый. Граф Яков Велимович Брюс (1670–1735)
- След на века. Главнокомандующий граф Захар Григорьевич Чернышев (1722–1784)
- Настоятель мужицкой обители. Основатель Преображенского кладбища Илья Андреевич Кобылий (1731–1809)
- Великий вития. Митрополит Платон (1737–1812)
- Последний настоящий вельможа. Полководец, московский главнокомандующий князь Юрий Владимирович Долгоруков (1740–1830)
- Любитель древностей. Историк граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817)
- Арест просветителя. Писатель и издатель Николай Иванович Новиков (1744–1818)
- Законоискусник. Юрист Захарий Аникеевич Горюшкин (1748–1821)
- Агония русского барства. Князь Николай Борисович Юсупов (1750–1831)
- Жизнь в анекдотах и фактах. Поэт Ермил Иванович Костров (1751–1796)
- Купеческая честь. Предприниматель Иван Семенович Живов (1755–1847)
- Восторженный немец. Московский комендант Иван Крестьянович (Христианович) Гессе (1757–1816)
- Мастер сыска. Следственный пристав Гаврила Яковлевич Яковлев (1760-е —1831)
- Сумасшедший Федька. Московский главнокомандующий граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826)

- Пиит осьмнадцатого века. Цензор Петр Афанасьевич Пельский (1765–1803)
- Нетленные дела. Благотворитель Дмитрий Петрович Горихвостов (ок. 1770–1846)
- Орловская порода. Бригадирша Екатерина Владимировна Новосильцева (1770–1849)
- Оборотистый букинист. Разносчик книг Иван Андреевич Чихирин (1770-е—1830-е)
- Вычихал каменный дом. Шут Иван Савельевич Сальников (1770-е — после 1830-х)
- Духовный полковник. Офицер Доможиров (1770—1830-е)
- Ищите женщину! Графиня Прасковья Ивановна Шереметева (1770-е—1803)
- Ангел-хранитель москвичей. Генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771–1844)
- Долг велит ехать. Врач Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831)
- Московский армянин. Генерал-майор Павел Моисеевич Меликов (1777–1848)
- Воспитанница природы. Поэтесса Мария Александровна Поспелова (1780–1805)
- Спешите делать добро. Тюремный доктор Федор Петрович Гааз (1780–1853)
- Доморощенный пророк. Юродивый Иван Яковлевич Корейша (1780-е—1861)
- Жизнь, похожая на длинный ноктюрн. Композитор, пианист и педагог Джон Фильд (Филд) (1782–1837)
- Расчетливый безумец. Дуэлянт граф Федор Иванович Толстой (1782–1846)
- На историческом ристалище. Историк Петр Васильевич Хавский (1783–1876)
- Дедушка Андрей. Городской голова, купец Андрей Петрович Шестов (1783–1847)
- Письма девушки-монастырки. Фрейлина Мария Аполлоновна Волкова (1786–1859)
- Усмиритель города. Генерал-губернатор граф Арсений Андреевич Закревский (1786–1865)
- Потомок Мономаха. Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1788–1863)
- Дед артистки. Математик и астроном Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788–1880)
- Кочевая жизнь. Приживалка Феодосия Ивановна Бартенева (1790–1835)
- Чистый сердцем. Инспектор Московского университета

Платон Степанович Нахимов (1790–1850)

- Подруга семиструнная. Гитарист, композитор и педагог Михаил Тимофеевич Высотский (1791–1837)
- Добросовестный обыватель. Общественный деятель Василий Иванович Розенштраух (1793–1870)
- Патриарх московских зодчих. Архитектор Михаил Доримедонтович Быковский (1801–1885)
- Искра огня. Балетмейстер и танцовщик Адам Павлович Глушковский (1793 — между 1868 и 1870)
- Именитая благотворительница. Председатель Дамского попечительного о бедных общества княгиня Софья Степановна Щербатова (1798–1885)
- Из рода Тучковых. Генерал-губернатор Павел Алексеевич Тучков (1803–1864)
- Изящный господин. Врач Александр Иванович Овер (1804–1864)
- Весельчак. Водевилист и актер Дмитрий Тимофеевич Ленский (1805–1860)
- Сатирический художник. Карикатурист Николай Александрович Степанов (1807–1877)
- Белая, словно ангел. Благотворительница Прасковья Алексеевна Муханова (1809–1894)
- Нелепый. Врач и переводник Шекспира Николай Христофорович Кетчер (1809–1886)
- Удельный князь. Генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891)
- Аскет труда. Финансовый и промышленный деятель Федор Васильевич Чижов (1811–1877)
- Летописец московских нравов. Очеркист Петр Федорович Вистенгоф (1811–1855)
- Кроток и смирен. Ректор Московской духовной академии протоиерей Александр Васильевич Горский (1812–1875)
- Искусство требует совести. Художник и реставратор Николай Иванович Подключников (1813–1877)
- Вольтерьянец. Профессор зоологии Карл Францович Рулье (1814–1858)
- Гаргантюа на русский манер. Поэт Петр Васильевич Шумахер (1817–1891)
- О пользе сценического искусства. Актер Малого театра Пров Михайлович Садовский (1818–1872)
- Мясницкий меценат. Предприниматель и книгоиздатель Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818–1901)
- По регламенту и по жизни. Полицмейстер Николай Ильич Огарев (1820–1890)

- Потомок нюрнбергских патрициев. Историк, дипломат, директор Московского главного архива Министерства иностранных дел барон Федор Андреевич Бюлер (Бюллер) (1821–1896)
- Тщедушен телом, но не умом. Издатель и директор лицея Павел Михайлович Леонтьев (1822–1875)
- Народный трибун. Поэт и общественный деятель Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886)
- Неопознанный гений. Издатель и публицист Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887)
- В суде, на чердаках и в дальних странах. Юрист, историк искусства и коллекционер Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895)
- В борьбе со своим сословием. Общественный и государственный деятель князь Владимир Александрович Черкасский (1824–1878)
- Дворянин в длиннополом сюртуке. Предприниматель Петр Ионович Губонин (ок. 1828–1894)
- Исследователи древностей. Археологи и коллекционеры граф Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884) и графиня Прасковья Сергеевна Уварова (1840–1925)
- Верный своей фамилии. Председатель Совета присяжных поверенных Михаил Иванович Доброхотов (1826–1869)
- Где они, русские самоучки? Печник Дмитрий Емельянович Гнусин (1826—после 1873)
- Садовод со знанием французского языка. Преподаватель французского языка Алексей Петрович Гемилиан (1826–1897)
- На 2-й Тверской-Ямской. Ямщик Иван Ильич Новиков (1828–1909)
- Первый почетный гражданин. Городской голова князь Александр Алексеевич Щербатов (1829–1902)
- Умудренный жизнью. Чаеторговец Петр Петрович Боткин (1831–1907)
- Газетчик. Издатель и репортер Николай Иванович Пастухов (1831–1911)
- В царстве, похожем на рай. Главный садовник Ботанического сада Московского университета Густав Федорович Вобст (1831–1895)
- Скромная жизнь и громкая слава. Директор Московского учительского института Александр Федорович Малинин (1834–1888)
- Запоздалый некролог. Купец Николай Александрович Найденов (1834–1905)

- Служба колдовским ароматам. Парфюмер Генрих Афанасьевич Брокар (1836–1900)
- Незабвенный учитель. Директор гимназии Лев Иванович Поливанов (1839–1899)
- Король русских мукомолов. Предприниматель Антон Максимович Эрлангер (1839–1910)
- Классик лесоводства. Профессор Петровской земледельческой и лесной академии Митрофан Кузьмич Турский (1840–1899)
- Неподражаемый адвокат. Адвокат Федор Никифорович Плевако (1842–1908)
- Маг и волшебник. Антрепренер и режиссер Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906)
- От карикатуры к портрету. Текстильный фабрикант Михаил Алексеевич Хлудов (1843–1885)
- Сеятель добра и знаний. Издатель детской литературы Дмитрий Иванович Тихомиров (1844–1915)
- Среди кошек и книг. Библиофил Федор Федорович Мазурин (1845–1898)
- Обыкновенная жизнь. Владимир Константинович Шпейер (1846–1915)
- Исследователь славянских песен. Музыкальный критик и пианист Юлий Николаевич Мельгунов (1846–1893)
- Вечера дяди Володи. Меценат Владимир Егорович Шмаровин (1847–1924)
- Тенор из рогожской слободы. Певец Павел Иванович Богатырев (1849–1908)
- Собиратель цифр. Статистик Николай Алексеевич Каблуков (1849–1919)
- Ясная погода души. Юрист и общественный деятель Михаил Васильевич Духовской (1850–1903)
- Добрая Шахерезада. Писатель Алексей Михайлович Пазухин (1851–1919)
- Создатель книжной империи. Издатель Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934)
- Жить учениками и для учеников. Надзиратель Земледельческой школы Федор Васильевич Соболев (1851–1914)
- Школьный труд. Начальница женской гимназии Ольга Афиногеновна Виноградская (1853–1914)
- Директор иконописной палаты. Академик живописи Клавдий Петрович Степанов (1854–1910)
- Пойте разумно! Директор Синодального училища церковного пения Василий Сергеевич Орлов (1856–1907)

- Русский инженер. Директор Технического училища и председатель Политехнического общества Александр Павлович Гавриленко (1861–1914)
- Начало русского кино. Кинорежиссер Василий Михайлович Гончаров (1861–1915)
- Поклонник горной красоты. Экономист, географ, библиофил, основоположник альпинизма в России Александр Карлович Фон Мекк (1864–1911)
- Три пасхальные службы. Религиозный и общественный деятель Александр Дмитриевич Самарин (1869–1932)
- Иллюстрации
- Примечания
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Государственный деятель и ученый. Граф Яков Велимович Брюс (1670–1735)

Ибрагим узнал… ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом.

А. С. Пушкин «Арап Петра Великого»

Одна из самых значительных и загадочных личностей эпохи царствования императора Петра I — граф Яков Велимович Брюс, потомок древнего королевского рода Шотландии, правившего страной в начале XIV века. По выражению историка В. Н. Татищева, ученика графа Брюса, это был человек «высокого ума, острого рассуждения и твердой памяти, а к пользе российской во всех обстоятельствах ревнительный рачитель и трудолюбивый того сыскатель».

О Брюсе на протяжении двух с половиной веков ходили и ходят до сих пор десятки легенд, в основе которых лежит мнение народа о нем как о выдающемся ученом и обладателе тайного знания. Не странно ли: просвещенная Россия почти забыла его, а память о нем сохранилась в среде простого народа? Все «птенцы гнезда Петрова» в нашем воображении предстают как реалистические личности, и только граф Брюс имеет два лица: историческое — полководца и ученого и легендарное — чернокнижника и колдуна…

— Квартира его была на Разгуляе — жена там жила. И посейчас дом цел, гимназия в нем раньше была. Там Брюс сделал вечные часы и замуровал в стену. До сих пор ходят. Приложишься ухом и слышишь: тик-так, тик-так… А сверху вделал в стену фигуристую доску, а к чему — неизвестно.

Новый хозяин думает: к чему эта доска? Долой ее! Начали выламывать — не поддается. Позвали каменщика. Он киркой — стук, а кирка отскочила да его по башке — стук. Каменщик удивился: «Что за оказия такая?» — «Эту доску, — проговорился хозяин, — еще Брюс вделал». Тут каменщик принялся ругаться: «Чего же ты раньше не сказал!.. Пусть черт выламывает эту доску, а не я». И ушел.

Дом на Разгуляе народная молва усиленно приписывает Брюсу, хотя документально эта версия ничем не подтверждена

(здание принадлежало в конце XVIII века графу А. И. Мусину-Пушкину, затем 2-й Московской гимназии, Институту им. Карла Либкнехта, МИСИ). Брюс же жил на 1-й Мещанской, рядом с немецкой кирхой (ныне проспект Мира). В декабре 1925 года его особняк исследовали члены общества «Старая Москва» и обнаружили ход из белого камня, ведущий к подвалам Сухаревой башни, в которой, в свою очередь, нашли пять замурованных подземных ходов.

— Ведь это он календарь составил, все распределил по дням, месяцам, годам. Потому и называется «Брюсов календарь». Но только не в календаре дело, он все больше по волшебству работал. В Сухаревой башне ему помещение отвели. Там он и составлял разные порошки. Книги у него редкостные были, из них и брал. Конечно, без ума не возьмешь, а ум у него обширный был.

Сказания приписывают Брюсу даже саму постройку Сухаревой башни. Одна из наиболее любимых пьес московских простолюдинов XIX века так и называлась «Колдун с Сухаревой башни». Здесь, в подземной мастерской знаменитый граф хранил «Черную книгу», с помощью которой творил волшебство, и Соломонову печать на перстне, поворачивая который мог «от себя отвратить, все очарование разрушить, власть над сатаной получить». В библиотеке Академии наук в Петербурге хранится более восьмисот печатных и рукописных книг на четырнадцати языках из библиотеки Брюса. Среди них нет ни одной «по волшебству», в подавляющем большинстве это научные труды. Например, «Описание подземельным вешам Анастасия Кирхнера на галанском языке», «Книга анатомическая на аглинском языке», «Механика на польском языке Станислава Столского». По поручению Петра I Брюс составил первые голландско-русский и русско-голландский словари (СПб., 1717), редактировал переводы научной литературы, подготовил к печати первый русский светский учебник «Геометриа словенски землемерия» (М., 1708).

— Ты вот возьми, примером, насыпь на стол гороху и спроси Брюса: «Сколько, мол, тут?» Он только взглянет и скажет, и не обочтется ни одной горошиной. А то спроси: «Сколько, мол, раз колесо повернется, когда доедешь отсюда до Киева?» И это скажет. Вот он каков, арихметчик-то!

Научными приборами и инструментами Брюса долгие годы после его смерти пользовались многие российские ученые, в том числе и Ломоносов. Сохранились написанные «колдуном с Сухаревой башни» математические трактаты, выкладки по артиллерийской стрельбе, составленные им морские и небесные карты. Открытие научных трудов Якова Велимовича Брюса продолжается. Так, в 1981 году на XVI международном конгрессе

по истории науки канадский профессор В. Босе сделал доклад о найденной им в Англии рукописи Брюса «Теория движения планет». Это первая работа русских ученых о законе всемирного тяготения.

— Сделал он из стальных планок и пружин огромаднейшего орла. Придавит пружинку — орел и полетит. Сколько раз летал над Москвой! Народ высыпет, задерет голову и смотрит. Только полицмейстер ходил жаловаться царю. «Первое, — говорит, — от людей нет ни проходу, ни проезду. А второе, приманка для воров: народ кинется на брюсова орла смотреть, а они квартиры очищают». Ну, царь дал распоряжение, чтобы Брюс по ночам не летал. Не знаю, правда ли, а говорят, что нынешние аэропланы по брюсовым чертежам сделаны. Будто один профессор отыскал их, и будто писали об этом в газетах.

Под руководством Брюса началась планомерная разведка полезных ископаемых. Как начальник Монетной канцелярии он способствовал упорядочению денежного обращения. Благодаря его дипломатическим способностям в 1721 году был подписан Ништадтский мир, по которому Россия приобрела выход в Балтийское море. Выйдя в отставку в 1726 году, он поселился в подмосковном поместье Глинки и до конца жизни лишь изредка наезжал в Москву. Ходит предание, что в своем имении летом он катался на коньках, замораживая пруд, а зимой, наоборот, растаивал лед и плавал на лодке. Умер знаменитый «властитель жизни и смерти» 19 апреля 1735 года и был похоронен в немецкой кирхе. Когда в 1929 году на ее месте стали рыть котлован, обнаружили несколько склепов, в одном из которых лежали останки Брюса и его жены Марфы Андреевны, урожденной Маргариты фон Мантейфель. Сохранившуюся одежду графа — шитый золотыми нитями парчовый кафтан, камзол со звездою к ордену Святого апостола Андрея Первозванного и ботфорты, — отреставрировав, поместили в Государственный исторический музей, где они хранятся и поныне. Но народная молва не верит в столь прозаичную смерть легендарного чернокнижника.

— Выдумал он живую и мертвую воду, чтобы стариков превращать в молодых. Вот взял, изрубил в куски своего старого лакея. Мясо перемыл, полил мертвой водой — тело срослось. Полил живой — лакей стал молодым. Захотел и сам Брюс помолодеть. Вот лакей разрубил его, полил мертвой водой — тело срослось. А живой не полил. Ну, видят: умер, похоронили… А вернее всего, он жив остался, забрал главные книги и подзорные трубы, сел на своего железного орла и улетел. А куда — неизвестно.

И чудится: и по сей день парит верхом на железном двуглавом орле над ночной Москвой в камзоле и пудреном парике граф Яков Велимович, тщетно ищет Сухареву башню, по ступеням которой много раз спускался вниз, где в подземной лаборатории искал философский камень, или поднимался вверх, где по звездам предсказывал будущее. Ворчит Брюс, многое ему не по нутру в современной жизни. И срываются с губ гордые слова, начертанные на его графском гербе: «Мы были!»

След на века. Главнокомандующий граф Захар Григорьевич Чернышев (1722–1784)

Конечно, сначала москвичи селились на холмах. Но город разрастался, и простолюдинам все чаще приходилось ставить избы в низинах. И уже начали говорить, что Москва стоит не на семи холмах, а на болоте, в ней ржи не молотят. Из века в век горожане месили грязь, пробираясь от дома к дому по берегам многочисленных речушек, прудов, болот. «Фома поспешил, да людей насмешил — увяз на Патриарших». «Скорого захотела, пошла прямиком, да и садит по уши в Неглинной». И не то чтобы отцы города не заботились о нем никак, но то ли руки у них до всего не доходили, то ли не было у них к этому призвания.

Каждый московский градоначальник чем-нибудь да прославился в веках. Ростопчин — пожаром 1812 года, Закревский — борьбой с инакомыслием, великий князь Сергей Александрович — женой (великой княгиней Елизаветой Федоровной, причисленной ныне к лику святых). Граф Захар Григорьевич Чернышев, командовавший городом в 1782–1784 годах, оставил о себе память борьбой с московской грязью, желанием, чтобы его город чистотой напоминал европейские, в которых он побывал, служа в русском посольстве в Вене, участвуя в заграничных военных походах и находясь в плену у прусского короля Фридриха II. Чернышев уничтожил топи и болота на городских реках, приказал спустить большинство прудов при обывательских домах, сломал мельницу и запруду в устье Неглинной, благодаря чему Моховая, Воздвиженка и начало Никитской освободились от непролазной грязи.

Назначение шестидесятилетнего графа градоначальником в Москву можно назвать понижением в должности. Участник многих боевых сражений, генерал-фельдмаршал, наместник Белоруссии, ом был горд и щепетилен, поэтому по наущению екатерининских фаворитов часто попадал в опалу. Но не отчаивался и каждый раз, благодаря энергии, деловитости и ревностному исполнению воли императрицы, вновь взлетал вверх. Москва стала ему последним пристанищем, последним местом приложения сил. Когда 29 августа 1784 года Чернышев умер, москвичи сокрушались: «Хотя бы он, наш батюшка, еще два годочка пожил. Мы бы Москву-то всю такову-то видели, как он отстроил наши лавки». Имелось в виду, что по приказу графа

была отремонтирована Китайгородская стена и возле нее выстроены 204 деревянные лавки.

Удивительно, как много дел по благоустройству города успел завершить Захар Григорьевич. Несмотря на указ 1775 года об устройстве бульваров на месте стен Белого города, работы начались только при нем. Он построил на всех переходах в Кремль каменные мосты: Боровицкий, Троицкий, Спасский и Никольский; проложил Мытищинский водопровод до Кузнецкого моста; начал поправлять Земляной и Компанейский (Камер-Коллежский) валы; поставил пятнадцать застав с кордегардиями, обозначив черту города… Да что говорить, и поныне, двести с лишним лет спустя, московские градоначальники селятся в доме на Тверской площади, выстроенном из кирпича разобранной стены Белого города графом Чернышевым, а прилегающий к дому переулок носит его имя. Захар Григорьевич недолго прожил в Первопрестольной, но оставил в ней след на века.

Настоятель мужицкой обители. Основатель Преображенского кладбища Илья Андреевич Кобылий (1731–1809)

Чума появилась на исходе 1770 года за Яузой, в генеральном гошпитале. Ее пробовали истребить секретно, но она все набирала силу и расползалась по городу. Сто… Двести… Пятьсот… Наконец по тысяче человек в день стала косить моровая язва. Погонщики в дегтярных рубашках железными крюками набрасывали на свои черные фуры мертвые тела (будто стог метали) и с пьяными песнями тащились мимо церквей и кладбищ к бездонным ямам и рвам на краю города.

Нищим перестали подавать. Они обирали умерших и заражались сами. Никто не решался везти в зачумленный город хлеб. Подоспел голод. Во всех дворах горели от заразы смоляные костры. Пошли пожары. Но люди не спешили на выручку к соседу, другу, брату, все сидели взаперти и ждали конца света, предвещенного Иоанном Богословом.

Но самые отчаянные (или отчаявшиеся?) пожелали дознаться, что им сулят страшные слова из толстой церковной книги, и пришли к воротам дома главнокомандующего Москвы, фельдмаршала графа Петра Салтыкова. Оказалось же, что он, убоясь заразы, укатил в свои подмосковные деревни. Хорошо, когда есть куда катить, а как некуда?.. Прибежали ко двору губернатора тайного советника Ивана Юшкова… Тоже укатил. Обер-полицмейстера бригадира Николая Бахметева… Тоже в подмосковные. Московский архиерей Амвросий был еще здесь, но, хоть натерся чесноком и ежечасно поливал себя уксусом, выйти к народу не пожелал.

И тогда ударили в набатный колокол Царской башни Кремля. Ему вторили грозным воплем сотни колоколов приходских и монастырских церквей. Народ уверовал, что настал конец, и напоследок с кольями, камнями и рогатинами бежал к Кремлю. Одни бросились в его подвалы, по-выкатывали бочки с вином и на площади Ивана Великого устроили пир. Другие принялись ломать церковные и господские ворота, разорять алтари и гостиные. Не пожалели ни святынь Чудова, Данилова, Донского монастырей, ни тела своего святителя Амвросия. Начался кровавый пир, получивший в учебниках истории имя «Чумной бунт 1771 года».

Народ требовал:

— Хлеба!

— Бани и кабаки распечатать!

— Докторов и лекарей из города выгнать!

— Умерших в церквях отпевать и хоронить по-христиански! Но ни в покоях Екатерины II, ни во всей бескрайней России не нашлось дворянина, способного помочь несчастным. Новым мессией, возвратившим москвичам надежду, любовь и саму жизнь, стал Илья Андреевич Ковылин — бывший оброчный крестьянин князя Алексея Голицына, занявшийся в Москве подрядами, выкупившийся из рабства и успевший к тридцати пяти годам сделаться владельцем нескольких кирпичных заводов на Введенских горах.

Еще недавно он с другими староверами-федосеевцами по ночам тайно собирался на молитву в крестьянских избах близ Хапиловского пруда в Преображенском. Москвичи частенько слышали от священников и богобоязненных соседей, что раскольники — чада антихристовы, что они душат младенцев, летают на шабаш и жаждут православной крови. Даже рисковые удальцы предпочитали обходить стороной проклятые церковью и государством поселения иноверцев.

Но теперь рядом с раскольничьими избами стояли чаны с чистой теплой водой, всех желающих обмывали, одевали в чистое и кормили. Рядом на деньги, пожертвованные Ковылиным, вырастал не то монастырь, не то карантинная застава, не то богадельня с лазаретом, церковью, трапезной, кладбищем.

Чада антихристовы как за малыми детьми ухаживали за больными телом и духом москвичами. И повсюду поспевал немногословный степенный мужик — Илья Ковылин. Он перекрещивал новых прихожан в старую веру федосеевского толка, исповедовал и причащал тех, кто уже был готов навеки расстаться с бренной жизнью. А полторы сотни сытых лошадей с его кирпичных заводов тем временем вывозили из вымирающего города имущество хоронимых на новом Преображенском кладбище москвичей.

Наконец русская зима пересилила иноземную чуму, и город стал приходить в себя. Но раскольничья обитель не распалась, а с каждым годом крепла и выросла в одну из самых богатых общин России. Ковылину братья по вере без излюбленных государством расписок и счетов доверили свои главные капиталы. Он выстроил рядом с деревянными избами двухэтажные каменные дома (они используются как жилые помещения и по сей день), одел в камень староверческие церкви и часовни, окружил раскольничью твердыню высокими стенами с башнями.

Здесь собирались на свои тайные церковные соборы

соловецкие и стародубские старцы, чтобы поспорить: проклинать им в своих молитвах царствующего сатану или обойти презрительным молчанием.

— Антихрист правит царством, — пронзая суровым взглядом старцев, проповедовал Ковылин, — седьмой фиал льет на Россию, но не смущайтесь, братья, ратоборствуйте против искушений его…

Взирая на его внешнее благочестие, вслушиваясь в его непримиримое красноречие, старцы про себя шептали: «Владыко, истинный владыко». Но ни у одного не сорвались с языка эти слова, потому как превыше всего они почитали равенство.

Ковылин был старшим среди равных, хозяйственным распорядителем обители. Он следил, чтобы четко работали созданные староверами почта, суд, регулярные съезды. Он заводил знакомства с генералами и поварами генералов, с министрами двора и придворными портными, опутывая Россию сетью подкупленных им людей. Взятка правит государством, понял Илья Андреевич, и частенько говаривал: «Кинь хлеб-соль за лес, пойдешь и найдешь». С презрением, как алчному зверю, бросал он звонкое золото в чиновничью ниву, а взамен получал чистый воздух свободы.

Попробовал было обидчивый Павел I издать указ об уничтожении Преображенской обители, но Ковылин в день ангела преподнес новому московскому обер-полицмейстеру Воейкову большой пирог, начиненный тысячью золотых империалов. Имениннику пирог пришелся по вкусу, и он не торопился с исполнением строжайших государевых распоряжений. Вскоре же, в одну из темных петербургских ночей, нескольким *орлам* Екатерины попался под руку в императорской спальне сонный император, и Павел I уснул навечно, так и не насытившись своим непререкаемым авторитетом.

Новому императору Ковылин униженно писал, что «давность времени довела строения богаделен и больницу до совершенной ветхости», и просил Александра I взять под свое покровительство *престарелых и увечных* прихожан Преображенской обители. В ином стиле он вел переписку с министром внутренних дел князем Алексеем Куракиным: «Бога не боишься, князь, печь и недопечь. Московских старообрядцев твоими милостями царь приказал не тревожить. Теперь иногородним нашим братьям попроси тоже».

А тем временем по мощеному монастырскому двору *ветхой богадельни* бегали злобные псы с кличками Никон, Петр, Павел, Александр. Ворота обители всегда были открыты для беглых крестьян, которые получали здесь новое имя и старую веру. В молельнях, сложенных из мячкинского камня, перед старинными

образами горели полупудовые свечи, и мужчины в черных суконных кафтанах, застегивающихся на восемь пуговиц, женщины в черных китайских сарафанах с черными повязками на голове, двуперстно крестясь, крепили свое единство. «Нашими трудами вся русская полиция кормится», — усмехались они в длинных и сухих каменных подвалах, где ровными рядами лежали могущественные золотые и серебряные слитки, стояли сундуки со звонкой монетой, драгоценными камнями.

Ковылин показал, как оборотист и умен русский простолюдин; он создал мужицкую оппозицию правительству, которая, объединив несколько десятков тысяч людей, доказала, что можно и должно жить в равенстве, без кровавых злодеяний, что можно трудиться и пожинать плоды своего труда не благодаря, а вопреки монаршей опеке и руководству дворянства.

Я долго бродил по Преображенскому кладбищу в поисках ковылинской могилы. Она оказалась возле староверческой часовенки, куда теперь, кажется, запирают от сглаза кладбищенские метлы и лопаты. По бокам каменного гроба — точно такого же, как на соседних могилах, — высечены слова. Время поистерло их, но мне почудилось, что передо мной стихира о Ковылине, которую сохранили в своей памяти московские староверы, бежавшие к своим собратьям в топи Архангельской губернии после разгрома по приказу Николая I правительственными войсками Преображенской обители. В скрытых хижинах на высоких сваях, вдыхая дух свободы и болотную гниль, они пели:

— А любезный наш, тот, кто в нуждах наших поможет, наготу нашу прикроет, алкоту нашу удовлит, жажду нашу утолит — на кого нас, бедных, косных и увечных, оставляешь, кого, утехо наша, отче драгий Илия, вместо тебя за отца изберем?..

Великий вития. Митрополит Платон (1737–1812)

Греко-Российская Церковь имеет проповедника по имени Платон, такие сочиняющего проповеди, каких не постыдился бы и греческий Платон.

Вольтер

Избрание в 1730 году Анны Иоанновны императрицей мало тронуло душу жителей села Чарушникова, что в сорока верстах от Москвы. Посудачили лишь: какое житье за бабой? Разве изба, бабой срубленная, стоять будет? Земля, бабой вспаханная, хлеб даст? Но вот когда 29 июня 1737 года, в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла местный причетчик Георгий Данилов вдруг бросил звонить к утрене и побежал домой, это событие поначалу обескуражило мужиков. Оказалось, ему сообщили радостную весть — жена родила сына. Сочли, что столь редкое стечение обстоятельств при его появлении на свет — восход солнца, благовест к утрене и праздник великих учителей Церкви — предзнаменует последующее величие новорожденного, получившего при крещении имя Петр.

С детских лет будущий первоиерарх России, митрополит Московский, по собственным словам, «любил зело обряды церковные», ибо они возносили душу к красоте несказанной. Мальчик учился в Коломенской семинарии, а когда отца назначили священником в Москву, стал ходить в Славяно-греко-латинскую академию, где принял, по обычаю того времени, фамилию Левшин. О своих школьных годах он вспоминал: «Успевал я не столько от строгости отца, сколько от ласки матери». Уже в двадцать лет он был назначен в академии учителем пиитического класса и греческого языка, отличался истовой набожностью. Однако мать долго противилась вступлению его на стезю иночества, но все же по любви к сыну уступила ему, и в 1758 году Петр Левшин под именем Платона стал монахом Троице-Сергиевой лавры. До сих пор юноша жил в крайней бедности. В лавре же, вспоминал он, каждому монаху ежедневно отпускали бутылку хорошего кагору и штоф пенного вина. Платон, не пивший ничего хмельного, менял его на деньги и скоро смог купить себе шелковую рясу.

Любовь иеромонаха Платона к церковной службе, его дар проповедничества, прекрасный голос и осанистый вид не остались незамеченными. Императрица Екатерина II пригласила его в Петербург, законоучителем к цесаревичу Павлу Петровичу. Можно много говорить о жизни бывшего деревенского паренька при высочайшем дворе, о дружбе с высшими сановниками, которые часто обращались к нему за советом, о полезной деятельности на благо Отечества в Петербурге, а потом на архиерейских кафедрах в Твери и Москве, о многочисленных богословских трудах. Но дадим лучше слово молве, которая не жалует добрым словом человека без причины.

29 августа 1772 года по случаю победы русского флота над турецким и в воспоминание морских побед Петра I весь высший свет во главе с императрицей собрался в Петропавловском соборе. Заупокойную литургию служил Платон, который, перечислив заслуги великого преобразователя России, вдруг сошел с кафедры, подошел к гробнице Петра и воскликнул:

— Восстань теперь, *великий* монарх! Взгляни на плоды твоих трудов! Слушай, мы говорим с тобою, как с живым!..

Цесаревич Павел Петрович страшно испугался: а что, если прадедушка встанет? А граф Кирилл Разумовский прошептал близстоящим вельможам:

— Чего вин его кличе? Як встане, то всем нам достанетца…

Такова была сила внушения великого проповедника. В слова, сходившие с уст Платона, как завороженные верили первые люди государства, что же говорить о простолюдинах.

Как-то владыка сказывал проповедь в Успенском соборе Московского Кремля, а один из мужичков, за теснотой стоявший в северных дверях, плакал.

— О чем плачешь, служивый?

— Как же не плакать, владыку не слышно, а верно, он говорит что-нибудь душеспасительное.

В автобиографии, написанной от третьего лица, митрополит Платон допытался обрисовать свой характер:

«Свойства его отличительные были прямодушие и искренность…

Обходился со всеми ласково…

Несколько горд был против гордых…

Не был он сребролюбив…

Не нищие его, а он нищих искал…

Мало находил он людей, дабы с ними одних быть мыслей…

Был нетерпелив и к гневу склонен, но скоро отходчив и непамятозлобен».

Предания полностью подтверждают характеристику, данную

митрополитом самому себе. Вот одно яз них.

Однажды певчий владыки, известный сочинитель церковной музыки Коломенский, пришедши в келью митрополита и думая, что его нет, запел песню. Платон, не терпевший пьянствующих и разгневанный дерзостью Коломенского, велел отвести его для наказания на съезжий двор. Когда служители взяли под руки Коломенского, тот запел ирмос: «Безумное веление мучителя злочестиваго люди поколеба…» Платон улыбнулся и приказал оставить своего певчего в покое.

Москва обязана своему владыке лучшими церковными певцами и чтецами, для которых он сам служил призером; первой единоверческой церковью, открытой в 1801 году на Введенском кладбище; расширением и улучшением духовного образования. Но главное, кем был для москвичей митрополит Платон, это проповедником, «вторым Златоустом», «великим витией», «отцом духовенства», «московским апостолом».

Несмотря на всеобщую любовь, жизнь владыки нельзя назвать безоблачной. «Что касается дел мира сего, — писал он своему другу епископу Мефодию (Смирнову), — доброго нет ничего, и если бы религия и вера не поддерживали, я пал бы под бременем». Особенно на митрополита ополчилась группа архиереев за послабления старообрядцам, разрешение им открыть в Москве в 1801 году единоверческую церковь, где богослужения совершались по дониконовским обрядам, и за составление «Правил единоверия», одно из когорт гласило, что единоверческие священнослужители уравниваются в правах с общеправославным духовенством.

В 1783 году Платон занялся устройством уединенного приюта, куда решил переселиться на старости лет. В трех верстах от Троице-Сергиевой лавры, на речке Кончуре, среди рощ, лугов и Вяльцевских прудов избрал он пустынное место, которое назвал Вифанией, в память места, где Господь воскресил Лазаря. Здесь выстроили монастырь, семинарию, церковь во имя Преображения Господня, а под ней пещерный храм, где владыка приготовил себе могилу.

В 1812 году семидесятипятилетний старец прибыл из Вифании в Москву «умирать со своей паствой». Поговаривали, что он поведет народное ополчение против Наполеона, уже стоявшего в нескольких верстах от города. Его еле успели вывезти, одряхлевшего и разбитого параличом, за день до входа неприятеля в столицу. В Вифании 11 ноября 1812 года, утешенный вестью об изгнании врагов из Москвы, митрополит Московский Платон тихо скончался. Но и на этот случай у него была заготовлена проповедь, которую и прочитали над его

гробом.

«Господи Боже мой! Ты создал мя еси, яко же и все твари, даровал душу бессмертную, соединив оную с телом смертным и тленным.

Сей состав должен в свое время разрушиться, всем бо детям Адамовым предлежит единожды умрети, потом же суд.

Достигши далее семидесяти лет, болезнями удручаемый и разными искушениями ослабляемый, жду сего страшнаго, но вкупе и вожделеннаго часа, ибо и младый и здравый не весть, егда Господь приидет».

Последний настоящий вельможа. Полководец, московский главнокомандующий князь Юрий Владимирович Долгоруков (1740–1830)

Коренные москвичи на рубеже XVIII–XIX веков, по европейским меркам, умирали рано. Половина из них не доживала до двадцати двух лет, еще четверть — до пятидесяти. Доживший до шестидесяти лет дворянин был исключением из общего правила и считался глубоким стариком. Поэтому умерший на девяносто первом году жизни князь Юрий Владимирович Долгоруков своим долгожительством вызвал всеобщее изумление. Учитывая то, что его бурная, а иногда и буйная судьба не предвещала долгих лет жизни. Уже в шестнадцать лет он участвовал в Семилетней войне и в сражении при Гросс-Егерсдорфе был тяжело ранен в голову. Пришлось делать трепанацию черепа, и юный князь чудом выжил. Позже он еще участвовал во множестве войн. Командовал Киевским полком в Цорндорфской битве (1758 г.), брал Берлин (1760 г.), крепость Швейдниц (1761 г.), воевал в Польше (1763–1764 гг.), командовал кораблем «Ростислав» в Чесменском сражении, участвовал в осаде Очакова (1788 г.), разбил турецкое войско под Кишиневом (1789 г.)…

В 1790 году в чине генерал-аншефа вышел в отставку и поселился в Москве, где и прожил, за исключением небольших отлучек в Петербург, последние сорок лет жизни. Пытались то Екатерина II, то Павел I приласкать родовитого вояку, призывая вновь на царскую службу, но князь был строптив, презирал царских фаворитов и не прижился при императорском дворе. «Теперь, на семьдесят седьмом году, — признавался он, — начал я чувствовать, что уже силы мои ослабевают… Я всю мою жизнь единственным предметом имел быть полезным, честно век провести, ни в чем совестью не мучиться, благодарить Всевышнего, яко всеми деяниями управляющего, и просить спокойного конца и жизни вечной».

Боевой генерал, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, прямой потомок в мужском колене князя Рюрика и святого князя Владимира Ю. В. Долгоруков поселился в большом собственном доме на Большой Никитской[1]улице. Он

редко выезжал за ворота и ни у кого не бывал с визитами, но вся сановитая Москва считала своим долгом посещать его с поздравлениями в высокоторжественные дни.

Князь славился как русский хлебосол. Ежедневно у него обедало не менее двенадцати человек гостей, объедавшихся, как и хозяин, кулебякой, буженины, угрями, грибами и прочими полновесными блюдами. Конечно, русский обед сопровождался частыми возлияниями заморских вин. Когда гости расходились, бодрый старец брал в руки гусиное перо и аккуратным почерком, с соблюдением орфографии XVIII века, на полулистах толстой серой бумаги записывал для любимой дочери Варвары свои воспоминания о былом — о военных кампаниях, атаках, вылазках, штурмах…

Елизавета Петровна Янькова, тоже долгожительница (1768–1861), вспоминала о Ю. В. Долгоруком как об одном из последних истинных московских вельмож: «Дом князя Юрия Владимировича был на Никитской, один из самых больших и красивых домов в Москве. На большом и широком дворе, как он ни был велик, иногда не умещались кареты, съезжавшиеся со всей Москвы к гостеприимному хозяину, и как ни обширен был дом, в нем жил только князь с княгиней, их приближенные и бесчисленная прислуга. А на летнее время князь переезжал за семь верст от Москвы в Петровское-Разумовское, где были празднества и увеселения, которых Москва никогда уж больше не увидит…

На моей памяти только и были такие два вельможеские дома, как дома Долгорукова и Апраксина, и это в то время, когда еще много было знатных и богатых людей в Москве, когда умели, любили и могли жить широко и весело. Теперь нет и тени прежнего: кто позначительнее и побогаче — все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве, или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихохонько и живут беднехонько, не по-барски, как бывало, а по-мещански, про самих себя. Роскоши больше, нужды увеличились, а средства-то маленькие и плохенькие, ну, и живи не так как хочется, а как можется… Да, обмелела Москва и измельчала жителями, хоть и много их».

До конца своих дней старый князь не переменил моды XVIII века — пудрился и ходил в бархате и шелку. О нем говорили, что с первого взгляда можно было угадать — «это настоящий вельможа, ласковый и внимательный». Он жил при царствовании восьми императоров: Анны Иоанновны, Ивана IV Антоновича, Елизаветы Петровны, Петра **III,** Екатерины **II,** Павла I, Александра I, Николая I. И при каждом из них он именно жил, а не прислуживался, честно служил Отечеству, а не высочайшему двору, любил хлебосольную Москву, а не чиновничий Петербург.

Любитель древностей. Историк граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817)

Время от времени появляются скептики, сомневающиеся в подлинности сгоревшего в московском пожаре 1812 года единственного списка «Слова о полку Игореве». А вдруг разыскавший и опубликовавший этот величайший памятник древнерусской культуры граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин совершил подлог? А дружки его — Н. Карамзин, Н. Бантыш-Каменский, А. Малиновский — помогали ему в сем непристойном деле?

За несколько месяцев до гибели Пушкин ответил *первооткрывателям фальшивки кружка Мусина-Пушкина:* «Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока».

Да, трудолюбивый ученый-скептик сличит между собой десятки экземпляров первого издания «Иронической песни о походе на половцев…», екатерининскую копию, переводы с подлинника; кропотливо исследует язык «Слова» и даже ошибки языка, упоминающиеся в тексте исторические факты…

Но все это — наука, которая требует обширных знаний и усердного труда. Ленивому же скептику, как, впрочем, и большинству любителей чтения, скучно да и сложно следить за рассуждениями о каких-нибудь палеографических особенностях погибшей рукописи.

Но мог ли пожелать собиратель русской старины Мусин-Пушкин подлога? Не противоречит ли сей поступок его натуре?..

Действительный тайный советник; Московского университета, Академии художеств, мастерской Оружейной палаты, Беседы любителей российского слова почетный член; Российской академии, Общества истории и древностей российских, Экономического собрания действительный член; орденов Святого Александра Невского, Святого Владимира большого креста 2-й степени и Святого Станислава кавалер граф Алексей Мусин-Пушкин побывал и церемониймейстером двора Екатерины II, и управителем Корпуса чужестранных единоверцев, и обер-прокурором Синода, и президентом Академии художеств. На службе он, зная иностранные языки, предпочитал объясняться

на родном, постоянно обличал «вредную галломанию», за что имел немало неприятностей от придворных интриганов, но в то же время сыскал общее уважение и любовь у сослуживцев за свое «благорасположение к наблюдению истины».

Достигнув высших чинов и устав от придворной шумихи, Алексей Иванович поселился в родном городе, на Разгуляе, где сходятся Новая и Старая Басманные улицы, в собственном трехэтажном особняке с садом, через который протекала быстрая речка Чечера (московское предание упорно приписывает этот дом сподвижнику Петра *колдуну* Брюсу, занимавшемуся *черной магией* в Сухаревой башне).

Знатный вельможа всецело предался любимому делу. «Изучение отечественной истории, — признавался он, — с самых юных лет моих было одно из главных моих упражнений. Чем более встречал я трудностей в исследовании исторических древностей, тем более усугублялось мое желание найти сокрытые оных источники, и в течение многих лет успел я немалыми трудами и великим иждивением собрать весьма редкие летописи и сочинения». Началом его коллекции послужил архив Крекшина, служившего комиссаром при Петре I. В ворохах купленных по дешевке бумаг, для хранения которых понадобилось несколько сараев, Мусин-Пушкин обнаружил Лаврентьевский список летописи Нестора — краеугольный камень всей дальнейшей русской историографии; журнал Петра в 27 книгах и многочисленные его собственные заметки; бумаги патриарха Никона, историка Татищева, многих иных церковных и государственных деятелей; древнейшие хартии, грамоты, письма…

С этих пор богатый вельможа стал страстным собирателем русской старины — без должности, без оклада, потому как был, по выражению историка генерал-майора Болтина, *крайний древностей наших любитель.*

При дворе Екатерины II дамы и господа переписывали друг у друга элегантные фразы Вольтера и Дидро, зубрили диалоги из пьес императрицы, а в сырых монастырских подвалах Киева, Москвы, Новгорода гнили непрочитанными сокровища нашей культуры. Невежественные чиновники жгли на кострах вместе с бесцельными казенными бумагами бесценные архивы. Мелочные торговцы завертывали клюкву и соль в печатные и рукописные старинные листы, *коих прочесть не можно.*

Мусин-Пушкин, *муж, в древностях российских упражняющийся,* ничего не жалея, собирал драгоценные остатки народного просвещения. В провинции он имел комиссионеров для покупки старинных рукописей. *На ловца и зверь бежит.* Когда

стала известна его страсть, русские историки и императоры, настоятели монастырей и староверы, придворные чиновники и купцы стали приносить и привозить, продавать и менять, дарить и завещать ему отечественные древности.

Мусину-Пушкину удалось открыть список «Русской правды», «Поучения Владимира Мономаха», уже упоминавшуюся Лаврентьевскую летопись. Он опубликовал «Книгу Большому Чертежу», «Русскую правду», «Духовную Мономаха». Он обнаружил среди бесчисленных рукописных сборников «Слово о полку Игореве», сразу же понял его значение и издал в 1800 году, что было блестящим завершением патриотических усилий *кружка Мусина-Пушкина* в XVIII веке.

Он собирал по тем временам уж совсем бросовый товар — черновые рукописи поэтов, мемуары современников, письма, заразив своей страстью других подвижников.

Много трудов приложил он для подготовки словаря русского языка. Академическое собрание, натолкнувшись на древнее непонятное слово, то и дело записывало в своих решениях: «Просить о сем члена академии Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, яко мужа, довольно искусившагося в древних российских летописях».

Он не был скрягой, эгоистом. Профессора Московского университета и многие обыденные любители чтения постоянно пользовались его сокровищами. Узнав о смерти Мусина-Пушкина, Карамзин, воспитанный на книгах и рукописях его коллекции, с грустью вспоминал: «Двадцать лет он изъявлял нам приязнь».

В собранных старинных рукописях русский граф дорожил не мертвой культурой, которую надобно безмолвно созерцать, а опытом, нравами, обычаями предков, мудростью, которая создавалась веками. Каждая строчка примечаний Мусина-Пушкина к публикуемым манускриптам являлась связующим звеном между прошлым и настоящим. К фразе «При старых молчати» из «Духовной великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха своим детям» он дает пространное объяснение: «Долговременные опыты и многих лет учение, по пословице *век живи — век учися,* доставляют старикам преимущественное познание о вещах, благоразумие в рассуждениях и осторожность в определениях и в предприятиях; и для того юным советуют при старых молчати, рассуждений, советов, наставлений их слушать, обогащая через то свою память и ум вещами полезными и нужными».

И уж явные публицистические ноты, желание исправить существующий порядок и нравы звучат в комментарии к фразе: «В дому своем не ленитеся, но все видите — не зрите на тивуна…»:

«Некоторые дворяне, живущие в деревнях своих, и купечество в малых городах живущее, по древнему обыкновению воспитанное, держатся еще сего правила, что, не полагался на управителей, сами за всем в дому своем смотрят; но в столицах и больших городах живущие, и по новому образцу воспитанные, а паче те, коим великия богатства от родителей в наследие достались, почитая такое упражнение для себя низким, вверяют свой дом и деревни в полное распоряжение управителям и дворецким, проводя время в праздности, в лености, в неге и роскоши; отчего нередко случается, что через несколько лет не остается уже чем управлять и распоряжаться ни им самим, ни управителям их».

Но народная беда — нашествие Наполеона — заставила Мусина-Пушкина забыть на время о старине. Граф отправился в свои поместья собирать ополчение для борьбы с врагом. Он выступал на сходках перед крепостными, объясняя им, что это не рекрутский набор, а «временное ополчение для устранения и изгнания неприятеля, злобно в любезное наше отечество вторгшегося».

Граф рассказывал крестьянам о своем семействе:

— Старший сын служит при дворе у государя, но поступил в Петербургское ополчение, на что я его и благословил вместе с крестьянами подаренной ему деревни, посоветовав не гнаться за чином, а служить простым офицером. Второй был отпущен за две тысячи верст лечиться к водам, но теперь я послал к нему нарочного, чтобы, не мешкая, возвращался и вступил в Ярославское ополчение. Третий малолетен. Я же немощен уже, но если необходимость потребует, то не только на службу, но и на смерть готов: *мертвые бо срама не имут.*

Пока старый граф собирал и вооружал ополчение, Наполеон вошел в Москву и по-хозяйски разместился в древнем русском городе. Подвалы знаменитого дома на Разгуляе, где хранилась лучшая коллекция российских древностей, были разграблены завоевателями. Огонь довершил начатое варварами зло. А через несколько месяцев в битве при Люнебурге был смертельно ранен картечью в голову двадцатипятилетний Александр Мусин-Пушкин, любимый сын Алексея Ивановича, незадолго до войны принятый в Общество истории и древностей российских. Ему отец хотел завещать продолжить свои труды по разбору коллекции.

Горе подкосило старика, он медленно умирал. Но еще долгих пять лет оставался все тем же добрым, хоть теперь и нелюдимым, барином, продолжал собирать и объяснять памятники древнерусской культуры. Подвалы его дома на Разгуляе, заново отстроенного, вновь стали заполняться книгами и рукописями.

Незадолго перед кончиной Мусин-Пушкин как бы подвел

итог своей необычной по тем временам деятельности: «Любовь к Отечеству и просвещению руководствовали мною к собранию книг и древностей; а в посильных изданиях моих единственную имел я цель открыть, что в истории нашей поныне было в темноте, и показать отцов наших почтенные обычаи и нравы (кои модным французским воспитанием исказилися), и тем опровергнуть ложное о них понятие и злоречие».

Нет, не мог граф Алексей Мусин-Пушкин совершить подлог, не мог обмануть Отечество!

…И поныне в начале Елоховской улицы, на Разгуляе, стоит особняк любителя российских древностей (достроен в советское время четвертым этажом). Накануне 150-летия со дня рождения Мусина-Пушкина в 1894 году журнал «Русское обозрение» писал: «На стене его бывшего дома, где ныне помещается 2-я Московская гимназия, не мешало бы прибить доску с соответствующей надписью. Это воздаяние заслугам доблестного мужа послужило бы благим и назидательным примером для юношества, получающего воспитание в этом историческом доме».

Неизменным остается упование — прибить доску в память об усердном собирателе, исследователе и популяризаторе российских древностей.

Арест просветителя. Писатель и издатель Николай Иванович Новиков (1744–1818)

Князь Александр Александрович Прозоровский не любил Москвы, хотя императрица, поставив его главнокомандующим Первопрестольной, сразу же вручила и высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Князь куда больше дорожил первой наградой — орденом Святого Александра Невского. Тринадцать лет уже минуло с того дня, как в 1769 году он вплавь со своим отрядом перебрался через Днестр и смело гнал, рубил, полонил турок.

Гордился князь и «Георгием» третьей степени за покорение Крыма, полученным в год, когда московские мятежники поднялись на Чумной бунт. Пока они здесь, в своем якобинском городе, в злобе топтали и рвали верных государевых слуг, он проливал кровь за Отечество в войне с иноверцами.

Меньше ценил князь «Георгия» второй степени — награда досталась за наголову разбитое войско мятежного Батыр Гирея. Но если смотреть правде в глаза, кампания была не из трудных.

Прозоровский с завистью подумал о прежней военной службе, тогда он всегда чувствовал, где враг и как с ним поступить. В этом же пропахшем французской революционной заразой и раскольничьей ересью городе каждый день не похож на предыдущий, повсюду путаница, и не знаешь, откуда ждать неприятеля. На днях поймали студента с возмутительными стихами.

Цари! Я мнил, вы, боги, властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я, подобно страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых

И будь един царем земли!

Отослали смутьяна, как полагается, в Тайную экспедицию для расследования. Так что ж?.. Оказалось, крамола — не крамола, а восемьдесят первый псалом, переложенный в стихотворную пьесу кабинет-секретарем императрицы Гаврилой Державиным.

И порядка в Москве, как в войсках, не увидишь. Уж с полгода, как приказал очистить от сараев и свалок Москворецкую набережную, публика чтоб могла прогуливаться и от смрада не задохлась. Так нет же, Воспитательный дом ни в какую: наше место, что хотим, то и воротим. Императрице жаловались.

Церквушку-развалюшку решил снести, дабы, случаем, людей в ней не угробить, так опять конфуз — сносись с митрополитом и испрашивай его согласия. А это все бумаги, бумаги, бумаги, и конца-краю им не видно. Хотя бы одного канцеляриста на восемьдесят рублей в год добавили. Нет же, молчит Петербург, копейки у них не допросишься, а сами воруют миллионами. Бедная государыня, кто тебя окружает!

Князь подошел к столу, со страхом и ненавистью покосился на стопку бумаг, подготовленных копиистами на подпись, и ласково вынул из походного ларца, сохраняемого с молодечества, доставленный на днях указ Екатерины.

Эта драгоценная бумага должна изменить его жизнь. Пора показать себя достойным лучшей участи, чем прозябание в здешней грязи и мужицкой сутолоке. Пора перебираться в Петербург, к высочайшему двору, и лицезреть приличную публику.

Давно лелеял Александр Александрович мечту выказать особое усердие государыне, но подходящего случая не представлялось. Теперь же: «Взять под присмотр и допросить». Донести «обстоятельно и немедленно». Видать, большим злодеем оказался этот Новиков. А прикидывался агнцем: «Дружеское ученое общество» завел, буквари печатал, студентов на свой кошт за границу посылал. Теперь-то ясно, чему они в чужих землях учились. Государынин курьер как анисной водочки накушался — размяк, разоткровенничался. Шведского короля, сказывал, якобинцы на днях прирезали. Из Парижа с той же целью четверо лиходеев в Петербург отправились, да их на границе перехватили. У нас не побалуешь! Еще под большим секретом намекнул, что московские мартинисты тоже затевают на государыню покушение и уже жребий меж собой бросили — кому исполнять злодейство. Может, и привирает курьер-то, чего только с анисной не

наболтаешь, но мартинистская зараза повсюду расползлась — и в университете, и в церкви, и даже среди купцов. Золото они, верные люди сказывают, из глины добывают и каменщиками друг друга кличут. Нечто вроде монашеского ордена, но не с Богом, а с дьяволом якшаются — фармазоны! Из Берлина к ним приказы идут. Там, оказывается, главнейшая ложа…

И тут князь остолбенел от догадки: этот Новиков-то и вытянул *жребий.*

Прозоровский отыскал его послужной список, подготовленный секретарем канцелярии Олсуфьевым, и взялся за изучение с виду обычных фраз, надеясь отыскать зацепочку.

Родился в 1744 году под Москвой, в селе Авдотьино. Новиковым кличут от новика — новобранца. Прозоровский с чувством удовлетворенного превосходства усмехнулся — его род шел от Рюрика, от князей Ярославских, получивших прозвание по родовому поместью Прозорово.

Что тут дальше?

Учился в гимназии при Московском университете. Давно пора этот рассадник вольнодумства поприжать.

Курс не кончил и уволен за нехождение в класс. Надо проверить, может, и другие провинности были.

В 1762 году поступил на службу в Измайловский полк. В гвардию попал, а вышел в отставку — смешно сказать! — армейским поручиком.

Служил секретарем комиссии по составлению «Нового уложения». На должность хорошую пристроился, нет бы признательным быть — ему бунт подавай.

Издавал журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек», «Детское чтение», «Городская и деревенская библиотека», «Утренний свет», газету «Московские новости». Пустое занятие. У меня офицеры любили переписывать статейки из его журнальчиков. Я раз глянул — «бедность и рабство повсюду», «жестокосердный тиран, отьемлющий у крестьян насущный хлеб» — и запретил впредь заниматься вредным баловством.

Снял в аренду на десять лет Университетскую библиотеку, где напечатал сотни книг, тиражи которых достигали нескольких тысяч экземпляров. Всю Россию ересью накормил.

Открыл книжные лавки в десятках городов и сел. Что хочет, то и творит, и никто не остановит.

С товарищами-масонами Иваном Тургеневым, Иваном Лопухиным, покойным профессором Шварцем, братьями князьями Трубецкими открыл в Москве на свое иждивение библиотеку-читальню, больницу и аптеку для бедных, народное училище. Ну

откуда у людей столько лишних денег? Не иначе как фальшивые печатают.

По повелению императрицы в январе 1786 года испытан в вере и помыслах архиепископом Платоном, который доносил государыне о своей мечте, чтобы «во всем мире были христиане таковые, как Новиков»…

Князь запнулся, не зная, как съязвить по поводу последней фразы. Он недолюбливал московского пастыря за строптивость и вольнодумство, но верил в его честность и прозорливость. Князь молча, без комментариев вновь перечитал послужной список с начала до конца и вовсе закутался: Новиков уже не казался злодеем. Тогда он схватил указ императрицы, нашел нужные слова о делах Новикова: «…колобродства, нелепые умствования и раскол скрываются».

«Экой тонкий плут этот злодей», — подивился Прозоровский и порадовался за себя, что решительно начал следствие, не погружаясь в бумажную кутерьму.

Еще позавчера князь послал верного человека купить на Спасском мосту «Историю об отцах и страдальцах Соловецких» — раскольничье сочинение, тайно, как доносит императрица, напечатанное и распространяемое Новиковым. Верный человек принес с десяток староверческих книг, продававшихся в московских книжных лавках, но нужной среди них не оказалось. «Давно распродали», — извинялись сидельцы.

«К этому *новику* с флангов не подступишься, он, видать, настороже», — еще тогда догадался Прозоровский и решил действовать четко и стремительно, дабы — как тогда через Днестр — опередить врага и нежданно-негаданно нанести сокрушительный удар.

Вчера утром операция началась — жандармы по его приказу обыскали все книжные лавки города. В каждой хоть что-нибудь предосудительное да нашлось. Лавки опечатали, а хозяев взяли под стражу. Но без переполоху не обошлось. На Сухаревке побили двух жандармов, поползли слухи о холере, кликуши порочили государыню и предвещали скорый конец света.

Пока весть о начале решительных действий против мартинистов не достигла Авдотьина и Новиков оставался в неведении, что он разоблачен, Прозоровский спешно послал за ним майора князя Жевахова — на удивление исполнительнейшего человека — с двенадцатью гусарами при унтер-офицере и капрале.

Вечером того же дня, на балу по случаю дня рождения императрицы, князь Прозоровский внимательно присматривался к московской публике, ловил на себе косые взгляды, встречал

пренебрежительные ухмылки и в который раз убедился — повсюду мартинисты, каждого второго надо хватать — и в тюрьму, в ссылку, в каторгу. Скоро, скоро! До мартиниста Радищева добрались, теперь Новиков, а немного погодя и остальным крышка!

Князь подозвал верного человека и попросил узнать, над чем так весело хохочут за карточным столом вместе с немчиками князья Волконские и Трубецкие…

Оказалось, пересказывали письмо к государыне покойного Григория Потемкина по поводу назначения его, Прозоровского, главнокомандующим Москвы: «Ваше императорское величество выдвинуло из вашего арсенала самую старую пушку, которая непременно будет стрелять в вашу цель, потому что своей не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества!»

— Злословьте, больше материалу для следствия накопится, — вспоминая вчерашний бал, мстительно прошептал Прозоровский.

Он наконец ясно видел цель своей московской деятельности — Новиков и его друзья, имел ясные инструкции — арестовать и разоблачить врага, получил ясный намек — от расторопности в этом угодном императрице деле зависит его, Прозоровского, дальнейшая судьба. И он ждал, с нетерпением ждал встречи с *врагом*.

Но когда ввели Новикова, князь с досады и удивления поморщился и крякнул — враг оказался пожилым и сгорбленным, одетым в потертый фрак, с мягким взглядом, в котором не прочитывались ни страх, ни бессилие, ни злоба… Что ж, тем трудней его, Прозоровского, задача.

Князь оставил для допроса Олсуфьева, как самого толкового человека из своей канцелярии, и копииста Федорова, как самого надежного молчуна. Охрану же удалил, сел за стол под портретом императрицы и достал из ларца листки, доставленные от старого верного знакомого — начальника Тайной экспедиции Санкт-Петербурга Степана Ивановича Шешковского.

— Приказываю тебе, злодею, открыться. — И дальше князь продолжил по листкам: — Сколько у вас масонских лож по России и с какой преступной целью заведены?

— И для этого, ваше сиятельство, за мной целое войско посылали, весь дом переворошили и больного за пятьдесят верст в распуту повезли? Детям хоть прикажите передать, что я, по крайней мере, еще жив. Ваш майор оказался столь злобен и молчалив, а указ об аресте путан, что домашние со мной навеки прощались.

Прозоровский хотел крикнуть: «Молчать!» — но вовремя остыл, решив, что дети есть дети, они не виновны в злодействах отца, и попросил Олсуфьева отдать приказ *кому-нибудь потолковее* съездить еще раз в Авдотьино и успокоить семью арестанта.

— Премного благодарен, ваше сиятельство, — до слез расчувствовался Новиков и поспешно стал отвечать на вопрос: — Принят я был в ложу «Астрея», а в каком году — не упомню. Мы и собирались-то всего раза три-четыре. Говорили о любви к людям, о своем желании ратоборствовать против сатаны и плотских утех, против страха смерти.

— Чем же вам русский бог плох, что вы к чужому на поклон пошли?

— В нашем братстве свобода вероисповедания, а я как был, так и останусь до конца дней моих православным христианином. Мое и моих друзей дело в ином — просвещать народ, облегчить его тяжелую участь и научить нас, дворян, уважать в своих рабах человека…

— Не лги! — прервал Прозоровский, почувствовав, что враг хочет повести его по ложному следу. — У вас и общество называлось тайным, и в школах, что в Москве понастроили, двери на ключ запирали. Признайся мне, как отцу: зачем завели секту и в письмах через цифирную азбуку общались?

— Вы, значит, и письма нашли вскрывали? — вымученно улыбнулся Новиков. — Тогда должны знать, что тайна для масонства — всего лишь ритуал, а создано наше братство для сближения людей всего мира, для бескорыстного труда и милосердия. Мы перекладывали на русский язык и печатали полезные книги, раздавали пенсии, безденежно отпускали лекарства бедным и утешали их.

Прозоровский никогда не понимал тонкостей словопле-тения бесчисленных мартинистов, философов, якобинцев, целиком доверяясь мудрости и нюху государыни, однако смекнул, что его хотят обойти с флангов, и глазами запросил помощи у Олсуфьева.

Тот — вот ученая голова! — легко выудил из вороха бумаг именно в сей момент нужную и зачитал ее (а может, вдруг сочинил и только сделал вид, что с бумажки считывает):

— Вам и вашим товарищам в вину ставится печатание и распространение вредных мартинистских книг, отвращающих людей от истинной веры и повиновения.

— Да мы масонских книг печатали лишь по нескольку оттисков для себя, — оторопел от столь дивного обвинения Новиков, но, почувствовав, что не стронул Прозоровского с

избранной позиции, решил убедить его фактами: — В тысячах и тысячах экземплярах мы издавали учебники, словари, народные сказки и песни. Ничего общего с масонством не имеют печатавшиеся у нас ни стихи Сумарокова, ни романы Сервантеса, Свифта, Филдинга, Стерна. Мы выпустили множество книг по отечественной истории для детей, простонародья и просвещенных граждан, этим полезным делом восстав против попыток унизить достоинство русского человека. Мы показывали нравы и обычаи праотцев наших, помогали в познании великости их духа, украшенного простотой. Разве это не полезные для России деяния, ваше сиятельство?

Прозоровский не понял, за что себя хвалит арестант, как вообще издание книг можно считать полезным для отечества делом. И еще про какое-то восстание он упомянул, надо будет потом копииста заставить переписать допрос начисто и выудить слова — против чего они восстают — для доноса императрице. А сейчас князь решил схитрить — авось враг попадется в ловушку.

— А вот мне доподлинно известно, что ты отыскал философский камень и в подвалах своих типографий делаешь золото. Говори как на духу, сколько и куда уже переправил?!

Новиков и Олсуфьев подняли недоуменные глаза на князя, а копиист со страхом и завистью посмотрел на арестанта-алхимика. Прозоровский и сам задним числом подумал, что хватил лишку, но, как старый солдат, решил не подавать виду и стоять на своем. Он посуровел лицом и ждал ответа.

— Если бы мы нашли философский камень, ваше сиятельство, то неужто стали бы его таить, лишать людей счастья? Ведь все мы призваны любить друг друга…

— Врешь! — Разъяренный бестолковщиной допроса, князь схватил первую подвернувшуюся под руку привезенную из Авдотьина книгу — это оказались проповеди святого Августина, — раскрыл ее и яростно принялся тыкать пальцем в цифры, означавшие ссылки на Священное Писание. — Вот они! Вот они — ваши каннибальские знаки! Я все знаю, что здесь по-тарабарски написало. За все отвечать будешь! Знаю, зачем ты больниц и аптек настроил — с их помощью людей в свою секту совращаешь. А училища понадобились, чтобы *своих* выучить и на службу пристроить, а они за начальством шпионить будут. Думаешь, не знаю, что вы цифирями записываете? Человека как умертвить за тысячи верст. Знаю, дьяволу служите, огни разводите, на мертвой голове клянетесь и спать ложитесь в гроба со скелетами.

Прозоровский остановился перевести дух, а заодно и припомнить, что еще знал о мартинистах, о чем еще судачили

московские барыни. Эх, сейчас бы сюда Степана Ивановича Шешковского — у него дар к изворотливым следствиям. От одного упоминания, что поступит к нему, мартинист Радищев упал в обморок, а очнувшись, признался во всех грехах, о которых у него допытывались. Нет, этот Новиков в обморок не собирается, хоть нервничает. Птица высокого полету, видать. Да и что говорить — пол-России окрутил своим *просвещением.* Ломай тут голову, как к нему подступ питься. Не везет мне, ох, не везет. А какой случай представился отличиться!

Помог опять же Олсуфьев:

— Почему и из каких средств в 1787 году вы осмелились раздавать бесплатно хлеб москвичам и жителям близлежащих деревень?

— Все лето стояла сушь, не уродился хлеб, и весною начался голод. Сотни, тысячи гробов каждый день. Священники отпевали десятки людей за раз. Деревни вымирали. Кто еще мог идти, шли за подаянием в Москву и умирали на ее улицах. Разве человек зверь? Разве он может остаться равнодушным, когда вблизи от него беда. Мы призывали к милостыне, собирали деньги и покупали на них хлеб для голодных. Разве это подлежит осуждению?

Прозоровский удивился: какой такой голод? Слыхом не слыхивал, никто никогда не докладывал. 1787 год памятен иным событием: Екатерина Великая изволила путешествовать в Крым и по пути осмотрела всю матушку Россию и своих счастливых подданных. «У нас умирают от объедения, — рассказывала государыня, — а никогда от голода. У нас вовсе не видно людей худых и ни одного в лохмотьях, а если есть нищие, то по большей части это ленивцы». Вот в чем истина, а не во лжи этого *человеколюбца,* возле самой столицы отыскавшего голодающих. Ну как не назвать сей поступок злым намерением! И откуда они деньги берут для своих *благодеяний?!*

— Значит, милостыньку подавал? — Прозоровский уверился, что теперь уж врагу не вышибить его из седла, не скрыть свой маневр. — У меня, кажется, и доходов поболее твоего, а подавать все равно иной раз затрудняюсь, чтоб нищим не оказаться. А твои денежки-то какие?.. Я скажу: фальшивые. Господа их сразу распознают, так ты ими мужиков соблазнял. Жаль, жаль, что не каешься в преступных грехах, — искренне пожалел врага Прозоровский, достав со дна ларца остатние бумаги. — Нам же не только про фальшивые деньги доносят. Вон он, реестрик. — Князь ласково похлопал по листкам и поднес их к глазам. — Ругательную историю иезуитского ордена печатал? И это когда всемилостивейшая императрица приют и свое покровительство

христовому братству дала. Через архитектора Баженова, тоже из мартинистов, переписку с наследником престола имел? И это когда матушка государыня даже внукам советует пореже обмениваться мыслями со своим взбалмошным отцом. Над прекрасными монаршими пьесами в своих журнальчиках подсмеивался? И это когда весь Петербург рукоплескал им. Я уже не говорю о таких мелочах, как «Библиотека для бедных», которую ты печатал, несмотря на запрещение. Много, ох, как много фактиков для следствия и суда набирается. Уж не молчи лучше, покайся, поведай о тайнах. Глядь, и послабление выслужишь.

— Я прошу разрешения принести мне лекарства из аптеки. Я больной, очень больной, — тихо, дрожащим голосом пробормотал Новиков.

Много слышал он чепухи о себе, но теперь, кажется, за него принялись серьезно и решили извести. Нет, это не прихоть Прозоровского, это озлилась сама императрица.

— Рецептик небось выпишешь к своему человечку? — зло улыбнулся князь. — Только мы рецептик твой не в аптеку, а в соседнюю комнату снесем и хорошенько повертим. Глядь, и ниточка потянется. И тогда ты не в своем доме у Никольских ворот заночуешь, а в двухстах шагах от него — в Тайной экспедиции на Лубянке. Согласен?

Новиков молчал. Ему было жаль князя, жаль императрицу, в сотый, в тысячный раз жаль свою унылую родину — до преступного мало в России распространено просвещение, полезная деятельность. Сначала казалось — настал славный век Екатерины. Громы фейерверков, блеск театров, государыня-вольтерьянка. Открыт первый институт для девиц, иные учебные заведения. Возводятся величественные дворцы, сооружаются картинные галереи, основываются ученые общества. Вся Европа со страхом и уважением смотрит на северного колосса, в Петербурге ликуют при каждом известии об очередном поражении турок, поляков, шведов. Раззолоченные кареты, веселые пиры, собольи шубы, сундуки с драгоценными камнями, изысканный французский язык и меткие афоризмы французских энциклопедистов. Это и есть Россия?..

Или Россия — полуголодная бескрайняя равнина, стонущая под игом все новых налогов, рекрутских наборов, беспрестанных пожаров. Никогда еще в ней не было столь сильного презрения к простонародью со стороны высшего света, высочайшего двора. За показной фальшью любви к отечеству русские вельможи скрывают свое сластолюбие, жестокость, цинизм. Дворяне гордятся не делами предков, а их золотом, не деятельным

трудом, а своей спесью, не резвыми детьми, а развратными фаворитками. Взятка правит миром. Воруют все: и фаворит Платон Зубов, и директор банка Завадовский, и кассир Кельберг, и жена кассира, и его слуга. Россия, обремененная войнами и барской роскошью, впервые влезла в международные долги, и дай ей бог когда-нибудь из них вылезти.

А все началось со лжи. Уничтожили Тайную канцелярию, где пытками добивались признаний, но немного погодя завели Тайную экспедицию. Говорили о необходимости всепрощения, и тут же тысячами казнили изнуренных мужиков, осмелившихся на ропот. Издавали законы о потребности страны в незамедлительном просвещении, а ныне за попытку образовать и накормить народ возводят на меня хулу…

Олсуфьев страдал. Ему было искренне жаль арестанта. Конечно, увлечение масонством — это грех, но простительный грех. Николай Иванович Новиков славен тем, что издавал дешевые книги и в иной деятельности выказал расторопность, образованность, практическую хватку. Неужто его будут судить? Надо бы исподволь вызвать к нему у князя жалость. А впрочем, не надо, только себе жизнь усложнишь, а ему не поможешь, раз сама императрица осердилась…

Копиист Федоров ждал. Ему нестерпимо интересно было узнать еще хоть что-нибудь про черную магию, золото и преступные масонские тайны. Сам он был лишь членом «Евина клуба», где несколько десятков молодых людей обоего полу из *благородных* семей предавались плотским утехам…

Князь Прозоровский размышлял. Ему после допроса не стало ясней ни масонство, ни этот скрюченный болезнями отставной армейский поручик. Что же мы имеем? А все то же: вредные замыслы, корыстолюбие, плутовство и обольщение, тайные сборища, еретическая типография, поколебание и развращение умов, опаиванье зельем… Слов много, а в суд с ними не сунешься…

Но суд и не понадобился. Вскоре Екатерина II прислала главнокомандующему Москвы свой высочайший указ, где было черным по белому написано, что преступления Новикова «столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однако, и в сем случае, следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили его от оной и повелели запереть на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость».

Четыре года спустя пытливый наблюдатель русской жизни Андрей Болотов записал в своем дневнике: «Славного Новикова и дом, и все имение, и книги продаются в Москве из магистрата, с

аукциона — и типография, и книги, и все. Особливое нечто значило. По-видимому, справедлив тот слух, что его нет уже в живых — сего восстановителя литературы».

Оборвалась жизнь Новикова-просветителя. Окруженная тайной продолжала теплиться жизнь Новикова-мученика.

Законоискусник. Юрист Захарий Аникеевич Горюшкин (1748–1821)

Чем дольше существует человечество, тем больше опутывает себя законами, уставами, правилами. Кажется, чего проще — суди по справедливости. Но у каждого свое представление о справедливости и способах ее достижения. Конечно, что мне законы, коли судьи знакомы! Сотни пословиц придумал народ против судопроизводства и законотворчества, но до сих пор мир ничего лучшего не изобрел, чтобы защитить добропорядочного обывателя и укоротить преступника.

С появлением письменности на Руси появились и первые сборники законов. Но государственные чиновники не утруждали себя их изучением и усовершенствованием. Даже в конце XVIII века, который в России звался «веком просвещения», судейскую комнату обычно заменяли на пыточный подвал.

— Стоило закричать роковое «Слово и дело!», — вспоминал старичок Горюшкин, профессор Московского университета, — тотчас хватали доносчика и обвиняемого и тащили в Сыскной приказ, что был на Житном дворе, у Калужских ворот. В застенке палачи разденут несчастного донага, свяжут руки за спиной и, перехватив через крюк, привяжут другой конец веревки к бревнышку. Начинают со встряски — ступят на бревнышко, руки-то и выходят из лопаток. Потом бьют кнутом, сдирая кожу лоскутами от плеч до хребта.

— Да разве возможно такое? — удивлялся молодой собеседник.

— И этого мало, — продолжал Горюшкин, тряся пуклями парика. — По ободранной спине прохаживались зажженным сухим веником или посыпали ее солью. Если судья разгорячится, он тоже подскочит к несчастному и колотит палкой по голове.

— Но подобного невозможно вытерпеть! — возмущался будущий служитель Фемиды.

— Иной выйдет из застенка, — продолжал очевидец судопроизводства эпохи Екатерины И, — весь в крови, с изломанными руками, а навстречу другой колодник. «Какова баня?» — спрашивает идущий на пытку. «Остались еще веники», — отшучивался истерзанный. Кто выдерживал три застенка и не сознавался, тот «очищался кровью» — его больше не пытали.

— Я бы не позволил так издеваться над людьми!

— Чтобы не позволить, одной горячности мало. Законы

нужны гуманные, тогда и судьи не станут самочинствовать. А то ведь один закон и знали: «Кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет».

— А вы как стали судейским чиновником?

— В тринадцать лет ради хлеба насущного пошел служить в воеводскую канцелярию, оттуда меня перевели в Сыскное копиистом — пыточные листы заполнять. Тяжело было неправый суд видеть, вот и взялся за учебу, чтобы иное место найти…

Наверное, это редкий случай, когда дыба, кнут, неистовство палачей и судей, оговоры и признания под пыткой не ожесточили молодого копииста Захария Горюшкина, не превратили в равнодушного к чужому горю чиновника, а побудили к самообразованию, к чтению богословских, исторических и юридических книг. Он сблизился с профессорами Московского университета Десницким и Аничковым, перешел в Уголовную, затем в Казенную палату, где немало потрудился, смягчая приговоры судов нижней инстанции. С 1 января 1786 года по 10 февраля 1811 года Горюшкин преподавал в Московском университете юридические науки. «Я употребляю все мое старание, — говорил он воспитанникам, — чтобы в учение преподать вам общее понятие о российском законоискусстве, о начале и происхождении российских законов и прав с разделением их на разные роды и виды и их раздробления, и как должно поступить при произвождении дел в действо; о правах и должностях мест, учрежденных для отправления всего нужного к благосостоянию государства и особ к тому определенных со всеми переменами, происходивших до нынешних времен. Покажу обряд, который должно наблюдать при сочинении всяких писем, касающихся до оных дел, и порядок, по которому полагать их в листах на то учрежденных».

Уйдя в отставку, Горюшкин до самой своей смерти в 1821 году продолжал помогать советами судьям, юристам, тяжущимся. Он, наверное, был первым дворянином, не постыдившимся прослыть подьячим и отважившимся изучить законы своего Отечества. Потомки назвали его первым систематическим юриспрудентом России за блестящий четырехтомный труд «Руководство к познанию российского законоискусства» (М., 1811–1816) — первый свод русского законодательства. Трудолюбивый законоискусник не только систематизировал все существующие законы, но и дал определения сотням понятий, без чего невозможно законотворчество (что есть собственная оборона, власть господская, безопасность дома и т. д.).

В своем труде Горюшкин по-своему прочитал известные слова летописи, которые мы привыкли комментировать, как призыв

варягов для управления Русью: «Поищем себе князя, иже бы володил и рядил по праву».

«1. «Володеть» или «владеть» есть не что иное, как вольно, властно или свободно делать.

2. Чрез слово «ряд» означалось тогда учиненное о чем-либо основательное или твердое постановление.

3. «Право» прежде и ныне приемлется знаменованием таких наших деяний, которые учинены быть должны так, как оные сделать возможным по закону признается.

Из сего явствует, что обитавшие тогда в России народы положили призываемым ими вручать над собою право постановлять или учреждать в их обществе все то, что только служит к их благосостоянию, и делать оное вольно».

Если бы наши ученые почаще заглядывали в труды Горюшкина, то допустили бы куда меньше ошибок, распространенных до сих пор. Так, с легкой руки популярного четырехтомного «Словаря русского языка» мы повторяем, что разночинец — «в конце 18–19 вв. в России: интеллигент, не принадлежащий к дворянству, выходец из других сословий — купечества, мещанства, духовенства, крестьянства, а также мелкого чиновничества». Закон же, по словам Горюшкина, гласит, что «разночинцы суть те, нижних чинов воинской, гражданской и придворной службы и прочие, которые не из дворян и не причисляются к купеческому торговому сословию».

Но не только знания можно почерпнуть в ученом труде российского законодательства. Достойно и человечно формулирует он параграф 184 (об обязанностях мужа): «Муж да прилепится к жене своей в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляя ей пропитание и содержание по состоянию и возможности хозяина». Но если ты посмел изменить законной супруге, «то сверх церковного покаяния по закону Божию должны все удаляться от всякого с ним общения и возлагать на него пост на семь лет».

Разнообразие частной и общественной жизни конца XVIII века нашло свое отражение в пылящихся ныне на полках музеев увесистых фолиантах неутомимого труженика Горюшкина. Вас интересуют проблемы экологии? Тогда откройте главу об умножении и разведении лесов, о взыскании за их порчу. Какой должна быть ширина проезжей дороги?.. Как делится уезд на погосты, волости и станы?.. Обязанности соседей?.. На эти и тысячи других вопросов найдете здесь ответ. Некоторые правила двухвековой давности не мешало бы и нынче ввести в обиход: «Искоренять из аптеки такие лекарства, которые изобретены одним невежеством и в обыкновение вошли».

Дворянин Горюшкин, живший в собственном богатом доме на 4-й Мещанской улице, на заре XIX века вкрапливал в свод законов крамольные свободолюбивые строки, которые, должно быть, принесли России больше пользы, чем тысячи революционных речей, произнесенных в московских и петербургских салонах. «Равенство всех граждан состоит в том, — утверждал он (параграфы 4075 и 4076), — чтобы все подвержены были тем же законам. Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих и обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученные им только как правительствующим особам государства».

— Горюшкин! — хочется крикнуть в двухвековое прошлое. — Мы еще не доросли до твоих параграфов. Повремени еще малость. Уж и то хорошо, что дыба и кнут отошли в прошлое.

Агония русского барства. Князь Николай Борисович Юсупов (1750–1831)

В двадцатипятитомном Русском биографическом словаре, изданном в предреволюционные годы и ныне переиздающемся, больше всего внимания уделено родовитым графам и князьям. Многие из династий Голицыных, Нарышкиных, Долгоруковых приумножили славу России, но не меньшее число вельмож отличилось исключительно спесью, обжорством да придворными интригами. «В преданиях и усадьбах старых русских бар, — писал историк В. О. Ключевский, — встретим следы приспособлений комфорта и развлечения, но не хозяйства и культуры; из них можно составить музей праздного баловства, но не землевладения и сельского управления».

Современники по-разному относились к образу жизни своих богатых соотечественников…

«Отличаясь, таким образом, от массы народа, — писал основоположник финансовой науки в России Н. И. Тургенев, — преимуществами, образом жизни, костюмом и языком, русское дворянство было наподобие племени завоевателей, взявшего на себя всю силу нации вносить другие инстинкты, стремления, иметь другие интересы, чем большинство».

Зато писатель Ксенофонт Полевой искренне грустил о вельможных домах, наполненных няньками, мамками, пленными турчанками, арапами, карлицами, горничными и сенными девками: «Прежде все, казалось, для того только и жило, чтобы пировать и веселиться, и всех жителей можно было разделить на угощаемых и угощающих, а остальные, мелкие москвичи, были только принадлежностью их».

Но право же, современному человеку должно быть ближе к сердцу мнение провинциального чиновника Гаврилы Добрынина, посетившего Москву в 1785 году, когда екатерининский «век просвещения» был в самом разгаре: «Проживши там недели с три на чужом столе и в бесплатной квартире, возвратился в Могилев, довольствуясь иногда воспоминанием виденных там предметов, которых смешение нельзя было не видеть, то есть обилия и бедности, мотовства и скупости, огромнейших каменных домов и вбившихся в землю по окна бедных деревянных хижин, священных храмов и при них торговли и кабаков, воспитания и разврата, просвещения и невежества. Получивших богатое

наследство видел бедными, гордыми и подлыми. Там подпора Отечества занимается с вечера до утра важными пустяками, названными игрою, и за игру вызывает на поединок, а от восхождения до захождения солнца спят».

Самым известным московским вельможей был князь Николай Борисович Юсупов, всю жизнь усердно бегавший от скуки, на что тратил гигантские суммы денег, нажитые его расчетливыми предками. Скапливалось колоссальное богатство Юсуповых постепенно — службой у Лжедмитрия и Тушинского вора, участием в суде над цесаревичем Алексеем, следствиями над богатейшим князем Иваном Долгоруким и «полудержавным властелином» князем Меншиковым, особым расположением и родством с Бироном, выдачей скаредных приданых дочерям и множеством мелких поручений, начиная от вполне пристойных и кончая арестом «за дерзость» Ломоносова.

Богатства казненных и опальных вельмож, перешедшие к Юсуповым, князь Николай Борисович укрепил, женившись на племяннице знаменитого князя Г. А. Потемкина-Таврического — Татьяне Васильевне Энгельгардт. Она была чрезвычайно скупа, но обладала страстью коллекционировать драгоценные камни, среди которых были известные своей величиной и красотой алмазы «Полярная звезда» и «Альдебаран», серьги Марии-Антуанетгы, жемчужная диадема королевы Неаполитанской, жемчужина «Перегрина» короля Филиппа II и т. д.

Александр Пушкин с восторженностью писал об Н. Б. Юсупове:

> Ты понял жизни цель: счастливый человек,
> Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
> Еще ты смолоду умно разнообразил,
> Искал возможного, умеренно проказил;
> Чредою шли к тебе забавы и чины.

Может быть, эти строки Пушкин писал с грустной завистью, ведь он — гений русской поэзии, блестяще образованный дворянин — имел придворный чин 9-го класса (камер-юнкер), никогда не получал дозволения попутешествовать за границей, почти всегда был в долгах. Герой же его стихотворения еще юнцом служил чрезвычайным посланником при Сардинском дворе, в Риме, Венеции и Неаполе, позже — при императорах Павле и Александре — стал министром Департамента уделов, президентом мануфактур-коллегии. Верховный маршал, действительный тайный советник, сенатор, член Государственного совета, главноуправляющий Оружейной

палатой и театральными зрелищами — всех чинов и должностей и не перечислишь. Николай Борисович Юсупов, обласканный четырьмя российскими монархами, имел столько орденов и прочих наград, что, когда уже не знали, чем еще пожаловать блистательного потомка князька Ногайской орды, преподнесли ему жемчужную эполету. Он объехал полмира, в Ватикане встречался с папой Пием VI, гостил в Версале у последнего короля Франции Людовика XVI, в Вене был представлен императору Иосифу II, в Неаполе — королю Фердинанду I, в Берлине — Фридриху Великому, подолгу живал в Фернейском замке у Вольтера, в Лондоне познакомился с Бомарше, был принят в Париже Наполеоном и т. д. В своем московском доме у Харитонья в Огородниках и подмосковных усадьбах не раз принимал российских императоров.

И все же когда речь заходила не о сказочных чертогах Юсупова, а о нем самом, москвичи без особого почтения говорили об этой достопримечательной особе…

«Только что князь сел со своими гостями, загремел оркестр, и вскоре поднялся занавес. Давали балет «Зефир и Флора». Я в первый раз увидел театральную сцену и на ней посреди зелени и цветов толпу порхающих женщин в каких-то воздушных нарядах… Мне и в голову не приходило, что этот гостеприимный вельможа…

На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей.

Я видел только, как сотни зрителей любовались танцами и дружно хлопали при появлении Флоры. Когда упал занавес, артистку позвали в княжескую ложу, где она выслушала что-то от своего властителя и поцеловала ему руку.

— Как ей не стыдно? — сказал я.

— А не поцелуй, так, пожалуй, высекут.

— Большую-то и такую хорошенькую?

— Да ведь она крепостная девка!

Это возмутило меня, и стали мне противны и этот великолепный князь, и его великолепный театр».

«Великим постом, когда прекращались представления на императорских театрах, Юсупов приглашал к себе закадычных друзей и приятелей на представление своего крепостного кор-де-балета. Танцовщицы, когда Юсупов давал известный знак, спускали моментально свои костюмы и являлись перед зрителями в природном виде, что приводило в восторг любителей всего изящного».

«В передней комнате встречал князя экзекутор и столоначальник. Обязанность столоначальника состояла принять от князя в передней шляпу и трость с золотым набалдашником, украшенным бриллиантами, и нести за ним в присутствие, положить на приготовленный для этого стол и идти к своим занятиям. Когда же князь подымался со своих кресел для выезда из присутствия, тот же столоначальник подавал ему в руки те же трость и шляпу».

«Князь Николай Борисович Юсупов всеми силами поддерживал свою сановитость. Ездил всегда в четырехместном ландо, запряженном четверкой лошадей цугом, с двумя гайдуками на запятках и любимым калмыком на козлах возле кучера. Князь сам не выходил из кареты, а его вынимали и выносили гайдуки».

Милая древняя Москва, отставная столица! Ты стала инвалидным домом для всех, кто был «в случае» при императорском дворе XVIII века, а теперь забавлялся лишь лестью крепостных лакеев. Ты до поры до времени была хлебосольной для тех, кого приглашали на званые обеды очумевшие от скуки и азиатской роскоши старики-вельможи «века просвещения». Ты присутствовала при последней агонии екатерининского барства, когда блестящее самодурство владельцев мраморных палат и крепостных танцовщиц стали сменять купеческие загулы в загородных ресторанах с непременным цыганским хором. Но ты ощутила и другие изменения. Все чаще на дворянских особняках стали появляться надписи: гимназия, больница для чернорабочих, благотворительный комитет. Пусть нечасто, но уже появился такой обычай, что представители привилегированных сословий стали обращаться к простолюдину как к человеку, притом почти как к равному себе. Изменились даже Юсуповы. Единственный сын князя Николая Борисовича стал благодетелем своих крестьян, щедро помогал им во время неурожая, самолично ухаживал за больными во время холеры. В этом самом привилегированном роду вопреки всем правилам медицинской науки после агонии началось выздоровление.

Жизнь в анекдотах и фактах. Поэт Ермил Иванович Костров (1751–1796)

Знаменитым русским писателям XIX века поставлены бронзовые и гранитные монументы, изданы их многотомные собрания сочинений, они частые гости на страницах романов и литературоведческих исследований. Меньше фортуна улыбнулась, за исключением Ломоносова, пиитам XVIII века. Памятников им не ставят, в школе наизусть учить не заставляют, издают только скопом в хрестоматиях. Особенно не повезло Ермилу Ивановичу Кострову, об этом талантливом поэте и переводчике память сохранилась главным образом в анекдотах…

* * *

Бывало, входит Костров в комнату в своей треугольной шляпе, снимет ее, чтобы поздороваться, и снова натянет на глаза, да так и сидит в углу молча. Только когда заслышит умные или забавные слова, поднимет шляпу, взглянет на говоруна и вновь натянет ее.

* * *

Костров частенько хаживал к Ивану Петровичу Бекетову, где для него всегда была наготове большая суповая чашка с пуншем. Выпив, он принимался за горячий спор с Александром Карамзиным, младшим братом историографа. Дело доходило до дуэли. Тогда Карамзину давали в руки обнаженную шпагу, а Кострову ножны от нее. Пьяненький Костров не замечал, что у него в руках тупое оружие, и сражался с трепетом, только защищаясь, боясь пролить неповинную кровь соперника.

* * *

Костров за перевод Оссиана получил от Екатерины II 150 рублей и отправился в трактир, где размечтался, что назавтра отправится в Петербург, выправит себе на подаренные деньги приличное платье и представится благодетельнице-императрице, станет придворным пиитом… Тут за соседний столик сели двое, и он услышал рассказ офицера, что тот потерял казенные деньги и теперь попадет под суд. Ермил Иванович тотчас вручил несчастному свои 150 рублей, похоронив мечту о высочайшем дворе.

* * *

Костров очень любил гетевского «Вертера» и пьяный часто перечитывал его, заливаясь слезами. Однажды в подобном

состоянии, закончив чтение любимой повести, он продиктовал поэту И. И. Дмитриеву письмо к его возлюбленной в вертеровском стиле.

* * *

Некоторое время, когда переводил «Илиаду» Гомера, Костров жил у Ивана Ивановича Шувалова. Как-то в дом зашел Иван Иванович Дмитриев и, не застав хозяина, спросил:

— А Ермил Иванович у себя?

— Пожалуйте сюда, — ответил лакей и повел гостя в задние комнаты, где девки-служанки занимались работой, а в их окружении сидел университетский бакалавр Костров и тоже сшивал лоскутки. На столе лежала без дела «Илиада» на греческом языке.

— Чем это вы занимаетесь? — удивился Дмитриев неподобающему занятию собрата по перу.

— Да вот, девчата велели, — нисколько не смутясь, отвечал Костров.

* * *

Как-то Костров был представлен всемогущему Потемкину.

— Ты перевел гомеровскую «Илиаду»? — грозно спросил фельдмаршал.

— Я, — просто ответил Ермил Иванович.

Потемкин пристально посмотрел на него и кивнул. Костров ответил поклоном и, выходя, с облегчением пробурчал, что несказанно рад так дешево отделаться от надменного вельможи. Но в дверях дорогу преградил офицер и объявил, что светлейший приглашает его на обед. Костров явился, сел в самом конце стола и, не обращая ни на кого внимания, занялся с рвением яствами и питием. С княжеского обеда он едва вышел, выписывая ногами вензеля.

* * *

Костров сидел в московском трактире «Царырад» в худой запачканной шинели и порванной шляпе, с растрепанными волосами и стаканом в руке. Кругом было шумно и весело. Вдруг все смолкло и посетители повскакивали с мест. Это появился грозный и надменный пристав Семенов. Лишь Костров продолжал сидеть, не обращая никакого внимания на вошедшего.

— Что за свинья?! — вскричал возмущенный пристав. — Разве ты не знаешь, кто перед тобой стоит?!

Костров, не переставая прихлебывать из стакана, важно ответил:

— Знавал я и вельмож, царей земных в порфире,

Как мне не знать тебя, Семенова, в трактире!

* * *

Костров незадолго до смерти, страдая лихорадкой, повстречался с историографом Карамзиным.

— Странное дело, — посетовал Ермил Иванович, — пил я, кажется, всегда одно горячее, а умираю от холода.

* * *

Херасков очень уважал Кострова и предпочитал его талант своему собственному. Это приносит большую честь его сердцу и его вкусу. Костров несколько времени жил у Хераскова, который не давал ему напиваться. Это наскучило Кострову. Он однажды пропал. Его бросились искать по всей Москве и не нашли. Вдруг Херасков получает от него письмо из Казани. Костров благодарил его за все его милости, «но, писал поэт, воля для меня всего дороже».

* * *

Однажды в университете сделался шум. Студенты, недовольные своим столом, разбили несколько тарелок и швырнули в эконома несколькими пирогами. Начальники, разбирая это дело, в числе бунтовщиков нашли бакалавра Ермила Кострова. Все очень изумились. Костров был нраву самого кроткого, да уж и не в таких летах, чтоб бить тарелки и швырять пирогами. Его позвали в конференцию. «Помилуй, Ермил Иванович, — сказал ему ректор, — ты-то как сюда попался?..» — «Из сострадания к человечеству», — ответил добрый Костров[2].

Ученые мужи обычно с презрением относятся к анекдотам и не желают причислять их к историческим источникам, по которым принято составлять достоверную картину прошлого. А зря! Хотя передаваемые из уст в уста забавные приключения чаще всего основаны на вымысле, они верно передают характеры персонажей и их положение в обществе. Но, чтобы не быть обвиненными в профанации истории, познакомимся и с другой биографией Кострова — основанной на достоверных фактах.

Происходил он из экономических (государственных) крестьян села Синеглинского Вобловитской волости Вятской губернии и по окончании духовной семинарии в 1773 году пришел в Москву к своему земляку, настоятелю Новоспасского монастыря отцу Иоанну (Черепанову) и обратился к нему со стихами:

О муж священный, муж избранный!
Судьбой гонимых ты отец,
Муж, небесами дарованный
Для облегченья их сердец.

Отверзи мне, о покровитель,
Желанный Аполлонов храм,

Где он, начальник и правитель,
С собором нимф ликует сам.

Несмотря на восхваление в виршах языческого бога, член Синода архимандрит Иоанн благосклонно отнесся к молодому дарованию и пристроил его учиться в духовную академию. Двумя годами позже Костров перешел в Московский университет, по окончании которого в 1779 году был произведен в бакалавры. До конца жизни он сохранил дружбу с университетскими кураторами Шуваловым и Херасковым и за неимением собственного угла частенько ночевал у них.

«Пышные лета юности, — витиевато повествует первая биография поэта, — начали время от времени развертывать способности его, цвет весны его начал согреваться от ярких лучей летнего солнца и подавал надежду принести плод».

Костров, как и большинство поэтов конца XVIII века, сочинял оды, эпистолы, гласы о знаменитых событиях и великих современниках. Чаще всего их героями были друзья и покровители питомца муз — князь Шувалов, поэт Херасков, митрополит Платон. Более других осталось виршей, посвященных приятелю и страстному поклоннику костровского таланта А. В. Суворову.

Суворов! Громом ты крылатым облечен
И молний тысячью разящих ополчен,
Всегда являешься во блеске новой славы,
Всегда виновник нам торжеств, отрад, забавы.

Полководец отвечал тоже стихами, хоть и не столь искусными:

Вергилий, Гомер, о! есть ли бы восстали,
Для превосходства бы твой важный слог избрали.

Костров, кроме торжественного ломоносовского стиха, усвоил и лиризм нового поколения, среди которого были его друзья Дмитриев и Карамзин…

На листочке алой розы
Я старалась начертить
Милу другу в знак угрозы,
Что не буду ввек любить,

Чем бы он меня ни льстил,
Что бы мне ни говорил.
Чуть окончить я успела,
Вдруг повеял ветерок,
Он унес с собой листок —
С ним и клятва улетела.

Но в первую очередь прославился Костров, хорошо знавший греческий, латинский и французский языки, как переводчик. Современники, а отчасти и потомки превозносили его переводы «Золотого осла» Апулея, поэзии легендарного барда кельтов Оссиана и в особенности гомеровской «Илиады» (Костров перевел александрийским стихом первые восемь с половиной глав знаменитого эпоса, остальные, как смеялись обыватели, надо искать забытыми в каком-нибудь московском шинке).

Конечно, многие подмечали, что поэт частенько бывает нетрезв, но даже великий Державин не умалял при этом его заслуг:

Весьма злоречив тот, неправеден и злобен,
Кто скажет, что Хмельнин Гомеру не подобен.
Пиита огнь везде и гром блистает в нем,
Лишь пахнет несколько вином.

Но еще чаще говорили о добродушии и простоте Кострова, что и послужило причиной множества насмешек и анекдотов. «В характере Кострова, — вспоминал И. И. Дмитриев, — было что-то ребяческое, он был незлопамятен, податлив на все и безответен». «Костров был добр, великодушен, — вспоминает другой современник П. Макаров, — доброта души его простиралась до того, что он отдавал свое последнее в помощь несчастному». Драматург Н. В. Кукольник сочинил даже драму в пяти действиях «Ермил Иванович Костров», взяв за ее основу анекдот о том, как поэт вручил в трактире офицеру 150 рублей.

Последние месяцы жизни щуплый болезненный жрец Бахуса и Аполлона провел у своего приятеля Федора Григорьевича Карина, в доме между Петровкой и Дмитровкой, в переулке близ церкви Рождества в Столешниках. Здесь он и скончался за неделю до своего сорокапятилетия в 1796 году. Друзья схоронили его на Лазаревском кладбище и откликнулись на смерть несколькими стихами. Через восемнадцать лет вспомнил о своем предшественнике молодой поэт А. С. Пушкин и почтил его память несколькими грустными строчками:

Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг вступает в гроб Руссо[3];
Камоэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Грустная судьба… Нынче, наверное, даже студенты-филологи не открывают книг Кострова. Порадуемся хотя бы тому, что его имя живет в анекдотах, и через них поймем главное отличие Ермила Ивановича от большинства вельмож-современников: «век просвещения» не стал для него «веком раболепствования».

Купеческая честь. Предприниматель Иван Семенович Живов (1755–1847)

В середине восемнадцатого века касимовский купец Семен Иванович Живов переехал в Москву, где имелось больше простора торговой деятельности, и при смекалке, чего было ему не занимать, можно нажить большой капитал. Сын его, Иван Семенович, продолжил отцовское дело, став одним из первостатейных купцов первопрестольного града. Занимаясь оптовой продажей мануфактурных изделий и китайских товаров, он имел сношения не только с торговцами губернских и уездных городов, но и с иностранными негоциантами.

Живов не был завистлив и приучал к торговле молодых людей в особых лавках, снабжая их отдельным капиталом, в котором они время от времени отчитывались перед ним. Из вырученных денег часть шла в пользу учеников, благодаря чему трудолюбивым и удачливым представлялась возможность скопить собственный капитал.

В грозный 1812 год Иван Семенович отправил свое семейство в Касимов, а сам остался в Москве, ожидая удобного случая спасти накопленное богатство и товары. Ждал-пождал, пока не услышал на улице вопль: «Французы! Французы!» Нет, не бросился он тотчас из города, а поспешил в свою палатку — склад в Гостином дворе, где производил все расчеты с покупателями и кредиторами. Медлить было нельзя и, захватив лишь ящик с документами, он, держа его под мышкой, побежал по охваченному паникой городу до своего дома, вскочил в заложенную повозку и, перекрестившись, поскакал в сторону Таганских ворот, оставив все имущество в жертву просвещенным злодеям.

Чем отличились французы в Москве, известно всей России — обозы с награбленным уходили на запад, а что не успевали вывезти, предавали пламени. Вернувшись в покинутую Наполеоном разрушенную Москву, Живов, к радости, увидел свой дом целехоньким. Зато пропал весь товар, все нажитое за полвека неустанного труда отцом и сыном богатство — на два с лишком миллиона рублей.

Не он один оказался в таком положении — большинство купцов. Даже те, кто успел вовремя вывезти свое достояние, теперь прикидывались разоренными и отказывались расплачиваться с кредиторами. Но не таков был первостатейный купец Живов, дороживший своей купеческой честью. Он известил

кредиторов (которые предлагали значительные уступки, надеясь хоть гривенник получить с рубля), что ему удалось спасти все документы и поэтому он заплатит долги сполна в самое короткое время. Петербургские и провинциальные купцы, не разоренные, а даже нажившиеся на войне, расплачивались с ним, а он со своими заимодавцами, и уже спустя полгода почти всех удовлетворил.

«Он подкрепил сим многих купцов, — сообщал в начале 1813 года журнал «Сын Отечества», — которые без его великодушия совершенно бы расстроились, побудил своим примером многих к подобному намерению и, можно сказать, что без сего благородного поступка И. С. Живова торговля московская не открылась бы и поныне».

Расплатившись со всеми, на оставшийся небольшой капитал Живов приобрел новые товары и снова стал торговать. Благодаря своему необыкновенному по тому времени поступку, он пользовался не только всеобщим уважением, но и неограниченным кредитом.

«Всегда одинаковый, он был по-прежнему трудолюбив, приветлив, на поклоны богатых и бедных отвечал еще более низкими поклонами», — отозвались «Московские ведомости» на смерть Ивана Семеновича. Он упокоился 7 апреля 1847 года на 92-м году жизни.

Восторженный немец. Московский комендант Иван Крестьянович (Христианович) Гессе (1757–1816)

Император Павел, пожаловав в помощь престарелому князю Долгорукову вторым московским военным губернатором Ивана Петровича Архарова, человека сугубо гражданского, приставил к нему вроде дядьки — Ивана Крестьяновича Гессе, который сделался его неразлучным спутником на всех учениях и парадах, а также помог сформировать пехотный полк, прозванный Архаровским и прославившийся суровой дисциплиной.

Еще при живой матушке императрице Екатерине II цесаревич Павел Петрович мечтал завести в России прусские порядки, для чего создал в Гатчине несколько миниатюрных рот, которые должны были в точности напоминать войско Фридриха II — короткие мундиры с лацканами, узкие панталоны, напудренные парики с косицей, вечные маршировки на плацу и прочие строгости, что придавало войску вид красивого однообразия и крепкой дисциплины.

Девятого марта 1788 года инспектором в Гатчинскую артиллерийскую команду был принят из саксонской артиллерии пруссак Гессе. Павел поставил перед ним задачу — добиться как можно более быстрой и одновременной стрельбы, кроме того, выравнивать строй как по нитке. Судя по тому, что гатчинские солдаты через восемь с половиной лет, когда цесаревич наконец занял монарший престол, уже ничем не напоминали суворовских чудо-богатырей, Гессе знал толк в немецкой военной дрессировке.

Но Москва, как того ни желал новый император, не приняла прусских нововведений, которые, по примеру Петербурга, стали насаждать и здесь. Солдаты продолжали ходить в широких шароварах, заткнутых в сапоги, и с волосами, подстриженными в кружок. Офицеры хоть и обзавелись новыми мундирами, но держали их на дне сундука — на случай приезда императора. Возницы наотрез отказались исполнить высочайший приказ — перейти на немецкую упряжь, заявляя: «Русские пруссаков всегда били, чего ж нам их обычаи перенимать». Несмотря на сие вольномыслие, за время правления Павла, когда в Петербурге каждодневно арестовывали, ссылали, лишали чинов, московскими властями никто не был ни оскорблен, ни заточен в крепость.

Иван Крестьянович Гессе, назначенный 15 ноября 1796 года

московским плац-майором, 15 мая 1797-го — комендантом города и 14 августа 1799 года произведенный в генерал-майоры, искренне желал в точности исполнить приказ своего царствующего благодетеля и перестроить жизнь Первопрестольной на прусский военный лад. Но, к счастью, он вскоре понял, что ни ему, ни даже самому венценосцу сей труд не по силам. Москва продолжала жить своей ленивой провинциальной жизнью. Гессе, приобретший не только опыт военной муштры, но и житейскую мудрость, сумел все же оказаться полезным городу. Он сосредоточил свою деятельность на борьбе с грабежами и строгим надзором за караулами и патрулями.

На первый взгляд строгий и холодный, пруссак Гессе был добряком и страстной натурой, из-за чего не раз попадал впросак и был беззлобно осмеян.

Как-то, когда Москвой уже командовал граф Салтыков, поручик Юни принял Гессе, нагнувшегося над столом, за своего друга-адъютанта. Он с разбегу запрыгнул на спину подписывавшего бумаги коменданта и стал пришпоривать его и дергать за косу, словно это вожжи. Когда, наконец, наездник с ужасом понял свою ошибку, он тотчас соскочил с «лошадки» и вытянулся в струну:

— Виноват, ваше превосходительство!

— А! — закричал Гессе. — Это ви… ви ездит на московский комендант?! Пошалюйте со мной!

Оба сели в карету и молча поехали к военному генерал-губернатору Салтыкову.

Вот и генерал-губернаторский дом на Тверской площади. Гессе велел доложить, что ему нужно видеть генерал-губернатора по весьма важному делу. Салтыков не заставил себя долго ждать и вышел в приемную.

— Что вам угодно мне сказать, генерал? — спросил он у Гессе.

— Я привез, ваше сиятельство, к вам со мной жалоб. Вот этот господин офицер изволит ездить на московский камендант.

— Как ездить? Я вас не понимаю.

— Мой стояль, писаль, а поручик Юни приг на спина, взял кос и «ну! ну! ну!».

Салтыков недоуменно взглянул на стоявшего с потупленным взором Юни, на разгневанного коменданта и вдруг… не смог удержать порыва смеха. Он тотчас выхватил из кармана платок, зажал им рот и, махнув рукой, выбежал из залы…

Гессе, с 12 декабря 1809 года уже в чине генерал-лейтенанта, встретил 1812-й все в той же должности московского коменданта.

Добродушием, распорядительностью и чистоплотностью он приобрел уважение городских обывателей. «Немец темного происхождения, — характеризовал его граф Ростопчин, — человек прекрасный, честный, беспристрастный и заботившийся, главным образом, о соблюдении внешних форм. Но он был годен для дел лишь до шести часов вечера, после чего всецело поглощался трубкой и пуншем».

Москва превратила этого прусского служаку в экзальтированного, несколько комедийного, но необходимого городу чудака, которого знали и любили все. «В тот самый миг, — вспоминает Сергей Глинка об отступлении русских войск после Бородина через Москву, — когда я перевязывал раненого, ехал на дрожках тогдашний комендант Гессе. Соскочив с дрожек, он обнял и поцеловал меня».

А ведь и нам не хватает таких участливых чудаков!

Мастер сыска. Следственный пристав Гаврила Яковлевич Яковлев (1760-е —1831)

Любили наши предки, как, впрочем, и предки просвещенных европейцев, дознаваться истины с помощью кнута, огня и дыбы. Пытка, вернее, страх перед пыткой крепко втемяшился в городскую жизнь, в уста вельмож и народа. До сих пор в своей речи мы пользуемся пыточными поговорками: *согнуть в три погибели, подлинная* (добытая длинником — палкой) *правда, узнать всю подноготную.* Иногда даже считаем народными пословицы вроде: *кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет.* На самом же деле эту злую шутку, по верному замечанию Пушкина, выдумал какой-то затейный палач.

Самодержавный произвол, пренебрегавший законом, рождал опасение быть наказанным ни за что ни про что и, как следствие, почтение к заплечному мастеру.

Обер-прокурор Правительствующего сената Н. И. Огарев, друг Карамзина и Дмитриева, как-то отправляясь к должности, нанял первого попавшегося извозчика. На повороте улицы одетый в партикулярное платье прохожий прокричал что-то извозчику, и тот остановился. Прохожий уселся рядом с Огаревым и доехал до нужного ему переулка. Лишь оставшись один, Огарев опомнился и спросил извозчика:

— Как ты смел без спроса взять еще седока?

— Помилуйте, ваше благородие, нельзя было не взять, потому как он палачом изволит служить. Вдруг придется у него побывать, так хоть злопамятовать не будет, лютость умерит…

В девятнадцатом веке, если доверять казенной бумаге, в России кнутобойства стало поменьше, чем в предыдущие времена. Сначала указом от 1801 года была отменена пытка, а в 1863-м — все телесные наказания за малым исключением. Но еще долго над этими бумажными новшествами посмеивались в пыточных камерах и обер-полицмейстеры, и начальники этапов, и тюремщики, искренне полагая:

Розга ум острит, память возбуждает
И злую волю ко благу прилагает.

Порой дело доходило до курьезов. Так, на Международном статистическом конгрессе во Флоренции поссорились между

собой два представителя русского царя. Один с жаром утверждал, ссылаясь на свод законов, что в России отменены даже малейшие телесные наказания, другой презрительно возражал, опираясь на жизненные факты, что в их отечестве ни пытка, ни кнут не являются редкостью. Изумленные европейцы не знали, кому из них верить, а правы-то были оба.

В Москве и дознание не считалось дознанием, если подозреваемому не удалось всыпать с полсотни розог. «Прописать ижицу», как шутили кнутофилы в щеголеватых сюртуках и генеральских мундирах, чья профессия обязывала их *допытываться* правды.

Как и в любой другой работе, были свои непревзойденные умельцы в деле сыска. И когда в просвещенном Петербурге случалось важное преступление, срочно слали нарочного в Белокаменную за коллежским советником следственным приставом Гаврилой Яковлевичем Яковлевым.

И вскоре перед департаментскими князьями и графами уже склонялся в низком поклоне низенький, в казенном платье господин с большим брюхом и короткой шеей, которую, словно веревка висельника, обвивали ленты орденов. Не смея мигнуть, с нежностью и подобострастием выслушивал он приказ распутать сложное дело и семенил в застенок. Вернее, в полицейский участок, застенком он звался веком раньше.

При виде подследственной жертвы глаза Гаврилы Яковлевича вмиг наливались кровью, и он, знавший по именам всех палачей обеих русских столиц, возбужденно кричал мастеру заплечных дел:

— Тимошка, жарь его, да покрепче!

Тут же опускался на *подлое* тело подозреваемого пучок розог — четыре связанных вместе ивовых прута, каждый из которых, по царскому указу, имел толщину в гусиное перо и длину от двух до двух с половиной аршин.

После десяти умелых ударов, сопровождавшихся радостным визгом следственного пристава, подозреваемый уже не в силах был кричать, а только стонал и вздрагивал разорванным телом. Чутье верно подсказывало Гавриле Яковлевичу, когда наступала пора заканчивать первую часть дознания, чтобы до поры до времени душа еще пожила в истерзанном теле, и переходить к собственно допросу. Очухавшегося после нескольких ведер ледяной воды мужика (или бабу) он ласково предупреждал, что в случае молчания только что примененный способ сыска будет повторен…

Нередко случалось, что люди брали на себя чужую вину, лишь бы избавиться от повторного пристрастного допроса

знаменитого детектива. Стоило, к примеру, московскому обер-полицмейстеру — когда дерзкий воришка запирался и божился, что невиновен, — приказать жандарму: «Отведи-ка его, дружок, побеседовать к Яковлеву», как подозреваемый падал на колени и чистосердечно признавался в грехах, которые от него требовались в данную минуту.

Московские няньки именем Яковлева пугали непослушных детей, а встреча со знаменитым сыщиком на улице, по всеобщему мнению, почиталась за скверную примету.

Иногда наш герой, как и сто лет назад его земляк Ванька Каин, вносил разнообразие в свою служебную деятельность. Он завел среди московских мошенников разветвленную агентуру, и его подопечные за определенную мзду выдавали товарищей по разбою и даже сами подбивали бродяг сколачивать шайки и заниматься грабежом, чтобы потом доносить о них своему благодетелю. После каждого подобного раскрытия шайки разбойников авторитет и капитал Гаврилы Яковлевича возрастали, а на его парадном мундире появлялся новый орденок.

Не брезговал мастер сыска *работать* и по мелочам. Любил подсказать пойманному воришке, какого богатого купчишку следует оговорить. Мол, скажешь, что у него вы прятали краденое. Купчишку мигом брали под стражу, устраивали очную ставку с воришкой, после чего оговоренному «денежному мешку» приходилось раскошеливаться на сумму, милостиво назначенную Гаврилой Яковлевичем.

В свободное время любил знаменитый московский сыщик бродить по окраинам города, заглядывать в грязные бойни и подолгу смотреть на струящуюся кровь и предсмертные судороги бычков. А по ночам, натянув грязное рубище и парик, он предпочитал веселиться в московских трущобах, в развратных домах и трактирах, где отводил душу в пьяных песнях и кровавых драках, обзаводясь заодно полезными для службы знакомствами.

Освободилась Москва от усердного следственного пристава лишь благодаря холере 1831 года, совершившей доброе деяние — уволокшей душу Яковлева на исходе шестого десятка лет, по клятвенным заверениям его подследственных, прямехонько в преисподнюю. Но душок злодеяний Гаврилы Яковлевича еще долго витал по городу.

Сумасшедший Федька. Московский главнокомандующий граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826)

С легкой руки Льва Николаевича Толстого московского главнокомандующего графа Федора Васильевича Ростопчина принято считать квасным патриотом и вздорным глупцом. «Этот человек, — читаем в романе «Война и мир» о 1812 годе, — не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой народного потока».

Надо заметить, что не лишены смысла иные характеристики, данные Ростопчину его современниками.

Императрица Екатерина II: «У этого молодого человека большой лоб, большие глаза и большой ум» (правда, это утверждение не мешало императрице звать его «сумасшедшим Федькой»).

Поэт П. А. Вяземский (о назначении Ростопчина московским главнокомандующим в 1812 году): «Ростопчин мог быть иногда увлекаем страстною натурою своею, но на ту пору он был именно человек, соответствующий обстоятельствам. Наполеон это понял и почтил его личною ненавистью. Карамзин, поздравляя графа Ростопчина с назначением его, говорил, что едва ли не поздравляет он *калифа на час,* потому что он один из немногих предвидел падение Москвы, если война продолжится. Как бы то ни было, но на этот *час* лучшего калифа избрать было невозможно».

Историк Д. Н. Бантыш-Каменский: «Сошед со служебного поприща, знаменитый россиянин сей не утратил своего значения, не походил на временщиков, которых счастье возводит на высоту, а ничтожность при падении не поддерживает. В простой одежде представлял он вельможу величавой осанкой, гордой поступью, отважным словом, проницательным взглядом».

О Ростопчине, как ни о ком другом, говорили, что он своеобразен и незауряден. Среднего роста, плотного сложения, имел широкое лицо и голубые глаза. Быстр, резок, раздражителен, словоохотлив. Мог быть галантным, как истинный парижанин. Душа общества, острослов, знал, где и

когда надо быть искренним и красноречивым. Иные считали, что в нем много блеска и внезапности, но нет основательности и отсутствуют убеждения. Он был очень противоречив: соединял в себе неподкупную честность и мелкую мстительность.

Ростопчин умел себя рекламировать, выставлять напоказ ничтожество и невежество других. Он был плохой педагог, но нежный отец. Сочетал страстность и впечатлительность натуры, доходящие порой до психического припадка.

Образованием граф Ростопчин не блистал, имея лишь домашнее, зато был остроумен и находчив, благодаря чему ему протежировали генерал-адъютант Екатерины II князь Ф. Ф. Ангальт, знаменитый полководец граф А. В. Суворов, посол в Лондоне граф С. Р. Воронцов. Сам же граф признавался, что благодаря «ремеслу комедианта» умел снискать расположение и у императрицы, и у нелюбимого ею сына цесаревича Павла. Когда в 1796 году Павел вступил на монарший престол, Ростопчин стал при нем советником, дипломатом, искренним другом, добросовестным телохранителем и искусным интриганом.

Когда в 1801 году Александр I взошел на престол, Федора Васильевича за близость к задушенному императору лишили всех должностей и он поселился в своем подмосковном имении Воронове, куда выписал из Англии овец и баранов, а из Аравии скаковых лошадей. Наконец в 1809 году он потрафил и новому императору, составив по его поручению отчет о московских богоугодных заведениях.

Сельская тишина его уединения постепенно вновь сменяется блеском и интригами высочайшего двора. Он не растерялся и при первых признаках войны 1812 года примчался в Петербург и предстал перед государем. Тот, не мешкая, назначил его московским главнокомандующим. Про Ростопчина тотчас заговорили: «Он крепкий слуга государев, он отец Москвы». Федор Васильевич первый занялся созданием московского ополчения, наладил снабжение армии всем необходимым — от оружия и саперного инструмента до сухарей и крупы, — организовал госпиталь и часто навещал раненых, не допустил до самого входа французов в Москву ни грабежей, ни беспорядков, первым призвал народ к партизанской войне. Да и мнения современников о пресловутах «ростопчинских афишах» полярно противоположны.

После бегства Наполеона московская деятельность Ростопчина, отчасти скоропалительная и непоследовательная, была направлена на борьбу с эпидемиями и грабежами, разрешению споров по разворованному и погубленному в пожаре имуществу, преследование мартинистов и уличенных в

сношениях с французскими войсками лиц. Он стал желчен, раздражителен, все чаще впадал в ипохондрию, так как тяжелому обыденному труду предпочитал яркие геройские поступки. Все это имело плачевные последствия. Москвичи возненавидели его, обвиняя во всех мыслимых и немыслимых грехах, приписывая даже казнокрадство и жульничество. В сентябре 1814 года последовала бесславная отставка. «Кроме ругательства, клеветы и мерзостей, — жаловался Ростопчин, — ничего в награду не получил от того города, в котором многие обязаны мне жизнью».

Пробыв без дел несколько месяцев в Петербурге, отставной московский градоначальник уехал за границу, где провел восемь лет, и, в отместку неблагодарным соотечественникам, стал писать и разговаривать исключительно на французском языке. В европейских городах он пользовался почетом как организатор ополчения против наполеоновского нашествия. В Ливерпуле новую городскую площадь назвали его именем. В Испании вошло в поговорку крылатое выражение, если собеседник говорит о чем-то страстно и правдиво: «Это Ростопчин!» Хозяева гостиниц отказывались брать с него плату, как со знаменитости, привлекающей к ним туристов. Только на родине его не вспоминали.

В Москву Ростопчин вернулся в 1823 году шестидесятилетним стариком, проболел два года и умер 18 января 1826 года. Похоронили его на Пятницком кладбище рядом с могилой угасшей несколькими месяцами раньше дочери Елизаветы. Своих соотечественников он так и не простил до смертного часа за то, что отвернулись от него, и на могильной плите завещал начертать эпитафию собственного сочинения:

Посреди своих детей
Покоюсь от людей.

Современники Ростопчина разделились на два противоположных лагеря в мнениях о нем. Нам, потомкам, не легче прийти к какому-то однозначному суждению об этом примечательном человеке. Может быть, понять его нам помогут *его* необычные сочинения, часть их собрана в книгу «Ох, французы!», изданную в 1992 году в Москве, в городе, которому он отдал столько пыла, энергии и сердца.

Пиит осьмнадцатого века. Цензор Петр Афанасьевич Пельский (1765–1803)

Кроме специалистов мало кого нынче интересует русская литература XVIII века. Если и помним имена Фонвизина, Державина, Радищева, то лишь благодаря багажу школьных лет. Нам их творчество кажется тяжеловесным, маловразумительным, чересчур назидательным. А уж о таких корифеях того времени, как Львов, Комаров, Плавильщиков, чьи сочинения обходит стороной школьная программа, и вовсе не вспоминаем, хотя в энциклопедиях им отводится почетное место. Что же говорить о пиитах осьмнадцатого века, чье имя не встретишь ни в одном словаре, о которых даже знатоки истории русской литературы не ведают! Предложи кому-нибудь почитать русский журнал той поры, от тебя побегут, как от прокаженного. Надумал, мол, невесть что, тогда по-русски двух слов на бумаге связать не могли, а мы утруждай глаза.

Возражать на подобное отношение к нашей младенческой светской литературе без аргументов — напрасный труд. Поэтому приведем ниже по одному отрывку — поэтическому и прозаическому — из книги московского цензора Петра Афанасьевича Пельского, о жизни и деятельности которого история умалчивает.

Фалалей

Раз в роще летнею порою
Лежала я наедине.
Его увидя пред собою,
Я притворилась в крепком сне.
Раскрыта грудь моя вздымалась,
Манила прелестью своей…
Но он прошел… и я осталась.
О Фалалей, о Фалалей!..

Крючок

Проклятый крючок! К чему так сжимать прекрасную грудь моей любезной? Лилии и розы рождаются быть свободными. Прошу тебя, не тесни более сокровищ, которых любовь моя от тебя требует.

Что сделали тебе прелестные два шара, тобою удерживаемые, чем заслужили оковы и за что томятся в темнице?

Не видишь ли ты, как они с тобою борются, как ищут высвободить себя, как они показывают чрез быстрое свое биение, что узы не для них соделаны.

Ты мне не внимаешь, не хочешь мне возвратить предмета моих желаний! Венера отмстит тебе за меня. Так, жестокий! Так, сама Венера, которую ты уязвил однажды, когда она хотела отцепить тебя и отдать свои прелести ласканиям любовника.

Нет, не были похожи на нудных долдонов наши предки, они умели и смеяться, и зубоскалить, и шутить. Их искусству литературно излагать свои мысли могут позавидовать многие из нынешних профессиональных сочинителей. Почитайте, к примеру, современные некрологи. Это набор шаблонных фраз, одинаково подходящих к любому умершему. Не то у предков. Возьмем того же Пельского. О нем поместили один лишь некролог — в «Московском вестнике», присланный по почте неизвестным. В нем присутствует искреннее чувство и в помине нет казенных выражений, в нескольких строчках нарисован живой образ почившего человека.

«Происходя от одной из хороших русских фамилий, воспитан в Москве и отличался глубокими своими познаниями. Никто не смеет оспаривать, что Пельский обладал отличнейшими сведениями. Кто только знал его, всякий скажет, что он имел удивительно пылкий разум. Доказательством тому все сочинения его. Он был предприимчив, смел, отважен, причиной чему полагали излишнюю доверенность его к самому себе. С друзьями — откровенность, со знакомыми — политика и чрезвычайная вежливость со всеми служили не последним его украшением.

Начитанность Вольтера и других последователей оного была отчасти для него гибелью. Наружно он почти во всем следовал правилам общим, но в душе был вольтерьянец.

Что касается до сочинений его, то оных весьма немного, а гораздо более переводов. Слог его довольно чист и правилен. Чему отдать преимущество — стихам или прозе, — не знаю. Кажется, что то и другое имеет свою цену и свой вес. Из переводов Пельского в особенности могут отличиться роман Ад ель де Сенанж «Ефраимский левит», поэма Ж. Ж. Руссо и прочее. Другие мелкие сочинения и переводы его напечатаны особо под названием «Мое кое-что» с приложением чрезвычайно сходного силуэта автора и стихов на кончину его, сочиненных Н. М. Карамзиным.

Отважная предприимчивость перевести и напечатать во время

бытности его цензором известного «Кума Матвея», сочинения чрезвычайно дерзкого, была, говорят, причиной преждевременной кончины его. Он раскаивался в неосторожности своей, но все уже было поздно — перевод был напечатан и вышел в продажу. Запрещение оного имело сильное влияние на него, так что черная мысль о преступлении прав своих произвела впоследствии апоплексию, от которой он окончил и жизнь свою. Вот пример для молодых авторов, вступающих на поприще литературы с самолюбивой доверенностью к самому себе!..

Я был за три дни до кончины у П. А. Пельского. Он принял меня с обыкновенной своей дружеской миною, говорил с большим духом о разных предметах, был весел так, как не бывал никогда. Я просил у него для прочтения некоторых книг. Он обещал мне их и назначил прислать за оными в самый тот день, в который он умер. Я приезжаю к нему, но его не было уже на свете. Такая внезапность была для меня непостижима. Вместе того чтобы, по обыкновению, пожать с дружественной улыбкой руку сего почтенного человека, я окропил его слезами».

Нетленные дела. Благотворитель Дмитрий Петрович Горихвостов (ок. 1770–1846)

Призрение бедных в Древней Руси покоилось на нравственно-религиозных началах. «Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, — писал в очерке «Добрые люди Древней Руси» историк В. О. Ключевский, — сколько необходимым условием личного нравственного здоровья. Она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему».

В дореволюционной России дело призрения почти всецело принадлежало частной инициативе. (К примеру, императорская Канцелярия прошений, куда поступали все просьбы о помощи на имя императора, в 1880—1890-х годах выделяла на помощь всем бедным империи 125 тысяч рублей в год, тогда как каждый великий князь получал ежегодно только от Министерства императорского двора пенсион в 280 тысяч рублей.)

В рай входят святой милостыней — нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается. Духовенство было призвано помочь богатому совершить подвиг сострадания страждущему, подвиг щедрой жертвы во имя любви и милосердия.

Как-то раз бригадир, что равнозначно полковнику, Дмитрий Петрович Горихвостов спросил у московского митрополита Филарета:

— Учитель благий, что сотворю, да живот[4] вечный наследую?

— Нищие и бескровные введи в дом твой, убрусом[5] твоим отри слезы вдов беззащитных, к сердцу твоему прими воздыхания сирот безродных.

Горихвостов внял словам пастыря и в 1831 году купил у родителей поэта Тютчева трехэтажный каменный дом близ Покровки, в приходе Николаевской, что в Столпах церкви (ныне Армянский переулок, 11), решив открыть в нем богадельню.

Парадную столовую он переделал в храм Димитрия Солунского (освящен митрополитом Филаретом 2 октября 1832 года), а в роскошных барских палатах поместил пятьдесят сиротствующих девиц и столько же вдов, преимущественно из духовного звания. Богадельня считалась лучшей в Москве, потому что благотворитель не только пожертвовал для нее дом, но и

большой капитал для содержания призреваемых. «У каждой чистенькая постель и свой особый уголок со столиком или шкапчиком, сундуком и двумя-тремя стульями на случай гостей. Харчи простые, но здоровые и сытные, щи с мясом, каша, жареный картофель… Хлеб собственного печения, равно и квас, положительно великолепные, а также огурцы собственного соления».

В том, что сия благотворительность есть не только помощь обездоленным, но еще в большей степени духовное спасение самого жертвователя, говорил перед отпеванием в 1846 году тела усопшего Горихвостова архимандрит Богоявленского монастыря Митрофан:

— Блажен, ибо память столь благодетельного мужа, каким был нищелюбивый, болеющий сердцем об убогих и сирых болярин Димитрий, «не потребится, и имя его будет жить в роды» (Сир. 44, 12). Гроб и земля берут себе от среды нас только земное и тленное. Но дела веры, благочестия и любви к Богу и ближним не подлежат тлению и разрушению. Оне нетленными переходят туда, где обитает бессмертный дух человека, где царствует во славе Иисус Христос, Глава и Спаситель Церкви.

Первая половина сознательной жизни Дмитрия Петровича была посвящена службе государству: в 1785 году он вступил сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк, участвовал в военных походах и вышел в отставку в 1808 году гвардии капитаном. Затем был на разных должностях по дворянским выборам, а последние четверть века земной жизни посвятил исключительно служению убогим и осиротевшим.

Кроме устройства Горихвостовской богадельни, как ее называли москвичи, Дмитрий Петрович пожертвовал земли и деньги многим учреждениям, учебным заведениям, лечебным и странноприимным домам. Среди них Новгородскому военному поселению (374 десятины, или 406 с половиной гектара, земли), заведению для неизлечимых увечных (462 тысячи рублей), Московской военной богадельне (150 тысяч рублей), Детской больнице (200 тысяч, рублей), Медико-фармацевтическому обществу вдов и сирот врачей, ветеринаров и фармацевтов (175 тысяч рублей).

Воистину, Горихвостов близко принял к сердцу воздыхания страждущего человечества и заслужил вечную жизнь.

Орловская порода. Бригадирша Екатерина Владимировна Новосильцева (1770–1849)

Бригадирша Екатерина Владимировна Новосильцева, урожденная графиня Орлова, души не чаяла в своем единственном сыне. С мужем они друг друга не терпели — орловская гордыня не могла ужиться рядом с новосильцевской вспыльчивостью — и жили отдельными домами.

С первого дня своего рождения сын Володенька стал единственной радостью, смыслом жизни матери. Лишь только ей, измученной родами, показали это маленькое кричащее существо, как она уразумела, для чего ее наградили жизнью в бренном земном мире.

Сын рос, и мать с каждым годом все больше убеждалась, что оказалась права, всю себя посвятив одному ему. Статью, красотой лица, отменной силой он все больше походил на ее дядю Алексея — героя Чесменской битвы, нравом на дядю Григория — добродушного первого советника великой государыни Екатерины, смекалкой и рассудительностью на ее отца Владимира, служившего некогда директором Академии наук.

Мать не боялась жертвовать собой ради безоблачного и блестящего будущего сына, решилась даже на долгую разлуку, отправив его в одно из самых толковых учебных заведений — Петербургский иезуитский колледж. Вскоре, правда, тоска непривычного одиночества перешла в страх за «ненаглядное дитятю», и мать сломя голову ринулась в Северную столицу, где и осталась чуть ли не до самого выпуска Володеньки из колледжа.

Нет, сын не обманул ее ожиданий, не пропали даром ее заботы, хлопоты, родственные связи; ей было чем похвалиться перед московскими кумушками. Владимир начал удачливую службу в должности адъютанта фельдмаршала графа Сакена и уже в двадцать лет состоял в флигель-адъютантах при императоре Александре I, хорошо играл на гобое, изящно танцевал, ловко бился на рапирах, был принят за своего в самом изысканном петербургском обществе.

Когда он наведывался в Москву погостить у матушки, его наперебой приглашали на балы богатые вельможи, с ним первыми заговаривали опальные генералы и министры, в театре он становился предметом пристального лорнирования и сплетен.

Владимир, отдыхая в родном городе от петербургской

дисциплины и деловитости, умел не кичиться своей близостью к императору и в то же время не поддерживать вольных разговоров болтливых москвичей. Мать не могла налюбоваться его тактом, выправкой, особым дворцовым лоском и не торопила с женитьбой. Ведь ее дядя Григорий у самой императрицы мял постель, а к дяде Алексею сама самозванка княжна Тараканова (а бог ее знает, может, она и была настоящая внучка Петра Великого?) напрашивалась в жены. Да разве наши московские провинциалки могут соперничать с этими женщинами?.. Бригадирша Новосильцева спесиво оглядывала молоденьких барышень, кружившихся в новомодных танцах, и сознавала: нет, не может быть среди них ровни ее сыну.

И вдруг…

Флигель-адъютант его величества и наследник орловских миллионов Володенька Новосильцев спешно примчался в Москву и рухнул перед матушкой на колени. Он стал просить невозможного — жениться на какой-то девице Черновой. Молил, уговаривал, требовал.

Мать в первый раз за четверть века с презрением поглядела на сына, попутно отметив, что в роду Орловых все мужчины крупные, породистые, и надменно усмехнулась:

— Нарышкиных знаю, Корсаковых, Вяземских, Зубовых, Голицыных… Даже Карамзиных могу припомнить — старинные симбирские дворяне, хоть и были совсем неизвестные, пока не прославился наш историограф. Но о Черновых что-то не слыхивала. У них в каких губерниях поместья?.. Ах, нет… И ко всему она Па-хо-мов-на? У твоего деда в лакеях есть Пахом, он им не сродственник случаем?

Сын, не веривший в матушкин отказ, долго и сбивчиво объяснял, до чего его возлюбленная умна и красива, как она сразу же понравится матушке своей скромностью и покладистостью, что в конце концов их отношения зашли слишком далеко и он дал слово.

— Слово можно дать только равному. — Мать впервые отделилась глухой стеной от сына, не пустила его чувства в свою душу. — Что ж, если я прикажу какому-нибудь Пахому, чтобы карету закладывал, так уже и ехать обязана?.. И не шуми в моем доме по пустякам, твой дед целую деревню девок перепортил, но с ума не сошел и ни на одной из них не женился.

Владимир был упрям, усердно обвивал матушку нежнейшими ласковыми словами, надеясь, что ее любовь к нему окажется сильнее родовой гордыни, но просчитался. Тогда он принялся запугивать ее, что скорее подаст в отставку, откажется от наследства, поедет жить в деревню, чем разлучится с любимой.

Но родительского благословения так и не вырвал.

— Ничему толковому не научили тебя христопродавцы иезуиты, — покачала головой мать. — Ну да пройдет время — образумишься. А сейчас, чтоб духу твоего в Москве не было, служить государю надо, а не своим похотям. И не перечь! Опять просить вздумаешь — слугам прикажу вытолкать в шею, сраму не оберешься.

Дочь младшего из некогда всесильных братьев Орловых встала с кресел и бросила на сына бешеный *орловский* взгляд. Неудачливый жених понял, что проиграл сражение, и, неуклюже повернувшись кругом, так что сабля чуть не запуталась в матушкиных юбках, в гневном отчаянии покинул отчий дом.

Мать облегченно вздохнула: месяц-другой побесится, а там и невесту справную подберем, обженим побыстрее. Ишь чего учудил: на Пахомовне. А девка, видать, хитрющая. Другая за радость бы сочла, что Володенька к ней ходит, а этой оженить захотелось. Срамница.

В тот же день раздосадованный молодой Новосильцев покинул Москву и, пока целую неделю трясся по грязному петербургскому тракту, многое передумал и чуточку поостыл.

Ведь если говорить без околичностей, он сделал все возможное и не его вина, что у матушки столь строптивый норов.

В Петербурге он первым делом бросился к ногам своей возлюбленной, сбивчиво описал свою безрезультатную поездку и обещал через год вновь попытать счастье у матушки, и уж тогда он не отступится, добьется своего, чего бы это ни стоило — отставки, лишения наследства, даже ссылки. Ему показалось, что его поняли, простили и смирились.

Так и случилось, несостоявшаяся невеста поняла, простила, смирилась и даже успокаивала его самого, отчего он чуть не возненавидел свою несговорчивую мать. Но ее брат, молодой офицер Чернов, не понял, не простил, не смирился…

Дрались на пистолетах. Сошлись до десяти шагов и выстрелили разом. Разом и повалились в сентябрьскую траву 1824 года. Еще четыре дня оба боролись со смертью и, успев послать друг другу слова прощения, в расцвете молодых сил ушли из жизни.

Горе Новосильцевой было столь велико, что притупило все чувства. Она оделась в черное платье, черный чепец и уже до самой своей кончины не носила иной одежды. На месте злосчастной дуэли безутешная мать, испросив позволение государя, выстроила богадельню для сирот, которым назначалось поминать ее Володечку, и церковь, куда положили его бальзамированное тело. Сердце же сына, закупоренное в

серебряном ковчеге, преступница, как называла теперь себя Новосильцева, всю дорогу до Москвы не выпускала из рук. И думала, думала, думала: как немного от нее требовалось — уступить сыну, — и свет не померк бы навеки. И понимала: как много ни делай теперь, тьма никогда не рассеется.

Безутешная мать (жены становятся вдовами, а матери навеки остаются матерями!) захоронила остановившееся сердце сына на кладбище Новоспасского монастыря, в наследственном склепе Новосильцевых, заготовив рядышком местечко и для себя. Она поселилась невдалеке и целыми днями пропадала на кладбище в надежде, что скоро переселится к сыну навсегда. Но Господь снова обрушил на нее кару, не даруя скорой смерти. Старый отец каждый день трясся в карете через весь город, навещая дочь и упрашивая ее переселиться к нему. С уговорами воскреснуть для жизни к ней наезжали митрополит, многочисленные родственники и даже московские кумушки, перед которыми она еще недавно высокомерно бахвалилась сыном. Поплакать вместе с ней к могилке часто подходили нищие, юроды, странницы. И новообретенное чувство — жалость к себе — обрело в душе Екатерины Владимировны родственное — жалость к ближнему.

Сначала понемногу, а потом все больше и больше она стала раздавать милостыню. Многие бедные семьи Москвы смогли безвозмездно пользоваться ее квартирами, получать ежемесячное пособие. Она купила и заново отделала для детского приюта двухэтажный каменный дом. Приходской храм время от времени стал получать богатые вклады. Но сама Екатерина Владимировна в церковь никогда не входила, не смея осквернить ее своим грехом, а стояла на протяжении всей литургии в темной комнатке, пристроенной к северной стене храма, и молилась, прильнув к маленькому окошку, через которое доносились звуки песнопений.

В дом Новосильцевой, стоявший на бульваре против Страстного монастыря, куда ее наконец уговорили вернуться, потянулись монашки, вещуньи, ворожеи, нашепницы. Хозяйка обыкновенно сидела в их окружении в голубой гостиной перед портретом сына, писанного в полный рост, украшенным вазами с множеством редкостных цветов. Босоногие завшивевшие богомольцы рассказывали жаждавшей смерти матери о своей невеселой скитальческой жизни, о горе и нужде, которыми переполнен мир. Сын глядел на них с портрета — вечно молодой, в высоких ботфортах, флигель-адъютантском мундире, стягивающем сильное живое тело, треугольной шляпе с белым султаном.

Страшное, изуверское мучение предстояло принять

Новосильцевой — еще целую четверть века жить, постоянно видя перед собой портрет единственного дитяти, которому она отказала в материнском благословении. Не иначе как злой демон преследует Орловых, решившихся в далеком 1762 году придушить свергнутого императора Петра III, чтобы возложить российскую корону на его вдову. Григорий сошел с ума, так и не оставив потомства. Анна, единственный ребенок Алексея, умерла незамужней. Умерли бездетными и оба брата уже бездетной Новосильцевой. Лошади орловской породы расплодились, а люди повывелись. Неужто это возмездие?..

Оборотистый букинист. Разносчик книг Иван Андреевич Чихирин (1770-е—1830-е)

Возле двухэтажного особняка, за мрачноватость окрещенного москвичами домом Малюты Скуратова, на Берсеневке, в сторожке, в тридцатых годах девятнадцатого века жил со своею старухой Иван Андреевич Чихирин — старик высокого роста, с длинной бородой и хитрыми глазами.

Летом в долгополом сюртуке, с трехпудовым мешком за плечами любил он путешествовать по московским окраинам. Заходил в богатые дома на Ходынке, во Всехсвятском, Петровском парке и даже Сокольниках. У аристократов почиталось тогда за необходимую моду держать у себя ливрейного лакея, столовое серебро и библиотеку в добрую сотню томов. Зайдет в такой дом Иван Андреевич, скинет мешок с плеч и начинает торг своим необычным товаром: Загоскиным, Ишимовой, Вальтером Скоттом, цена каждому из которых от полтинника до трех рублей. Пушкин же шел до десяти рублей ассигнациями за том, а «Мертвые души» Гоголя тянули чуть ли не на пять червонцев. Но особенно ходко шла перепродажа мистической литературы: «Сионского вестника», сочинений госпожи Гион, «Ключа к таинствам натуры».

Конечно же, Иван Андреевич, как и любой московский торговец, не всякому поверял истинную цену книги. Чаще он, оценивающим взглядом пронзив покупателя, брал из мешка товар наугад и некоторое время делал вид, что любуется книгой, не имея сил расстаться с ней навек. На самом же деле он в это время молчком рассуждал: «Барин-то дурень дурнем, а все туда же, в образованные тянется, хоть у него на лбу написано, что, окромя Святцев, он в книги не заглядывал. Пыжься, пыжься, я вот с тебя сейчас лоск-то соскоблю».

— Десять рублев! — решительно объявлял Чихирин.

— Да помилуй, — терялся от неожиданности *просвещенный* барин, — отчего так дорого? Я намедни за двадцать копеек брал, и почти новую книгу.

— А вы, ваше благородие, поищите *такую* — и за двадцать рублев не сыщете. Это ж купчишке какому-нибудь, ему лишь бы цена была необременительная, и все! А вам — я же понимаю благородного человека — главное, особенную книгу иметь, чтобы в ней эдакая загадочная витиеватость проступала.

— Что ж, я же не отказываюсь, я непременно возьму, хоть ты

и дорого просишь, — вздыхал обреченный аристократ и становился обладателем «Искусства лить пушки» Монжа.

— А не желаете для супружницы пристойное чтение приобрести?

Иван Андреевич извлекал из недр бездонного мешка «О благородстве и преимуществе женского пола» Агриппы.

— Нет уж, уволь. — Одураченному покупателю все еще было жаль десяти потраченных рублей. — У нас целый шкап с книгами, там такое или что-то похожее уже есть.

— Как пожелаете, мы товар не навязываем — и так вмиг расходится.

Чихирин поспешно раскланивался и, довольный, покидал дом, где посчастливилось удачно пристроить рублевый товар.

Иной раз хозяева предлагали ходебщику, как называли разносчиков книг, поменять свои старые, обтрепанные книги на новенькие, и тут Иван Андреевич опять же выказывал сметку, отдавая Греча и Булгарина за старинные новиковские издания и даже допетровские бесценные фолианты с замысловатым начерком букв.

Бывало, приглашали его и юные наследники, продававшие сваленные в кучу родительские библиотеки оптом, на вес. Определив искушенным взглядом ценность многопудового товара, Чихирин спешил за деньгами к антикварам Панкратьевского переулка, которые все были староверы и большие ценители дониконовского письма. На следующий день он отдавал им долг книгами и рукописями с налетом стародавней старины.

Но кое-что из божественной литературы оборотистый букинист оставлял и для гостинодворских купцов, у которых потайные слова «масонство», «раскол» тотчас развязывали кошельки, а купленные книги на долгие годы переселялись в обширные комоды глухих домов Замоскворечья.

Для простого же народа Чихирин приберегал сказки о Еруслане и Бове, гадательные книги царя Соломона, лубочные картинки.

Иван Андреевич никогда не читал библиографических справочников, не знал иностранных языков, не был просвещенным знатоком литературы. Но его уважение к печатному слову, да и сама торговля таким пустяшным в ту пору товаром, как бывшая в употреблении книга, сеяли семена уважения к печатному слову, способствовали распространению собирательства, спасению редких изданий.

Книжная торговля в Москве к середине девятнадцатого века стала постепенно расширяться. Возле решетки университета

торговали научными трактатами, у входа в Александровский сад шли в ход романы, или, говоря на языке того времени, изящная литература. Возле Большого московского трактира книгу брали охотнорядцы — чаще с возвратом, напрочет.

Антикварные лавки тянулись по Панкратьевскому переулку и Сретенке до самого Сухаревского рынка. Чихирин же имел лавочку на Смоленском рынке, возле которого — на Арбате, Пречистенке, Остоженке — проживало немало богатых и просвещенных господ. Были охочи до старинных книг и иноземные посланники в блестящих камзолах и замысловатых шляпах.

Но в Вербную субботу и другие дни народных гуляний, когда московские жители, по обычаю, стекались на Красную площадь, Чихирин переносил свою торговлю к Спасским воротам Кремля, располагаясь на том же месте, где до Отечественной войны 1812 года имел лавочку первый русский антиквариий Ферапонтов. У Ферапонтова когда-то запасались пособиями для научных исследований профессора Московского университета Барсов, Синьковский, Баузе; обогащали свои бесценные собрания граф А. И. Мусин-Пушкин, граф Ф. А. Толстой, П. Л. Бекетов. Теперь же, стал замечать Чихирин, книги все чаще стали покупать купцы, мещане, крестьяне, и среди простого народа стали появляться собиратели до того ученые, что против них дворяне — полные невежды. Не странно ли это: и деньги, и земли, и даже само просвещение все заметнее перекочевывают из высшего сословия в низшее?..

Но раз в год Чихирина брала хандра, и тогда и торговля, и размышления о жизни ему нестерпимо противили. Он оставлял нераспроданный товар без присмотра — благо, что воры еще не имели привычки красть книги — и шел к своей старухе.

— Пора переменить, — вздыхал Иван Андреевич.

И вот жена уже разбирает книжки на листочки, вяжет их в пачки и продает по три копейки за фунт в овощные лавки для завертывания товаров. А сам хозяин тем временем уходил в ближайшее за Камер-Коллежским валом село, где шкалик водки, не обложенный городским налогом, стоил семь копеек против московских десяти, и кутил, пока не пропивал последнего гроша. Тогда он отправлялся пешком в Троицу и, замолив грехи, вновь становился добропорядочным семьянином и увлеченным букинистом.

Вычихал каменный дом. Шут Иван Савельевич Сальников (1770-е — после 1830-х)

На Руси, как и во всем мире, любили потехи. Но если простой народ в редкие дни отдохновения от трудов резвился на качелях, водил хороводы и распевал разухабистые песни, то благородные, для многих из которых труд ради куска хлеба оставался неведомым занятием, развлекались катанием в каретах, карточными играми и театральными представлениями. И если каждый простолюдин становился директором-распорядителем своего праздничного дня, создателем и участником всеобщего веселья, то знатным нужен был искусный посредник, чтобы улыбнуться.

Одним из лекарств от скуки в великосветских кругах издавна служили шуты. Среди них попадались умнейшие люди, как, например, придворный шут Иван Александрович Балакирев. Были, конечно, и глупцы, веселившие господ.

Ивана Савельевича Сальникова никто не называл по имени и фамилии, да и не знал их. Просто — Савельич. В начале XIX века он жил в доме у князя Хованского на Пречистенке и был непременным сопровождающим летних московских гуляний. Под Новинским, в Сокольниках, на Красной площади Савельич появлялся в одноколке, во французском кафтане, напудренный и украшенный цветами. Под стать была разукрашена и лошадь — вся в бантах, в шорах, с разноцветными перьями в гриве. Едет крепостной мужик Савельич этаким барином и поет во все горло: «По улице мостовой шла девица за водой!»

Как-то вельможный князь Юсупов, всю жизнь пытавшийся убежать от скуки, предложил московскому шуту пройтись с ним по городу. Богато разодетый Савельич согласился. Князь решил перешутить юродивого мужика и остановил по пути крестьянскую бабу.

— Ударь его по щеке, я тебе целковый дам.

— Ах, батюшка, да как я смею…

— Да ведь это шут, а не барин! — рассмеялся Юсупов.

— Ах, батюшка, да вы меня обманываете. Целковый бы мне пригодился, да это, я чаю, барин вроде вас. Вишь, у него золотой кафтан.

Тут в разговор вмешался Савельич:

— Что ты, баба, его слушаешь, он все врет. Я — князь

Юсупов, меня все знают. Ты лучше ударь его, я тебе три целковых дам.

Сказывают, баба «чуть было не заехала татарского князя по шее».

Было множество анекдотов, связанных с Савельичем, который со временем получил вольную и жил приживальщиком у богатых вельмож. Но более других запомнился москвичам удивительный случай, когда он поспорил с богатым барином, что обязательно чихнет на каждой из ста двадцати ступенек. И вычихал себе двухэтажный каменный дом, занялся колониальной торговлей, завел семью, сына отдал в ученье и оставил ему немалое наследство.

В 1830-х годах Савельич уже был господином лет шестидесяти, в белом суконном сюртуке и длинных, малинового цвета панталонах, в черной пуховой шляпе с большими полями, к которой был прикреплен большой пук развевавшихся по ветру разноцветных атласных лент. Он был принят в блестящих аристократических домах, и ему позволяли вольности, даже сальности, непростительные никому другому. Он мог спокойно подойти к супруге генерал-губернатора князя Д. В. Голицына княгине Татьяне Васильевне, сидевшей за ломберным столиком в окружении дам и кавалеров, и, заглянув к ней в карты, на всю залу воскликнуть:

— Танечка, какая к тебе игра-то припендрила!

Мог, прогуливаясь по гостиным, вдруг посоветовать другой знатной даме:

— Машенька, мой друг, поди сыграй на фортепихальцах!

Ему позволялось, протиснувшись в кружок мужчин, серьезно рассуждающих о государственных деятелях, смутить всех, хоть и ненадолго, откровенной правдой:

— Я вам скажу, как только в Петербурге дурак заведется, его тотчас шлют в Москву сенатором!

Вот так и юродствовали на Руси: в петербургских салонах знаменитый полководец Суворов, в московских — популярный шут Савельич. Если присмотреться, есть отменные шуты и в наше время.

Духовный полковник. Офицер Доможиров (1770—1830-е)

«Все в Москву катится», — с гордостью бахвалятся жители Первопрестольной и с завистью отмечают приезжие. На московских улицах, одетых кое-где в дикий камень, продыху нет от бесчисленных колясок, бричек, карет, тарантасов, дормезов, одноколок, фаэтонов, пролеток, кабриолетов, колымажек, телег.

Вот тянется длинный обоз груженых саней, на которых оторванные от крестьянской работы мужики везут оброк своему сытому *благодетелю*. Громыхает золоченая карета с графским гербом, кони в перьях, на запятках *букет* — два здоровенных лакея во фраках, на козлах красномордый тучный кучер, которого для поддержания внушительных размеров живота каждый вечер до краев потчуют портером. Тащится косматая толстоногая кобыла, запряженная в пошевни — большие лубочные сани для товару, — набитые на этот раз говорливой купеческой семьей. Мчится заложенная по-русски тройка, бородатый лихач в новом кучерском армяке и голубой шапке набекрень ловко охаживает длинным кнутом двух пристяжных и коренную в дуге с колокольцем. Волочится усталая крестьянская кляча, старая и худая, как и ее хозяин — битый-перебитый гордыми седоками Ванька-извозчик в синем драном армяке, с номерной медной бляхой на спине.

Но вдруг с близлежащей колоколенки раздался неурочный звон…

— Никак сам владыко решился не побрезговать нашим храмом? — с затаенной радостью спрашивали друг у друга местные прихожане.

— Доможиров скачет! — закричал самый зоркий, указывая вдоль улицы. — Скоро митрополит будет!

Вот уже и все заметили, как к храму стремительно приближались легкие дрожки, на которых, стоя на полусогнутых ногах с намотанными на левую руку вожжами и длинным хлыстом в правой, мчался навстречь ветру приземистый напудренный офицер долгопамятных павловских времен. Его военный сюртук с красными отворотами, треуголка с загнутыми полями и трепещущая приставная косица казались москвичам 1820-х годов столь же священными, как священнические ризы, а миссия Доможирова столь же важной, как у царского фельдъегерского возка.

Люди прихорашивались, принимали смиренный вид и с

трепетом шли в свой приходской храм слушать почетную архиерейскую службу.

Доможиров осаживал разгоряченную лошадь возле самой церковной паперти и смело бросался в толпу прихожан, расталкивая народ с помощью кулаков и грозных возгласов: «Посторонись, хамово отродье! Дорогу владыке!»

Только-только он успевал расчистить проход и навести видимость благолепия, как рядом с его спартанскими дрожками останавливалась веберовская, в четыре тысячи рублей серебром карета на высоких рессорах, с мягкими шинами, с нарядным форейтором, восседавшим на одном из шести орловских рысаков. Из услужливо распахнутой дверцы сначала показывался теплый, мягкий сапожок, голенище которого покрывала черная шелковая ряса, а затем и весь митрополит, с золотым крестом на груди и в клобуке. Он размеренным кротким шагом вступал в храм, где ему предстояло в течение долгого часа, а то и двух оказывать молитвенную помощь заблудшим овцам стада Христова.

Все это время Доможиров зажигал потухшие от сквозняков свечи, поправлял лампады, расставлял молящуюся паству в веданном одному ему порядке и следил, чтобы никто из прихожан не отвлекался на мирские разговоры. Он даже разводил по нужным местам священников, которые путались, где им стоять в известные минуты архиерейского богослужения. А уж если на крестный ход собирались, то духовенство, особенно новички сами обращались к Доможирову за указаниями, где встать и что делать. Сам же добровольный блюститель благочестия в крестном ходе шел впереди, раздвигая по сторонам столпившийся народ.

Перед последним «аллилуйя» последний раз хозяйским взглядом окинув смиренный храм, он без сожаления покидал его и, молодецки вскочив на дрожки, мчался уже проторенным путем назад, к усадьбе митрополита, предваряя появление кареты, должной доставить его высокопреосвященство от обедни к обеду.

Переговорив с архиерейским кучером о маршрутах дальнейших поездок, которые желательно предвосхитить лихой скачкой, Доможиров, если на сегодня его добровольная служба была закончена, удалялся к себе в тихую квартиру, которую обычно снимал на окраине города, и, водрузив на нос огромные очки, читал что-нибудь из Ветхого Завета.

Домохозяину попервой нравился такой спокойный, солидный постоялец, рано утром уходящий куда-то на службу, а вечера проводящий трезво и скромно. Но вот минул месяц, за ним второй, третий, а на усердные напоминания о квартплате солидный постоялец отвечал сначала обыкновенным, а потом уж и презрительным молчанием. Домохозяин, как и все обыватели

недворянского звания, понимал, что офицерский мундир требует почтенного отношения к находящейся в нем особе, поэтому, удрученный, что не может расправиться с неплательщиком по-свойски, шел жаловаться в полицию.

— Доможиров? — сочувствовали ему в части. — Да он испокон веков, сколько квартир ни сменил, нигде не платит. Шутка ли — еще при покойном императоре Павле полковником в отставку вышел! А теперь на духовное дело потянуло — у его высокопреосвященства вроде как общественную службу справляет, без платы, по собственному почину упреждает повсюду в городе светлейшее появление. Его и зовут-то кто — духовным полковником, кто — духовным полицмейстером. Да и нам с Доможировым спокойнее. Кабы у всех начальников по такому провозвестнику было, мы бы ни страху, ни забот не знали, полеживай себе да ухо востро держи, чтобы врасплох не застали. Так что забирай свою жалобу и убирайся подобру-поздорову, пока не всыпали горяченьких, как потрясателю основ. Кажись, Бога благодарить должон, что приютил у себя столь почтенную особу, а ты… Нет, до чего же за последнее время народ исподличал!

Поняв, что за птица его квартирант, домохозяин совал квартальному красненькую десятирублевую ассигнацию и в низком поклоне слезно молил:

— Ваше благородие, вы уж не побрезгуйте, возьмите от чистого сердца, да и придумайте что-нибудь, ведь разорюсь с вашим полковником!

— Взять-то я возьму, — соглашался квартальный, — только что я могу придумать?.. Ну да ладно. Ты выкладывай еще одну красненькую, для пристава, и завтра жди — мы сами его перевезем. Есть тут на примете один больно гордый купчишка — видать, в бояре метит, вот мы ему и подбросим благородного квартиранта… Пусть-ка к нам побегает!.. Только ты Доможирову подарочек по чину его поднеси и прощальный обед обеспечь, а то упрется и тогда уж ни в жизнь не съедет.

Обрадованный домохозяин раскошеливался на вторую ассигнацию и поспешал за покупками, чтобы с достоинством выпроводить квартиранта, со злорадством думая о гордом купчишке, которому настает пора расплачиваться за добровольное служение московскому благочестию духовного полковника Доможирова.

Ищите женщину! Графиня Прасковья Ивановна Шереметева (1770-е—1803)

Памятники зодчества Москвы и ее окрестностей не зря зовут каменной летописью столицы. Они могут поведать любознательному человеку об удивительных делах и поучительных историях минувшего. Новодевичий монастырь расскажет о заточении в его стенах властолюбивой сестры Петра I — Софьи и мятежных стрельцах, повешенных под окнами ее кельи. Архангельское поразит богатством князей Юсуповых, перешедшего к ним от казненных и опальных русских бояр. Остатки Симонова монастыря напомнят о повести Карамзина «Бедная Лиза», а Старое Симоново — о некогда здесь захороненных Ослябе и Пересвете. Можно совершить увлекательные путешествия по московским памятникам Куликовской битвы, центрам старообрядчества, дворянским особнякам начала девятнадцатого века…

Но что общего может быть между усадьбой Кусково **(XVIII** век, в Перове), церковью Симеона Столпника **(XVII** век, на пересечении Поварской улицы с Новым Арбатом) и зданием Научно-исследовательского института им. Н. В. Склифосовского (начало XIX века, на Сухаревской площади)?.. Если вы встретились с трудноразрешимой загадкой, то — как любил выражаться французский полицейский Габриэль де Сартин — ищите женщину.

В 1788 году, после смерти отца, тридцатисемилетний единственный наследник нескольких миллионов рублей и ста шестидесяти тысяч крепостных душ, потомок Ивана Васильевича Шереметева, отправленного на плаху царствующим тезкой, внук сподвижника Петра Великого, родственник первых боярских фамилий России — Салтыковых, Трубецких, Черкасских, Долгоруких, Лопухиных, сенатор граф Николай Петрович Шереметев бросил петербургскую службу и уединился в семи верстах от Москвы, в родовом имении Кусково между Рязанской и Владимирской дорогами.

Дворец роскошного вельможи, Москвы любимый вертоград, Где жизни день бывал дороже Среди бесчисленных отрад, Чем год в иной стране прекрасной!

Семнадцать прудов, каскады, водопады, фонтаны, подъемные мосты, маяки, гроты, «рыбачьи хижины», гондолы, церковь с

колокольней, эрмитаж, оранжереи, руины, карусели, зверинцы, китайские и голландские домики, продольные и диагональные аллеи с ровно подстриженными кустами и мраморными статуями, многие другие ухищрения должны были помочь властителю усадьбы коротать праздное время. Гости, которых собиралось порой до двух тысяч, весело палили из пушек раззолоченной яхты, подзадоривая громкими криками гребцов в шкиперских кафтанах и шляпах с серебряным позументом. А с берега доносились песни кусковских крестьянок и треск изысканных фейерверков.

Но граф равнодушно расхаживал по своему великолепному дворцу, безрадостно смотрел на драгоценные гобелены, яшмовые вазы, дамасские, осыпанные бриллиантами сабли, на гостивших у него иноземных королей и русских князей. Недаром же одна родственница прозвала его отменным штукарем. За границей и при дворе императрицы Екатерины II он приобрел лишь внешний лоск европейца, но остался русским дворянином, которого вынянчила простая крестьянка, человеком с мятущейся чуткой душой.

Он принялся устраивать в своих поместьях школы и больницы, разрешил крепостным подавать жалобы лично ему, отменил телесные наказания, дозволил всем москвичам в дни всенародных праздников гулять среди кусковских садов и парков.

От своих высокородных предков Николай Шереметев унаследовал не только миллионы, но и две страсти: псовая охота и театр. Для утоления первой граф держал полторы сотни резвых оленей и полсотни породистых псов, для второй — оркестр музыкантов, хор певчих, дюжину танцовщиц.

После театрального представления он привык обходить с поздравлениями артисток и, как бы невзначай, оставлял в комнате одной из них платок, за которым возвращался ночью, крадучись.

Но одна встреча переменила всю его жизнь. Виновница происшествия, старшая дочь горбатого кусковского кузнеца, сложила об этом летнем дне 1789 года песню, которую шереметевские крестьяне разнесли по всей России, и к середине девятнадцатого века она уже вошла в многочисленные сборники народного поэтического творчества.

Вечор поздно из лесочка
Я коров домой гнала.
Лишь спустилась к ручеечку
Возле нашего села,
Вижу: барин едет с поля,

Две собачки впереди.
Поравнявшися со мною,
Он приветливо сказал:
«Здравствуй, милая красотка.
Из какого ты села?»
«Вашей милости крестьянка», —
Отвечала ему я.
«Не тебя ли, моя радость,
Егор за сына просил?
Он тебя совсем не стоит,
Не к тому ты рождена.
Ты родилася крестьянкой,
Завтра будешь госпожа!»
Вы, голубушки, подружки,
Посоветуйте вы мне.
А подружки усмехнулись:
«Его воля, его власть!»

Пресыщенный, искушенный граф, отпрыск ближайших царских советников, один из первых богачей России, будто ребенок, влюбился с первого взгляда, влюбился в свою крепостную крестьянку Прасковью Горбунову (ее отец не любил этой клички, и чаще его и его детей называли Кузнецовыми и даже Ковалевыми), влюбился навек.

Она под именем Параши Жемчуговой стала лучшей актрисой Кусковского театра, прославилась на всю Москву как прекрасная оперная певица.

Для нее был выстроен отдельный флигель, где граф, по собственному признанию, провел лучшие дни своей жизни.

Холопка, существо, приравненное русским *цивилизованным* обществом к скоту, стала для графа Шереметева лучшей советницей, единственной утешительницей, добровольной наложницей. Он забросил охоту, увлекся книгами, стал различать людей в подвластных ему рабах.

Она пленила его немногочисленных друзей. Среди них императора Павла I, восхищавшегося их тихим счастьем и любившего подолгу беседовать с Парашей. Митрополита Платона, который до того однажды расчувствовался от Парашиных песен, что с жаром поцеловал ее трепетную ладошку, вместо того чтобы предложить для лобызания свою священную длань.

С первого дня рождения Николая Шереметева и Прасковью Горбунову люди отнесли к разным породам, но любовь порушила сословные преграды. Слава, знатность, богатство стали для

влюбленных не источником счастья, а поводом к мучениям, ибо им надо было скрывать от *высшего света* истинные чувства. И все же в их совместной жизни, прошедшей в постоянных заботах друг о друге (оба были слабы здоровьем), среди волнений и тревог, можно различить проблеск великого счастья.

Наконец через десять лет после их первой встречи граф настоял, чтобы его наложница приняла свидетельство об отпуске на волю.

Спустя еще три года, 6 ноября 1801 года, в церкви Симеона Столпника на Поварской произошло их тайное бракосочетание. Свидетелями при венчании были князь А. Н. Щербатов и начальник Московского архива иностранных дел А. Ф. Малиновский. Брачный документ написан рукою московского митрополита Платона.

«Соединяя душевные добродетели, — писал о своей супруге Николай Шереметев в завещательном письме сыну Дмитрию, — она приобрела себе совершенно все уважение и почтение к ней мое, и тогда я поборол бренные предрассудки света сего о неравенстве состояний и соединился с нею священными узами брака».

23 февраля 1803 года, спустя двадцать дней после рождения сына-первенца Дмитрия, графиня Прасковья Ивановна Шереметева скончалась. На следующий день, 24 февраля, император Александр I благосклонно отнесся к браку Шереметева с опочившей супругой, которую, по словам венценосца, «любовь поставила превыше ее состояния». Лишь после этого для *высшего света* была открыта тайна венчания графа, его сын признан наследником.

Всю оставшуюся жизнь безутешный вдовец посвятил воспитанию сына и исполнению воли усопшей — строительству богадельни для ста человек престарелых и увечных и при ней бесплатной больницы на пятьдесят человек (странноприимного дома).

В 1809 году, за несколько месяцев до открытия Шереметевского странноприимного дома (ныне НИИ им. Н. В. Склифосовского), граф спокойно скончался с именем Параши на устах.

Что же она была за женщина, если сумела стремительно и навек обворожить столь сиятельного и разборчивого мужчину, как Николай Шереметев? Чем она околдовала, присушила, как говорили крестьяне, его?..

На лучшем портрете Параши работы художника Н. И. Аргунова заметно своеобразие ее лица. Но его не назовешь красивым. Мука, нежность, тревога, милосердие соединились в

нем.

«В ней не было ни античной, ни классической, ни художественно-правильной красоты, — пишет биограф Прасковьи Шереметевой Петр Бессонов о ее портретах. — Напротив, с этой точки зрения лоб нашли бы малым, глаза недостаточно обрисованы ясными линиями и невелики, а по краям несколько растянуты по-восточному, в волосах нет роскоши, скулы выдаются слишком заметно, колорит лица то нежно слабый, то смугловатый и запаленный. Но в общем это именно то, что называется красотой выразительною и красотой выражения, что-то зовущее, приковывающее и вместе с собой влекущее. Фигура эта будто встала перед вами внезапно или встречена вами в пути. А идет она на подвиг, и путь ее есть предначертанный, решенный путь победы и жертвы, торжества и мученичества».

И, глядя на портреты графа и графини Шереметевых, листая страницы их жизнеописания, невольно завидуешь их любви.

Ангел-хранитель москвичей. Генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771–1844)

По количеству лет, проведенных на посту генерал-губернатора Москвы, светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын занимает второе место, уступая первенство лишь князю Владимиру Долгорукову. Он правил Первопрестольной с 1820 по 1844 год и считается воссоздателем прекрасного облика города, сильно пострадавшего от пожаров и вандализма 1812 года. Когда князь был назначен в Москву, от Никитских ворот через пустыри еще можно было увидеть Сущево, а с Болота через рвы и топи Павловскую больницу. При нем древняя столица украсилась живописными садами, парками и непрерывной цепью бульваров, пополнилась более чем десятком мостов, набережные Москвы-реки оделись в гранит, на площадях появились фонтаны с чистой мытищинской водой, истекавшей из резервуара на Сухаревой башне, был устроен первый в России пассаж (Голицынская галерея). Особенно же расцвели за время его градоначальства в христолюбивой Москве благотворительные заведения. Перечислить все займет не меньше времени, чем в медной монете подсчитать капиталы князя Юсупова. Скажем лишь о главных.

Голицын был бессменным председателем Попечительного совета заведений общественного призрения, Тюремного комитета, Комитета о просящих милостыню, главным попечителем Дома трудолюбия, Практической коммерческой академии, Земледельческой школы. Он содействовал открытию Градской (1828), Глазной (1826) и Детской (1842) больниц, учредил Комитет о торфе, борясь с варварским истреблением лесов в Московской губернии, покровительствовал школе пчеловодов, возглавлял и участвовал в ученой работе Московского общества сельского хозяйства. По его инициативе и его иждивением началось издание монументального труда «Памятники московской древности».

Запомнился светлейший князь москвичам и в тяжелые годы, в 1831-м, когда город посетила холера, и в 1834-м, когда в течение двух месяцев город неустанно истребляли пожары. И в тот и в другой раз Голицын сумел сохранить в Москве тишину и спокойствие, помочь жителям противостоять эпидемии и стихии.

1840 год принес городу новое бедствие — голод. Запасы хлеба истощались, цены возвысились до 45 рублей за куль,

подвозу не ожидалось.

Светлейший князь пригласил к себе первостатейных купцов:

— Господа, перед нашими глазами люди начали умирать от голода. А что впереди? Хлеба хватит только до февраля. Предлагаю собрать взаймы капитал, скупить хлеб на Волге и продавать его без барышей. Я беднее вас, господа, у меня налицо 70 тысяч ассигнациями, и из них 60 тысяч я даю взаймы Москве.

И он положил деньги на стол. Рахмановы, Куманины, Алексеевы и другие московские негоцианты без лишних слов подходили к столу и клали подписки о своем вкладе. Сумма оказалась для тех лет весьма значительная — 1 миллион 300 тысяч рублей. Капитал за год обернули два раза, цены упали до 22 рублей за куль, губерния и столица были спасены. Когда голодный год миновал, капиталы вернулись к хозяевам, а князь за свою инициативу получил титул светлейшего.

Странный он был человек, с детских лет воспитывавшийся за границей (в Страсбурге, Париже, Лондоне, Риме, Вене), он искренне любил свою родину. Михаил Погодин, известный своим панславизмом, даже подчеркивал, говоря о Голицыне, что, «несмотря на иностранное свое воспитание (единственный его недостаток), он остался в душе чистым русским».

В двадцать три года под знаменами Суворова князь Голицын брал Прагу, за что получил первую награду — Георгиевский крест. Воевал в Пруссии, Финляндии. Участвовал в сражениях при Бородине, Тарутине, Красном. В 1820 году он окончил военное служение и занялся мирным делом, управляя древней русской столицей.

Воспитанный в духе французского либерализма (даже камни таскал от Бастилии во время ее штурма и разрушения), с лорнетом в руке, не умеющий толком писать по-русски, да и говорить предпочитавший по-французски, охотник до дамского общества, он был в чести и у патриархальных купцов, и у строгого аскета митрополита Филарета, и у любимца москвичей князя Сергея Михайловича Голицына. Почему?..

Может быть, потому, что, по словам служащего его канцелярии, «не понимал зла, оно было для него недоступно. Князь из-за этого и в театр-то ездил редко, особенно не любил трагедий и драм».

Голицын вставал в 5 или 6 часов утра и еще лежа распечатывал подоспевшие за ночь бумаги, пил чай и читал доклады. В 9 часов одевался и около десяти принимал правителя своей канцелярии и других близких помощников. В 12 часов в приемной зале встречался с московскими начальниками и другими лицами, имеющими надобность до него. Потом ездил с

визитами, осматривал войска, ревизовал присутственные места. Пообедав в семейном кругу, вновь принимал приближенных и до часу-двух ночи, если более никуда не выезжал, занимался бумагами. Итак изо дня в день, из года в год.

Может быть, его любили за сановитость, близость к царю, за чувство превосходства перед петербургскими государственными деятелями. Как-то из Северной столицы министр внутренних дел прислал чиновника ревизовать московские надворные суды. Когда чиновник прибыл доложить о своей миссии Голицыну, тот велел позвать обер-полицмейстера Цинского:

— Понаблюдайте, чтобы этот господин в 24 часа выехал из Москвы. Пока князь Голицын здесь, никто Москвы ревизовать не будет.

Может быть, за величавую осанку, кроткий голос, улыбку, добродушие так любили его люди разных сословий. Генерал от кавалерии, кавалер всех российских и многих иностранных орденов, при всей своей военной выправке, деловитости и французском либерализме, он был русским барином, любившим отдыхать в обществе друзей и литераторов, председательствовать на торжествах и ученых заседаниях, быть окруженным почетом и уважением.

Умер светлейший князь Дмитрий Владимирович в Париже после двух операций в понедельник на Святую Пасху 1844 года, в самый, по народному поверью, блаженный для кончины день. Перед смертью несколько раз спрашивал врача: «Не правда ли, мы возвратимся в Москву? Вы меня здесь не оставите?»

По славной дороге 1812 года, мимо Красного и Бородина возвращался он в гробу в свой город, чтобы найти вечный покой в Донском монастыре.

В час брани наводил он страх на вражий стан, В дни мира был блюстителем закона. Был верным, преданным слугой царя и трона И ангелом-хранителем граждан!

Долг велит ехать. Врач Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831)

Мир праху твоему, муж, принесший столько пользы соотечественникам своим! Пока существовать будет Москва, имя Мудрова не придет в забвение. Пока мы будем любопытны о медицине, об успехах ее, дотоле будем признательны к заслугам Мудрова.

«Вестник естественных наук и медицины», 1831 год

Родился знаменитый московский врач в бедной и многодетной семье священника Вологодского девичьего монастыря, большого знатока латинского, греческого и еврейского языков. Отец любил врачебную науку и почитал за долг исцелять не только душу, но и тело бедных, обращавшихся к нему за помощью. Отправляя Матвея учиться в Москву, Яков Иванович перекрестил сына медным крестом, который и подарил ему вместе с чайной фаянсовой чашкой и двадцатью пятью копейками медных денег.

— Вот, друг мой, все, что могу уделить тебе, — поправляя на сыне котомку, напутствовал его в долгий путь отец. — Ступай учись, служи, сохраняй во всем порядок, будь прилежен к добрым делам, помни бедность и бедных. Этим ты утешишь отца с матерью.

Вскоре, в 1795 году, Матвей Мудров был произведен в звание студента и на публичном торжественном собрании получил из рук куратора Московского университета, известного поэта Хераскова, шпагу.

Окончив медицинский факультет, молодой врач в течение пяти лет усовершенствовал свои знания в университетах Берлина, Парижа, Бамберга, Геттингена, Вены. Вернувшись в Москву, он начал преподавать в родном университете и завел частную практику. Ежедневно перед его домом стали собираться московские мещане и крестьяне окрестных деревень, пришедшие за врачебной помощью. Своим бедным, по завету отца, сын отдавал то, что получал от своих богатых.

Матвей Мудров подметил, что медицина на Руси издревле —

народная, благотворительная, а в Москве и Петербурге лекари-иностранцы сделали ее одной из самых высокооплачиваемых профессий. Врач стал предметом роскоши, доступной лишь избранным. Необходимо было вернуть медицине ее былое значение, воспитать в России собственных бескорыстных и трудолюбивых врачей.

— Научитесь прежде всего лечить нищих, — учил Мудров с кафедры Московского университета, — вытвердите фармакопею бедных; вооружитесь против их болезней домашними снадобьями: углем, сажей, золой, травами, кореньями, холодной и теплой водой; употребите в пользу бедных ваших больных стихии — огонь, воздух, воду, землю — пособия, никаких издержек не требующие, и к этому приличную пищу и питье, ибо бедность не позволяет покупать лекарства из аптеки…

Мудров создал при университете анатомический театр, возглавил строительство Клинического и Медицинского институтов, после пожара 1812 года отдал свою медицинскую библиотеку в общественное пользование. Он поднял преподавание медицины до уровня западноевропейского и поставил во главе науки врачевания совесть и трудолюбие.

Каждый год он начинал курс медицины со слов, которые составляли нечто вроде кодекса чести врача:

— Я должен бы, любезные юноши, сие врачебное учение начать с врачевания вас самих, с лечения вашей наружности в чистоплотности, в опрятности одежды, в порядке жилища, в благоприличии вида, телодвижений, взглядов, слов, действий. Потом перейти к врачеванию душевных свойств ваших. Начав с любви к ближнему, я должен бы внушить вам все прочие проистекающие из оной врачебные добродетели, а именно: услужливость, готовность к помощи во всякое время, и днем и ночью, приветливость, привлекающую к себе робких и смелых, милосердие к чужестранным и бедным, бескорыстие, снисхождение к погрешностям больных, кроткую строгость к их непослушанию, вежливую важность с высшими, разговор только о нужном и полезном, скромность и стыдливость во всяком случае, умеренность в пище, ненарушаемое спокойствие лица и духа при опасностях больного, веселость без смеха и шуток при счастливом ходе болезни, хранение тайны и скрытность при болезнях предосудительных, молчание о виденных или слышанных семейных беспорядках, обуздание языка в состязаниях по какому бы поводу ни было, радушное принятие доброго совета, от кого бы он ни шел, убедительное отклонение вредных предположений и советов, удаление от суеверия, целомудрие…

Мудров был истинным продолжателем великого Гиппократа,

чьи сочинения впервые именно он перевел на русский язык и не уставал пропагандировать.

— Но плененный мудростью Гиппократа, — признавался Матвей Яковлевич, — движимый любовью к своим достойным слушателям, благом общества и славой Московского университета, я решился проводить ночи с гениальным врачом…

Мудров, ученый ломоносовского типа, стал основателем русской терапевтической школы. Он упорядочил составление и ведение истории болезни, учил лечить не болезнь как таковую, а отдельно каждого больного, доказывал, что врачу мало одной книжной науки, ему необходимы врачебное искусство, постоянная практика, умение исцелять.

— Должно исследовать настоящее положение болезни, — наставлял он учеников, — искать в больном, где она избрала себе ложе. Для сего нужно врачу пробежать все части тела больного, начиная с головы до ног, а именно — первее всего надобно уловить наружный вид больного и положение его тела, а затем исследовать душевные, зависящие от мозга состояние ума, тоску, сон; вглядеться в лицо его, глаза, лоб, щеки, рот и нос, на коих часто, как на картине, печатлеется и даже живописуется образ болезни. Надо смотреть и осязать язык, как вывеску желудка, спросить о позывах к пище и питью и к каким именно, внимать силе голоса и ответов, видеть и слышать дыхание груди его и вычислить биение сердца и жил с дыханием, И вот врач, раб природы и слуга больного, делается наконец повелителем болезни!..

Как тут не вспомнить роман Льва Толстого «Война и мир», где Мудров, приглашенный среди других врачей к Наташе Ростовой, «лучше определил болезнь».

Но многие московские обыватели остерегались говорить восторженные слова о первом медицинском светиле, пока он не испытан в самом трудном деле — врач на Руси проявлялся в борьбе с эпидемиями.

«Мудров в двадцать четыре часа посылается на чуму, — писал историк Михаил Погодин о поездке легендарного врача в 1830 году в Поволжье. — Какое славное поручение. Остановить смерть, которая со всеми ужасами несется на отечество».

Через три месяца эпидемия холеры (Погодин оговорился, упоминая чуму) в Поволжье прекратилась, и Мудров со славою вместе с коллегами и учениками (среди них был будущий драматург и историк театра Федор Кони) вернулся в Москву. Но не прошло и года, как холера начала косить петербуржцев. Мудрова попросили приехать в Северную столицу. Накануне отъезда, оказавшегося роковым, он писал Чаадаеву:

«Мой друг и благодетель! Тяжко расставаться с Москвой, к которой привык, которую люблю. Жаль университет! Тяжко расставаться с близкими, с вами, а долг велит ехать».

Матвей Мудров выполнил свой долг до конца. На могильной гранитной плите отдаленного холерного кладбища Куликова поля близ Петербурга остались слова:

«Под сим камнем погребено тело Матвея Яковлевича Мудрова, старшего члена Медицинского совета Центральной холерной комиссии, доктора, профессора и директора Клинического института Московского университета, действительного статского советника и разных орденов кавалера, окончившего земное поприще свое после долговременного служения человечеству на христианском подвиге подавания помощи зараженным холерою в Петербурге и падшего от оной жертвой своего усердия. Полезного жития ему было 55 лет. Родился 25 марта 1776 года, умер 8 июля 1831 года».

Московский армянин. Генерал-майор Павел Моисеевич Меликов (1777–1848)

Можно утвердительно сказать, что в Москве с давних времен существовала немецкая колония, так как немцы селились в определенном месте и представляли своим обществом как бы городок в городе. Иное у армян, хоть немалое число их проживало в Москве уже в XVII веке. Они жили бок о бок с другими москвичами — русскими, украинцами, татарами, но, несмотря на разбросанность по всему городу, почти все знали друг друга, их связывала общность религии и языка.

До эпохи советского атеизма в Москве было три армяно-григорианских храма — Успения Пресвятой Богородицы в Грузинах (уничтожен), Воскресения Христова на Армянском кладбище (возвращен общине верующих в 1954 году) и Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Армянском переулке (уничтожен, ныне восстанавливается в другом месте).

Главный из них, Воздвиженский, построен усердием приехавшего в Москву из Персии в середине XVIII века богатого армянина Л. Н. Лазарева. Рядом с храмом его дети, Иван и Иоаким, выстроили училище, позже получившее дозволение именоваться Лазаревским институтом восточных языков.

Ежегодно несколько армянских семей приезжало в Москву. Некоторые только и думали, когда вернутся на родину, другие пускали здесь корни и оставались навсегда. Среди последних, кроме Лазаревых, выделялись негоцианты Ананновы, Джанумовы, Лианозовы, Мискиновы.

Имена многих богатых армян, сочувствовавших нуждам ближних, остались в памяти потомков. Так, например, Исайя Моисеевич Касперов, пожертвовавший значительный капитал для основания приюта бедных армян, названный Касперовским и с честью носивший это имя до прихода к власти большевиков. Пожертвования на призрение несчастных соотечественников, главный сбор которых состоялся 23 февраля 1841 года, объединили и многих других состоятельных армян. Хотелось бы сказать несколько добрых слов об одном из них, кто подал мысль об учреждении приюта для удрученных старостью, недугами и лишенных средств к существованию и кто деятельно трудился над воплощением своей идеи в жизнь.

Павел Моисеевич Меликов происходил из армянских дворян Астраханской губернии. В 1796 году на восемнадцатом году жизни поступил в лейб-гвардии Конный полк. Перейдя в 1800 году офицером в лейб-гвардии Кирасирский полк, участвовал в нескольких заграничных походах, где отличался храбростью и знанием военного дела. Под Бородином во время атаки на неприятельские батареи ядром ему оторвало правую руку, что, впрочем, не помешало ему через год вернуться в строй и вместе со своим полком вступить в Париж. В 1823 году в чине полковника Меликов был уволен из армии и в течение нескольких лет состоял комендантом в крепости Баку. «Здесь оставшаяся рука его, — вспоминал очевидец, — не только никогда не касалась чужой собственности, но столько же отверзта была для благотворительности, сколько сердце его для христианской любви к ближнему».

Выйдя в отставку в чине генерал-майора и не имея семейства, Павел Моисеевич поселился в Москве, где жил исключительно на свой небольшой пенсион и состоял первенствующим членом в Лазаревском институте.

В небогатый дом умершего 30 июня 1848 года генерала Меликова собралось множество живших в Москве армян, чтобы отдать последний долг своему соплеменнику. Все расселись неподалеку от гроба, и А. З. Зиновьев согласно воле почившего прочел его посмертное обращение, хранившееся в Крестовоздвижеиском храме.

«Возлюбленные мои соотечественники!

Когда я, сирый и одинокий в мире, отдам последний вздох мой Господу, то вероятно вы, из коих каждого я считал родным своим по сердцу, замените мне семейство, собравшись в земное жилище мое, чтобы дать последнее лобзание бренным моим останкам и проводить их до храма Божия.

Я желаю, чтобы в эти минуты прочтены вам были следующие строки, внушенные мне чувством признательности.

В жизни моей много сладостных минут доставили мне и ревностное исполнение долга моего на поприще военной и гражданской службы, и милостивое внимание ко мне монарха, и лестные награды его, доказывающие, что истинно усердная служба никогда за царем не пропадает, и возможность, какую щедроты царевы дали мне быть полезным бедному семейству брата моего. Все это, говорю, доставляло мне много сладостных минут. Но ни одна из них не могла равняться с теми, которые доставили вы мне, любезные соотечественники, в незабвенный для меня день 23 февраля 1841 года, когда из храма Господня, собравшись ко мне, все вы, одушевленные святою ревностью к

добру, обратили скромное жилище мое в храм благотворения.

Хотя пожертвования ваши в пользу нищих братии превзошли мои ожидания, но истинно говорю вам, что не важность собранной суммы заставила тогда сладостно трепетать сердце мое, а то душевное стремление, та радостная готовность на пользу ближнего, которые я видел во взорах каждого, слышал из уст каждого и искренность коих выражалась на лицах каждого.

Возлюбленные мои! Эти минуты, которые на небесах праздновались ангелами, были для меня столь блаженными, что они казались мне предвкушением рая.

Где найду слово благодарить вас за оные?.. Душа моя сколь ни полна к вам признательности, но я во весь остаток жизни моей не мог ею насытиться и желаю, чтобы она сими строками была изъявлена вам еще и после моей кончины, с которой она не окончится — утратит чувства один прах, но дух мой и за гробом не перестанет чувствовать и вечно приносить мольбы ко Всевышнему о ниспослании благословения Его на вас и на все благие дела ваши. Я надеюсь, что они не прекратятся, ибо вы доказали, сколь расположены к ним. Я же со своей стороны, желая содействовать вам и после смерти моей, прилагаю здесь билет сохранной казны Опекунского совета в две тысячи рублей, не входящих в состав сделанного уже мною духовного завещания, прося вас присоединить оные к собранной уже сумме для бедных.

Надеюсь, что на заложенном вами основании мало-помалу соорудится желанное здание. Надеюсь, что Бог поможет вам доставить тихий приют и все необходимое сирым беспомощным братьям нашим. Но молю вас, возлюбленные! Призирайте их с осмотрительностью и не допускайте, чтобы у истинно несчастных отнимали долю такие люди, которые почитают себя бедными по излишку прихотей или действительно бедны по нерадению к трудам, для которых имеются силы и способность. Помощь таковым я считаю поощрением слабостей и потому повторяю: не отнимайте для них долю истинно несчастных.

Возлюбленные мои! Живите в мире и любви взаимной и таким образом, шествуя по путям, показанным вам Господом, обогащайтесь делами добрыми и собирайте себе сокровища не только те, которые и ржа переедает, и тать подкапывает и крадет, но паче сокровища нетлеющие, которые никакой тать похитить не может. И где будут сокровища ваши, там будут и сердца ваши».

Воспитанница природы. Поэтесса Мария Александровна Поспелова (1780–1805)

Тяжела была доля русской женщины, покорной рабыни своей семьи. Просвещение, служба, творчество долгое время считались уделом исключительно мужчин. И если у девушки случался яркий талант, он быстро угасал, не оставляя потомкам даже пепла. В девушке ценились фигура, миловидное личико, скромность, но — упаси боже! — не ум.

Случайно среди старых книг, авторами которых были конечно же мужчины, мне попался невзрачный сборничек стихотворений Марии Поспеловой, изданный в 1797 году. Еще не родился Пушкин! Не родилась ни одна из поэтесс, чье бы имя значилось в курсах русской литературы!

Вот как Мария Поспелова изображает человеческую жизнь:

Не зная, человек, покоя,
Средь вихря горестей, сует,
Как нежный, утомясь от зноя,
Цветочек вянет и падет!

От этих сентиментальных строчек веет грустью и усталостью, присущими, как ни странно, стихам юных поэтов. Но вот изображен водопад:

С утесов падает кремнистых
Свирепый с шумом водопад,
Шумит, гремит, как вихрь, крутится,
С порывом бури вниз стремится.
Дожди алмазные горят;
Сребристы волны, как громады,
Одна вослед другой летят!

Подражание Державину. Но это и поиск, уход от детской мелодрамы.

Кто же такая Мария Поспелова? Сумела ли она обрести свой голос в поэзии?..

Долгие поиски наконец увенчались успехом, вернее, полууспехом — удалось узнать самую малость. Автором сборника

оказалась шестнадцатилетняя девушка, девятый ребенок в семье мелкого московского чиновника.

Несмотря на нужду, Маша сначала под руководством отца, а по его смерти старших сестер получила хорошее образование, выучилась французскому языку, музыке, рисованию. Уже с четырнадцати лет она стала печатать свои стихи в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». И с каждым годом что-то новое появлялось в ее поэзии, ее стих окреп. В «Оде на разбитие генерала Массены в Швейцарии Суворовым» девятнадцатилетняя Поспелова показала себя уже не как подражатель, а достойный ученик Державина:

Парят, парят стада орлины!
Бурь выше к солнцу вознеслись
И Альпов грозные вершины
Громами россов потряслись.
Развергся страшный ад, зияет
Отвсюду тысяча смертей;
Но росс не робко течь дерзает
К бессмертью, гибельной стезей
Достиг! Достиг! И славы громы
В концы вселенныя несомы!

После опубликования этой оды о «музе речки Клязьмы», как прозвал Марию Поспелову поэт князь Иван Долгоруков, заговорила вся Москва. А молодая поэтесса продолжала искать простые и ясные слова, искреннюю интонацию, теперь уже чтобы попрощаться с восемнадцатым столетием:

Постой, сын вечности прекрасной,
Полет свой быстрый удержи!
Российской славы образ ясный
Векам грядущим покажи.

Юная Маша облекает в стихи свои задушевные мысли:

Мечты прелестны исчезают,
Как дым, как тень, как легкий сон.

Или

Одна премудрость возвышает

Судьбу народов, царств земных —
Любовь к отечеству блистает
Бессмертной славой дел своих!

По настоянию Державина, Хераскова, Карамзина в начале нового века издаются ее сочинения в стихах и прозе «Некоторые черты природы и истины, или Оттенки мыслей и чувств моих». Читая эту книгу, начинаешь догадываться, что Мария Поспелова неотторжима от дикой девственной природы, которая одарила ее поэтическим воображением. Юная воспитанница природы слышит свое дыхание в шорохе листьев, свой шаг — в дуновении ветра, свой голос — в песне соловья. «О Природа могущественная! — обращается она к своей властительнице. — Во время прелестной весны и цветущего лета душа моя, кажется, расцветает вместе с тобою. Она становится свободнее, оживают способности ее вместе с оживляющимся творением, обновляются чувства мои вместе с обновляющеюся красотою твоею».

Но Поспеловой было отпущено немного лет, врачи не смогли остановить традиционную болезнь городских бедняков — чахотку. И уже не она, а о ней написали на камне:

Любовь и дружество, рыдая в сих местах,
Поспеловой сокрыли прах.
Казалось, фации ее образовали,
Но дни ее пресек неотвратимый рок,
И смерть похитила бессмертия венок,
Который музы обещали.

Многих еще юных сочинителей предстояло потерять русской литературе, прежде чем она достигла зенита и обрела долгую память.

Спешите делать добро. Тюремный доктор Федор Петрович Гааз (1780–1853)

Двадцатитысячная толпа москвичей провожала 19 августа 1853 года к месту последнего упокоения на кладбище Введенских гор главного доктора московских тюремных больниц, действительного статского советника Федора Петровича Гааза. Полицмейстер Цинский, которого генерал-губернатор Закревский отрядил для организации порядка на похоронах, увидев Москву в скорби возле гроба святого доктора, вместе с отрядом своих казаков спешился и до самого кладбища шел в толпе простолюдинов.

Над могилой друга бедных москвичи стояли тихо, речей не произносили. Все вдруг поняли, что никакие слова не в силах передать печаль о кончине человека, которого любили без зависти и страсти, к которому привыкли, как к чему-то столь же необходимому, как хлеб и вода. Лишь позже, за домашними запорами, повторяли его предсмертные слова: «Я не знал, что человек может вынести столько страданий» и судачили: о себе он это сказал, о несчастных арестантах, которым помогал всю жизнь, или о всех нас?.. Выходило, как ни поверни, все правда.

В 1806 году началась в Москве врачебная карьера уроженца старинного немецкого городка Мюнстерейфел Фридриха Гааза точно так же, как у других лекарей-иноземцев, наезжавших в Россию практиковаться под покровительством знатных бар и наживать стотысячные капиталы, оставаясь чуждыми бедам и упованиям русского народа. Но насытившись «благородными» недугами господ, Гааз перешел на дорогу, не сулившую ни почестей, ни богатства, а только вечные заботы да никого не привлекавшую любовь бедняков и отверженных.

Постепенно исчезли у тюремного доктора карета с четырьмя белыми рысаками, запряженными цугом, городской особняк с модной мебелью, подмосковное имение с суконной фабрикой. Даже хоронить его пришлось на полицейский счет, потому как единственной пригодной для продажи вещью в опустевшей квартире доктора в здании Полицейской больницы оказалась недорогая подзорная труба. Федор Петрович был романтиком, любил по ночам любоваться звездами, уверяя себя, что в том далеком мире люди живут по справедливости: вразумляя беспорядочных, утешая малодушных, поддерживая слабых.

А наутро смешной чудак в поношенном черном фраке с длинными узкими фалдами, в стоптанных желтых башмаках, с Владимирским крестом в петлице вновь безбоязненно входил в камеры «опасных» — проклейменных, наказанных плетьми и приговоренных в рудники без сроку — и спрашивал: «Не имеете ли какой-нибудь нужды?»

Невозможно перечислить его разнообразные полезные начинания в «мрачные времена первой половины XIX века», когда многие русские люди, презирая всякую деятельность при существующем строе, привыкали к лени, равнодушию, пренебрежению к Отечеству. Гааз же непрестанно трудился и, благодаря его неутомимой деятельности, арестанты в Москве получили право подавать прошения на пересмотр их дел, перековывались в легкие, обтянутые кожей «гаазовские» кандалы, желающие могли трудиться в мастерских при Городском пересыльном замке и обучаться в школе. В московских тюрьмах была улучшена пища, детей и жен, следующих за своими осужденными кормильцами в Сибирь, стали снабжать деньгами и теплой одеждой, бесплатно раздавались книги. Гааз строил больницы и приюты, выпрашивал пожертвования, бегал по канцеляриям за справками для оправдания невинно осужденных. Арестанты сложили даже поговорку: «У Гааза нет отказа» и со слезами благодарности покидали старушку Москву.

Конечно, не многого мог бы добиться филантроп, будь он одинок, не имей поддержки в лице московских обывателей. Он с благодарностью писал о них: «В российском народе есть перед всеми другими качествами блистательная добродетель милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем он нуждается».

Сменявшие друг друга московские генерал-губернаторы вынуждены были смотреть сквозь пальцы на «беспорядки», чинимые в тюрьмах иноземным лекарем, так как борьба с ним была утомительна и непопулярна. Они и сами не брезговали помощью филантропа, когда Москву посещала холера или какое иное моровое бедствие. Одно появление на улицах города святого доктора могло успокоить безумную толпу и напомнить каждому, что у него есть разум и обязанности перед ближними.

«Такие люди, как Гааз, — по словам В. А. Жуковского, — будут во всех странах и племенах звездами путеводными; при блеске их что б труженик земной ни испытал, душой он не падает и вера в лучшее в нем не погибнет».

Гааза вместе с Суворовым и Кутузовым Ф. М. Достоевский назвал лучшими русскими людьми. В «Былом и думах» А. И. Герцен с надеждой писал, что память об этом преоригинальном

чудаке не заглохнет «в лебеде официальных некрологов». О нем вспоминал А. П. Чехов во время поездки на Сахалин.

Федор Петрович, отправившись однажды в Городской пересыльный замок на Воробьевых горах, увидел на улице под забором умирающую женщину. Он посадил несчастную в свою карету и отвез в тюремную больницу. Затем немедленно отправился к тогдашнему московскому генерал-губернатору князю Щербатову и, рыдая, упал перед ним на колени.

— Что с вами, Федор Петрович? — спросил изумленный князь.

— Ваше сиятельство! Я не встану до тех пор с колен, пока вы не разрешите обратить тюремную больницу в убежище для всех бесприютных больных, не имеющих где преклонить голову, умирающих без врачебной помощи в ночлежных домах, углах и нередко на улице без одежды, обуви, пищи.

Так возникла в 1847 году в Малом Казенном переулке Полицейская больница, прозванная Гаазовской, и это название продолжало жить даже после официального ее переименования в больницу имени императора Александра III.

В 1909 году в середине двора Гаазовской больницы на пожертвования москвичей был сооружен памятник врачевателю тела и духа. На постамент из черного полированного гранита поставлен бронзовый бюст улыбающегося старика с крупными чертами доброго лица. Чуть ниже надпись: «Федор Петрович Гааз. 1780–1853». Еще пониже, в лавровом венке, девиз святого доктора: «Спешите делать добро» (копия бюста в дореволюционные годы стояла и в Бутырской тюремной больнице).

«Все минется! — писал выдающийся русский юрист и общественный деятель А. Ф. Кони. — Миновался и граф Закревский, собиравшийся выслать из Москвы Гааза, миновался и Капцевич, рекомендовавший сократить «утрированного филантропа», почил знаменитый московский иерарх митрополит Филарет, не раз споривший с Гаазом в Тюремном комитете, но признавший для себя нравственно обязательным разрешить православному духовенству служить молебен о выздоровлении Федора Петровича и сам посетивший его перед его кончиной для того, чтобы проститься по-братски; сошли в могилу далекие каторжники, молившиеся у сооруженной ими в память Гааза иконы Федора Тирона, а он… он остался. И отныне он останется не только запечатленный в сердцах всех, кто узнает, кто услышит о том, что такое он был, но и как отлитый в бронзе молчаливый укор малодушным, утешение алчущим и жаждущим правды и пример деятельной любви к людям».

Гааз, истинный христианин, убеждал людей не злословить ближнего, не смеяться над его несчастьями и уродством, не гневаться и никогда не лгать. «Самый верный путь к счастью, — писал он, — не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми».

Как не хватает нам ныне душевного тепла святого доктора!

Доморощенный пророк. Юродивый Иван Яковлевич Корейша (1780-е—1861)

В старину злословили, что в Москве легче всех живется монахам и нищим. Бездельничая, первые получают тысячные пожертвования, вторые — приют и милостыню. Первые со временем дослуживаются до архиереев и объедаются в пост богоугодной пищей — стерляжьей ухой с мадерой. Вторые, познав доверчивый характер москвичей и привыкнув к сытой жизни, становятся юродами и кликушами. Архиереев уважали за сановитость и богатое одеяние, как, впрочем, и всех других начальников. Юродам и кликушам поклонялись.

В богатых домах купеческого Замоскворечья и даже дворянской Пречистенки, в каждом околотке имелись свои собственные шуты и прорицатели. Одни из них ездили в каретах, напудренные и увитые разноцветными лентами, другие круглый год ходили босиком, в разорванном платье. Верили больше тем, кто был в лохмотьях.

За самого башковитого московского прорицателя почитался пациент Преображенской больницы для душевнобольных Иван Яковлевич Корейша. К нему ездили не только румяные жирные купчихи на таких же сытых лошадях, но и сенаторы в звездах на орловских рысаках, отставные генералы с представительными генеральшами, особы духовного звания. В святость его и прозорливость беспрекословно верило почти все московское население.

Иван Яковлевич помещался в огромной комнате, стены которой от пола до самого потолка были сплошь обвешаны иконами и подсвечниками с горевшими круглыми сутками свечами. Сухощавый пророк с широким приплюснутым лицом обычно лежал на полу пузом вверх, прикрывшись грязным, с множеством сальных пятен одеялом, и жевал табак.

Господа и дамы пили грязную воду, которую пророк предварительно размешивал пальцами, целовали его сухонькую ладошку, истово молились, стоя на коленях и прикладываясь лбом к загаженному полу, — лишь бы предсказывал без подвохов и обману.

И вот засаленный, сморщенный прорицатель вставал на корточки и, разлепив опухшие веки, поднимал оловянно-мутные

глаза на посетителя (чаще — посетительницу).

— Выйдет ли девица Анна замуж? — следовал благочестивый вопрос, за который уже было уплачено двадцать копеек серебром дьякону, дежурившему возле дверей.

— Это хитрая штука, — отвечал Корейша и принимался натужно дуть по сторонам, потом скакать от стенки к стенке и ошалело визжать. Под конец, плюнув в вопрошательницу, московский сфинкс укладывался на свое ложе и складывал руки на груди, давая этим понять, что он ушел в мир иной, а значит, сеанс предвидения окончен.

Просительница смиренно вытирала платочком плевок, оставляла возле оракула баночку меду и, трепетная, удалялась. Теперь ей разговоров хватит надолго, покуда совместно с родственниками и соседями не разгадает тайну знамений Ивана Яковлевича.

Слава о московском пророке была столь велика, что император Николай I самолично посетил его, путешествуя по своим обширным владениям. Правда, осталось в тайне: плевал Иван Яковлевич в царствующую особу или вел себя посдержаннее — беседа двух знаменитостей происходила с глазу на глаз. Известно только, что Николай Павлович вышел от Ивана Яковлевича пасмурный и взволнованный.

«Теперь и мне положено», — решил граф Закревский, прознав про царский визит, и поспешил представиться московскому оракулу. Но генерал-губернатор не обладал осторожностью своего державного повелителя и вошел к Корейше, блестя начищенными орденами и величавым взглядом, в сопровождении многочисленного больничного начальства и изрядной толпы благотворительных особ.

Доморощенный пророк неспешно поднялся со своего ложа, повернулся к начальнику Москвы задом и, степенно прохаживаясь перед строем ввалившихся в его обитель господ и дам, повел речь в *высоком штиле:*

— Глуп я, други вы мои милые, совсем глуп! Залез на верхушку да и думаю, что выше меня уж и нет никого. Дочь я себе вырастил на позор, одна она у меня, и, кроме стыда, нет мне от нее ничего. Шляется, как потаскушка, а я, дурак, и унять ее не могу. Где уж мне, дураку, другими править, коль и сам с собой управиться не умел: навешаю себе на грудь всяких цацек да хожу, распустив хвост, как петух индийский. Только тогда, видно, опомнюсь, как кверх ногами полечу.

Оконфузившийся граф старался делать вид, что не понимает намеков своего двойника, но все же не удержался и заспешил прочь. У самого порога он сумел пересилить себя, задержался на

миг и, окинув *больного* презрительным взглядом, хладнокровно спросил:

— Чем хвораете?

Корейша все с тем же важным генерал-губернаторским видом приблизился к генерал-губернатору, важно оглядел его, заложив большой палец правой руки за обшлаг грязного халата, и торжественно сообщил:

— Пыжусь все, надуваюсь, лопнуть собираюсь.

Граф выскочил из комнаты пророка вне себя от злобы и жажды мести. Но, как говорит народ, с дурака взятки гладки, а потому пришлось убираться восвояси несолоно хлебавши. И уже скакали во все концы Москвы вести о забавном происшествии.

Свыше сорока лет пробыл в сумасшедшем доме Корейша и за все это время ни разу не ходил в церковь, не исповедовался и не соблюдал постов, но оставался непререкаемым авторитетом у богомольной московской публики.

Даже после смерти Ивана Яковлевича в больницу еще долго продолжали поступать пожертвования на его имя, благодаря которым врачебный персонал смог наладить довольно сносное лечение своих подопечных.

Бессмертие же обрел знаменитый московский пророк в романе Достоевского «Бесы» (под именем Семена Яковлевича), рассказе Лескова «Маленькая ошибка» и житии, составленном после его смерти. Чтобы не быть обвиненным в односторонности, приведем предание о земной жизни этого подвижника благочестия.

«Иван Яковлевич Корейша родился в Смоленске в семье священника и уже с детских лет отличался глубокой религиозностью и любил уединение. По окончании семинарии и духовной академии его назначили преподавателем духовного училища в родном городе. Вскоре, несмотря на то, что его любили ученики, Иван Яковлевич бросил педагогическую деятельность и отправился путешествовать по святым местам. Побывав в Киеве и Соловках, он остался в Ниловой пустыни, где три года провел послушником, после чего вернулся в Смоленск и вновь был назначен учителем. Проработал он опять недолго и, желая одиночества, поселился на окраине города в брошенной бане. Постепенно к нему все чаще стали приходить люди, кто за советом, а кто из простого любопытства. Желая избежать посещений, Корейша вывесил на дверях объявление, что, кто хочет его видеть, должен вползти в баню на четвереньках. Но нашлось немало людей, которые были согласны исполнить это повеление. Многие из горожан ни одного серьезного дела не принимали, не посоветовавшись с Иваном Яковлевичем.

С каждым днем возраставшая популярность Корейши послужила причиной признать его сумасшедшим, а повод был найден, когда Иван Яковлевич запретил дочери бедных родителей выходить замуж за богатого вельможу. Оскорбленный жених, имея влиятельных знакомых, добился, чтобы Корейшу поместили в Московскую Преображенскую больницу. Его увезли ночью, положив, связанного веревками, на дно телеги и покрыв рогожами. Привезенный 17 октября 1817 года в больницу, он был посажен на цепь, прикованную к стене сырого подвала, где и провел три года.

Когда новый главный доктор больницы господин Саблер осматривал здание, он захотел узнать, что находится за дверью, ведущей в подвал. Смущенные провожатые открыли ее, и психиатр Саблер увидел лежащего на земле получеловека-полускелета. Он приказал тотчас перенести пациента в чистую комнату и переодеть в чистое белье. Вскоре разрешили пускать к Корейше посетителей. Наслышанные о новом юродивом, москвичи хлынули в больницу.

Занявши просторную комнату, Иван Яковлевич нисколько не думал об устройстве себе покоя и благополучия. Он выбрал уголок возле печки и не переступил невидимой черты, отделявшей его от всей мебели, включая и кровать. За четыре десятка лет, что пробыл в этом углу, Корейша никогда не садился — или лежал, или, чаще, ходил. Он постоянно занимался толчением камней, бутылок и прочих предметов, обращая их с помощью булыжника в порошок. Некоторых посетителей он приглашал разделить с ним эту работу, и они охотно подчинялись. Трудясь, Корейша иногда напевал: «Хвала Небесному Владыке потщися дух мой воспеть; я буду петь о Нем всечасно, пока живу, могу дышать».

Все слова, с которыми Иван Яковлевич обращался к посетителям, сбрасывая с себя иногда маску юродства и говоря сознательным языком, носили обыкновенно религиозный характер. Под впечатлением посещений его многие раздавали свои богатства и уходили в монастыри. Так было и с богатым московским фабрикантом, а потом иеромонахом Леонтием, Покровской обители, что на Убогих домах, который стал духовником Ивана Яковлевича.

Корейша не ценил ни денег, ни других приношений. «У нас, — говорил он, — одежонка пошита и хоромина покрыта, находи нуждающихся и помогай им!»

Уже умирающий, на вопрос женщины, которая принесла с собой много хлеба и не знала, кому передать, он ответил: «Боже, благослови для нищих и убогих, неимущим старцам в

богадельне».

Ровно за год до объявления Крымской войны прозорливый Корейша заставлял всех без исключения посетителей щипать корпию и приготовлять сухари. Он примирял враждующих, обличал гордых и злопамятных, успешно отваживал от спиртного пьяниц.

6 сентября 1861 года утром Иван Яковлевич попросил священника, чтобы приготовил его к переходу в загробную жизнь. После приобщения Святых Тайн изнемогающий страдалец был немедленно особорован святым елеем, и в начале третьего часа дня священник прочел над ним отходные молитвы. Последние слова великого старца были: «Спаситеся, спаситеся, спасена буди вся земля!»

Прах его был предан земле возле церкви в селе Черкизове. По словам Н. Скавронского: «В продолжение пяти дней его стояния отслужено более двухсот панихид; псалтырь читали монашенки, и от усердия некоторые дамы покойника беспрестанно обкладывали ватой и брали ее назад с чувством благоговения; вату эту даже продавали; овес играл такую же роль; цветы, которыми убран гроб, расхватаны в миг, некоторые изуверы, по уверениям многих, отгрызали даже щепки от гроба».

И так продолжается до нынешнего времени, одни посмеиваются над Корейшей, другие ухаживают за его могилкой и почитают за Христа ради юродивого.

Жизнь, похожая на длинный ноктюрн. Композитор, пианист и педагог Джон Фильд (Филд) (1782–1837)

В начале XIX века в Москве среди инструментальных ансамблей преобладали старинные народные музыкальные инструменты — гусли, гудки, сопелки, рожки, домры, барабаны, бубны, торбаны. Народная музыкальная культура существовала самостоятельно, не поддаваясь ни влиянию Запада, ни обычаям многое перенявшего у него русского дворянства. Живы были традиции, заложенные в народное музицирование много веков назад.

Европейская музыкальная культура стала проникать в Москву лишь в XVIII веке через крепостные театры и редких гастролеров.

В начале XIX века особенно славился по городу оркестр богатого московского домовладельца П. И. Юшкова. В 1820-х годах Первопрестольную время от времени стали навещать известные музыкальные виртуозы (скрипач К. Липинский, виолончелист Б. Ромберг). В каждой дворянской семье теперь считали обязательным учить детей музицировать на клавикордах (фортепьяно). Европейская музыка входила в моду, в городе открылось более десятка нотных лавок, из заграницы было выписано несколько тысяч учителей музыки. Большинство из них были весьма посредственными музыкантами.

И вот в Москву, по существу музыкальную провинцию, в 1821 году переселяется на постоянное жительство… великий Джон Фильд!

Джон Браун Фильд родился 26 июля 1782 года в Дублине, в семье потомственных музыкантов (его отец — скрипач, дед — органист). Учился игре на фортепьяно в Дублине у композитора, клавесиниста и певца Т. Джордани и позже в Лондоне у композитора и пианиста Муцио Клементи. Впервые публично виртуоз выступил в десятилетнем возрасте. Получил известность в музыкальных кругах после исполнения в 1799 году собственного фортепьянного концерта. Много гастролировал по Европе.

Фильд — общепризнанный создатель нового жанра фортепьянной музыки, ноктюрна. Популярными были также его сонаты и фортепьянные концерты. Кроме того, его считали блестящим виртуозом фортепьяно. Ф. Лист и Р. Шуман называли

Фильда одним из первых представителей романтизма в музыкальном исполнительстве. М. И. Глинка писал, что пальцы Фильда как бы сами падали на клавиши, «подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

«Трудно объяснить, что такое игра Фильда, — признавался в 1834 году один из его учеников. — Надобно слышать его, чтобы убедиться в том, что никакой фортепьянист не может приблизиться к чистоте, нежности, удивительной выразительности его игры. Никто другой не в состоянии сделать, подобно ему, даже простой гаммы в две или три октавы, в которой он усиливает и ослабляет звуки с постепенностью, ровностью непостижимой. Малейшая безделка становится величайшей трудностью для того, кто хочет выполнить ее так, как делает Фильд. У него какой-то дивный способ прикосновения к клавишам. Под его перстами инструмент перестает быть безжизненным. Это уже не фортепьяно, жалкое по короткости своих звуков. Кажется, будто слышишь пение со всеми его оттенками».

«Как музыкант, он был неподражаем, — вспоминал другой ученик Фильда, известный пианист А. Дюбюк. — Я много слыхал хороших пианистов на своем веку, но такой продуманной, прочувствованной, с таким воздушным, кружевным изяществом обработки не встречал». «Никто после него не мог воссоздать прелести этого ласкающего шепота, подобного нежному томному взору, — писал в предисловии к изданию первых шести ноктюрнов Фильда великий венгерский композитор и пианист Ференц Лист. — Он убаюкивает нас, как тихое колебание ладьи или качание койки, столь тихо медлительное, что, кажется, слышишь, как замирает около корабля рокот волн. Никто не мог уловить его эоловых звуков, этих воздушных полувздохов, которые тихо ропщут и стонут, полные неги.

Никто не мог, особенно те, которым удавалось слышать самого Фильда, когда он играл или, лучше сказать, импровизировал, увлекаясь вдохновением, никто не мог, повторяю я, не увлечься его игрой. Каждую минуту новые звуки роскошно разливались в его мелодиях, каждый раз они были поразительно разнообразны и, между тем, под этими новыми украшениями не исчезала первобытная прелесть звука и восхитительность переходов».

Так почему же Джон Фильд оказался не в Вене, Риме или Париже, признанных центрах музыкальной культуры, а в Москве?..

Человек существует не только ради своей любимой профессии, но и чтобы жить, наслаждаясь, по возможности,

земным бытием. Фильд выбрал своим местожительством Москву за ее бесхитростный быт, за отсутствие чиновничьего церемониала и, в конце концов, за покой, за патриархальную лень!..

Фильд считал пыткой ежедневное присутствие в обществе, где надлежало быть пристойно одетым: в короткие панталоны, тесные сапоги, крахмальную манишку и узкий фрак. В Москве же принимали за милое чудачество и прощали ему надетые наизнанку чулки, криво застегнутый жилет и сбившийся набок галстук.

Учителя музыки, по обыкновению, держали себя перед своими богатыми и знатными воспитанниками, как слуги перед господами. Фильду явно было наплевать на знатность и богатство, и Москва смотрела на эту вольность сквозь пальцы. К тому же Фильд любил, чтобы хозяин ставил перед уроком возле фортепьяно бутылку шампанского. Во время занятия учитель непрестанно отхлебывал из нее, считая каждый глоток вознаграждением за свой труд по обучению «тугоухих» и немузыкальных барышень. Он не любил заниматься *педагогикой* — объяснять музыку. Просто заставлял ученика разучивать ту или иную музыкальную пьесу, а потом сам проигрывал ее ему, показывая на примере, как надобно ее понимать. Способный ученик сразу видел свои недостатки, а дурака все равно не научить.

Фильд считался в Москве самым высокооплачиваемым учителем (бедных он соглашался учить бесплатно, если у них были способности к музыке). Но никогда не раболепствовал перед теми, кто ему платит. Если знатные дамы привозили своих дочерей музицировать к нему на дом, он неизменно принимал их в шлафроке и трубкой во рту. От него можно было ожидать любого экспромта, резко отличного от *общепринятых правил этикета.* Однажды он сидел возле фортепьяно, по которому стучала его ученица. Наконец ему наскучило слушать, как она фальшивит. Он вскочил со стула, схватил девицу за обе руки, вытащил ее на середину комнаты и принялся с ней танцевать.

— Что вы делаете, господин Фильд?! — изумилась встревоженная мать.

— Вам непременно хочется, сударыня, чтобы я учил вашу дочь? Так уж лучше я стану учить ее танцевать, чем музыке.

В Москве Фильд зарабатывал и проживал до двадцати тысяч рублей ежегодно. Огромные, по тем временам, деньги! Как ему это удавалось?..

Закончив неизменно к четырем часам дня все занятия, Фильд со своими любимцами — четырьмя большими собаками,

носившими «классические» имена, вроде Сократа и Геродота, садился в карету и ехал в ресторан. Вернее, он, большой любитель пеших прогулок, шел рядом с медленно движущейся каретой. По дороге к нему пристраивались знакомые, любившие поесть и выпить за его счет. Всех их — и первого скрипача Большого театра Грасси, и виолончелистов Фензи и Марку, и многих других, — добродушный и беспечный Фильд угощал в московских ресторанах.

А по воскресеньям домой к Фильду по обыкновению приходили за подаянием бедняки-иностранцы. Каждый из них получал из рук хозяина по пяти рублей. Отказать Фильд не мог даже тем, кто беззастенчиво его обкрадывал. Однажды он дал в долг просителю пятьсот рублей.

— Но вы больше никогда не увидите своих денег! — изумились друзья.

— Тем лучше. Значит, я никогда больше не увижу этого просителя.

Несмотря на свое мягкосердечие, Фильд нередко проявлял характер. После концерта у одного из московских бар гости занялись картами и сплетнями. Фильд заметил хозяину, что его лакеи, разносившие прохладительные напитки, постоянно обходят стороной комнату, где разместились музыканты.

— Да это же артисты, а не гости, — услышал он презрительный ответ.

Когда в конце вечера хозяин раскланивался с Фильдом, тот при всех гостях отдал его лакею «на чай» весь свой гонорар (сто рублей), продемонстрировав этим свое презрение к спесивому богачу.

В квартире Фильда все было просто, безыскусно, кроме превосходного музыкального инструмента. Больше всего хозяин любил по вечерам валяться в халате на диване, читать Шекспира и потягивать шампанское (томик Шекспира нашли и на его смертном одре). Особенно он любил московскую зиму. В печке потрескивали дрова, жизнь за окном замирала, наступало безмятежное спокойствие. В старости он несказанно полюбил тишину, даже говорить стал тихо и протяжно.

Музыкой Фильда восхищались в Лионе, Женеве, Милане, в десятках других музыкальных столицах Европы, а он, рассеянный и беззаботный, с взъерошенными седыми волосами, ниспадающими в страшном беспорядке к плечам, предпочитал мировой славе московский покой и независимость.

Однажды граф В. Орлов пообещал выхлопотать Фильду титул придворного музыканта.

— Двор не создан для меня, — отказался тот, — и я не умею

за ним ухаживать.

Жизнь Фильда протекала, по словам Ф. Листа, «посреди какой-то мечтательной неги, исполненной полумрака и полусвета — подобно длинному ноктюрну. Ни одна грозная молния, ни один порыв ветра, ни один ураган не потревожили спокойствия этой природы».

Москва оказалась самым благословенным уголком на земле для такой жизни.

Расчетливый безумец. Дуэлянт граф Федор Иванович Толстой (1782–1846)

Один человек счастлив в тиши своего кабинета, перелистывая пергаментные манускрипты и наслаждаясь видениями стародавнего мира. Другой нашел смысл жизни в путешествиях по далеким краям в поисках необычных бабочек, букашек, травинок. Третий впрягся в титанический крестьянский труд, подчинив свою судьбу заботам о все прибавляющемся потомстве. Нередко встречаются на бренной земле и глупцы, меряющие счастье золотыми монетами, любовь — количеством покоренных сердец, ум — титулами и чинами. Судьба каждого человека, прослеженная от рождения до кончины, весьма поучительна для новых поколений. Увы, любопытных обывателей мало привлекают назидательные истории, им подавай необычные перипетии судеб, экстравагантные характеры, сумасбродные поступки.

Имя графа Федора Толстого, по прозвищу Американец, долго не сходило с языка москвичей. Факты дополнялись слухами и сплетнями и, разрастаясь, становились народными легендами. Он объявлялся чуть ли не карбонарием, сосланным в свое время императором на каторгу в Сибирь и совершившим оттуда дерзкий побег, обошедшийся преследователям чуть ли не в тысячу трупов. Шептались, что за карточным столом граф Толстой обчистил многомиллионные карманы не то светлейшего Платоши Зубова, не то прижимистых князей Юсуповых. Уверяли, что он был обвенчан с обезьяной, которую впоследствии съел. Но постараемся не замечать заманчивого вымысла в надежде, что достоверная хроника жизни нашего персонажа окажется не менее легендарной, чем легенды о ней.

Портрет. Буйство, удаль, риск, дерзость, решительность, тщеславие родились в жаркой крови Федора Толстого, которая всякий раз леденела в его холодном и решительном сердце, не допуская нерасчетливых безумств.

Он был среднего роста, круглолиц, в молодые годы — с черными вьющимися волосами. Превосходно стрелял из пистолета, мастерски фехтовал и пользовался неизменным успехом у дам. Кому удавалось заглянуть ему в глаза, когда он сердился, со страхом передавали, что видели там дьявола.

Лев Толстой встречался со своим родственником Федором Толстым, когда тот уже был стариком: «Помню его прекрасное

лицо: бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось бы рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека».

Кругосветное плавание. Чтобы избежать разжалования в солдаты за убийство на дуэли соперника, 6 августа 1803 года в качестве *молодой благовоспитанной особы* Федор Толстой отправился в кругосветное плавание с экспедицией Ивана Крузенштерна. От скуки в пути он развращал команду картами и вином, упражнялся в выдумывании все новых и новых проказ. Так, он мертвецки напоил вином старого корабельного священника, а потом, залив его бороду сургучом, припечатал ее казенной печатью, украденной у капитана, к палубе. Он обучил орангутанга марать бумагу, после чего пустил его потихонечку в капитанскую каюту, где обезьяна уничтожила многомесячный труд Крузенштерна — его записи. В конце концов капитан не смог больше терпеть *шалости благовоспитанной особы* и высадил ее на один из островов близ Аляски.

От берегов Америки на корабле, а потом через всю Сибирь на лодке, лошадях, а кое-где, за неимением денег, и пешком Федор Толстой наконец добрался до Петербурга и получил за свое путешествие прозвище Американец.

Храбрость. Она была похожа на безумство, но не была безумством. Холодный расчет и решительность были спутниками Толстого и когда он поднимался с Гарнером на воздушном шаре, и когда кровожадные дикари спорили: расправиться с чужестранцем или избрать его своим царем. Зная характер своего адъютанта графа Толстого, князь Михаил Долгорукий во время шведской войны 1808 года сберегал его для отчаянных предприятий. А при Бородине за *безумную отвагу* Американец, тяжело раненный в ногу, заслужил «Георгия» четвертой степени.

Приятели. Он был в дружеских отношениях с большинством литераторов своего поколения: Вяземским, Жуковским, Батюшковым, Денисом Давыдовым, Василием Пушкиным. Многие знакомые, зная расчетливость и обязательность Американца, поручали ему ведение своих запутанных денежных дел. Александр Сергеевич Пушкин поручил ему свое сватовство к Наталье Гончаровой. Правда, случилось это три года спустя, как друзья с неимоверным трудом примирили их, жаждавших пролить кровь друг друга.

Карты. На рукописи грибоедовского «Горя от ума», принадлежавшей декабристу князю Федору Шаховскому, остались собственноручные пометы графа Федора Толстого. Американца среди жителей грибоедовской Москвы интересовал прежде всего

он сам:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся Алеутом.
И крепко на руку не чист,
Да, умный человек не может быть не плутом.
Когда же он о честности великой говорит,
Каким-то демоном внушаем,
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.

Против слов «И крепко на руку не чист» Толстой написал: «В картишки на руку не чист», разъясняя тут же: «Для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола; по крайней мере, думал отгадать намерение автора».

Как видим, Американец не только не стеснялся своего мошенничества, а даже бахвалился им. Лев Толстой рассказывал сыну об одном из многочисленных эпизодов шулерства их буйного родственника:

«— Граф, вы передергиваете, — сказал ему кто-то, играя с ним в карты, — я с вами больше не играю.

— Да, я передергиваю, — сказал Федор Иванович, — но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я размозжу вам голову этим шандалом.

И его партнер продолжал играть и… проигрывать».

Карты, как и многие иные французские выдумки, прочно вошли в быт дворянского общества России. Удачливый, пусть даже и жуликоватый, игрок всюду имел успех наравне с господами, увешанными орденами и бриллиантами. А потому расчетливый Американец был вхож и в привилегированный Английский клуб, и в лучшие дома города.

Дуэли. Прославился в первую очередь наш персонаж даже не как ловкий шулер, а метко стрелявший в сердце и пах убийца, что на языке того времени называлось удачливый дуэлянт. Когда же дряхлеющая рука и замутненный вином глаз стали сдавать, страсть решать споры и отвечать на оскорбления пулей у потускневшего Американца утихла. После одного из кутежей он увез к себе в дом в Староконюшенный переулок цыганку и, женившись на ней, полюбил проводить долгие часы в молитвах, стал дорожить друзьями и мучиться, мучиться скукой. Имена убитых им на дуэлях одиннадцати дворян он суеверно записал в свой синодик и вычеркивал по одному, ставя сбоку слово «квит», всякий раз, как умирал его очередной ребенок. Когда умер

одиннадцатый — главное утешение его жизни, прелестная семнадцатилетняя дочь Сарра, ставшая уже довольно известной поэтессой, — он вычеркнул последнее имя убитого и захлопнул синодик с грустным выдохом: «Квиты». Последний, двенадцатый ребенок — «курчавый цыганенок Параша» — остался жить. Со временем Параша вышла замуж за московского гражданского губернатора Василия Перфилова.

Конец. Успокоился навсегда Американец на Ваганьковском кладбище на шестьдесят пятом году жизни. Последнее время он подолгу сидел над своими воспоминаниями, стараясь хоть этим непривычным занятием разнообразить свою старость. Но потомки не прочитали его записок — то ли их с другим хламом вымели за порог, то ли они и по сей день пылятся где-то на архивной полке. Прочтем ли мы их когда-нибудь? Узнаем ли, покаялся он в совершенных преступлениях или посчитал их за доблесть? Любил ли он друзей, Родину? На все эти вопросы пока нет ответа. Но привлекательные и отталкивающие черты характера полковника в отставке графа Федора Ивановича Толстого навечно запечатлены в лучших произведениях русской литературы. Он послужил прообразом Турбина-отца («Два гусара») и Долохова («Война и мир»), Зарецкого («Евгений Онегин»), главных героев тургеневских рассказов «Бретер» и «Три портрета». О нем осталась память в стихах и записках многих его современников. Петр Вяземский писал:

Американец и цыган,
На свете нравственном загадка.
Которого как лихорадка
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай,
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист,
Под бурей рока — твердый камень,
В волненье страсти — легкий лист.

Таков был, вернее, таким казался современникам Федор Толстой.

На историческом ристалище. Историк Петр Васильевич Хавский (1783–1876)

Если средневековые рыцари скрещивали копья на ристалищах в угоду милым дамам, то историки, одержимые своей наукой, наносят друг другу удары ради правильного понимания прошлого. Одна из схваток в среде русских ученых середины XIX века разгорелась из-за разности взглядов на то, как вели в древности на Руси летоисчисление, какой месяц считался первым, как переводить на современный лад ту или иную летописную дату.

Более других оставил исследований о русской хронологии, дворянской генеалогии и прочих вспомогательных исторических дисциплинах Петр Васильевич Хавский. За «Хронологические таблицы в трех книгах» (1848 г.) ему присудили Демидовскую премию. Издал он за свою более чем восьмидесятилетнюю государственную службу множество сочинений и среди них «О наследстве завещательном, родственном и выморочном» (1817 г.), «Указатель источников и географии Москвы с древним уездом» (1839 г.), «Об исторических актах по московским архивам» (1840 г.), «Ученый трактат от чего Пасха Христова…» (1850 г.), «Лекции при обучении в Правительствующем Сенате чиновников, приготовляемых в аудиторы» (1855 г.), «Месяцесловы, календари и святцы русские» (1856 г.), «Предки и потомство рода Романовых» (1865 г.) и т. д.

Но ученые, бросаясь в бой, не смущаются множеством регалий и книг у коллеги-противника. Археограф П. М. Строев, отстаивая сентябрьский год как самый древний, обзывал Хавского «московским шарлатаном», Н. Г. Устрялов смеялся: «Темно, как у Хавского», третий петербургский историк А. А. Куник обвинял своего московского коллегу во всех смертных грехах. С Хавским спорили, его ругали, но с ним и считались. Да и сам Петр Васильевич мог постоять за себя, вернее, за науку. «Год мартовский я ставлю в голову, то есть прежде годов сентябрьского и январского, — пишет он издателю «Полного собрания русских летописей» Я. И. Бередникову, — а противники наши с вами, наоборот, голову ставят на хвост… Неужели дадим пищу противникам нашим оспаривать правое дело?»

«Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских», другие академические и популярные журналы

вступают в жаркие ученые споры, историки разят друг друга фактами и насмешкой, но не ради личной выгоды — ради исторической истины.

«Господа Устрялов и Куник, — возвышает свой голос Хавский, — такие ценители хронологии и генеалогии, которым ни то ни другое неизвестно и я заблаговременно приуготовил себя выслушать хулу на мой труд. Но это меня не остановит — не первая волку зима».

Победителем научных баталий первой половины XIX века стала русская история, обогатившаяся множеством разнообразных исследований. Фактологическая точность и обилие источников способствовали появлению во второй половине XIX и начале XX века блестящих трудов С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова и др. Их достижения стали возможны благодаря упорному труду предшественников, таких, как П. В. Хавский. Сам Н. М. Карамзин пользовался его глубокими познаниями дворянских родословных, граф М. М. Сперанский привлек Петра Васильевича к составлению «Собрания российских законов», Н. В. Гоголь восхищался его трудами.

Хавский гордился лестными отзывами о своей работе и огорчался нелицеприятными, но ни те ни другие не отвлекали его от каждодневного исследовательского дела. «До десяти стоп извел бумаги, — вздыхает он 22 октября 1853 года, — и ныне непрестанно клею и пишу», И так продолжалось с десятилетнего возраста, когда он в 1793 году поступил копиистом в Егорьевский суд, до 1876 года, когда на девяносто третьем году жизни Петр Васильевич ушел с государственной службы и из жизни.

Несмотря на свой архивный сухой труд, даже в преклонном возрасте Хавский оставался по жизни восторженным юнцом, романтиком. Ему уже перевалило за шестьдесят один год, когда он, вдовец, помог переправиться через грязь одной из московских улиц незнакомой барышне, влюбился в нее с первого взгляда и вскоре назвал законной супругой.

На Святой неделе 1870 года Петр Васильевич, любитель церковной старины и, между прочим, староста храма Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке с тридцатилетним стажем, посетил в Донском монастыре бывшего секретаря митрополита Платона (Левшина) архиепископа Евгения. Старики поговорили о прежних временах, сравнили их с нынешними — конечно, не в пользу последних — и вдруг Хавский предложил:

— Ваше Высокопреосвященство! Пропоем Пасху?!

И два старца громко, с воодушевлением запели священный канон:

— Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня

Пасха. От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе победную поющая… Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется… Святися, святися новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебя воссия…

Оба старца ожили, помолодели и снова с наслаждением окунулись в беседу о временах Екатерины и Павла, ведь годы царствования Александра I, Николая I, Александра II были для них днем сегодняшним, а хотелось вспоминать свою далекую юность.

Дедушка Андрей. Городской голова, купец Андрей Петрович Шестов (1783–1847)

По описанию 1781 года «Москва есть средоточие всей российской торговли и всеобщее хранилище, в которое наибольшая часть всех входящих в Россию товаров стекается, и из онаго как во внутренние части государства, так и за границы отпускается». Уразумев эту нехитрую истину, Андрей Петрович Шестов и его родные братья Викул и Петр еще до войны 1812 года обосновались в Москве и основали общее дело по торговле чаем. Фирма богатела, Андрей Петрович зажил на широкую ногу, приобрел дом в приходе церкви Николы в Толмачах и дачу в Сокольниках. В жизни он держался раз и навсегда установленного порядка: ходил к ранней обедне в приходской храм и после трех стаканов чая приступал к работе. «Широкий размах дела и нерасположение к мелочам были его прямой потребностью — характеризовал А. С. Шестова купец А. С. Ушаков. — Ему не жилось иначе. Но вместе с тем его нередко рискованные предприятия не были следствием удовлетворения личного расположения к роскоши, к открытой жизни, к излишествам. Напротив, он был нетребователен и крайне умерен, даже скуп».

Ворочая нешуточными капиталами, сметливый купец Шестов не оставался равнодушным и к общегородским делам. В 1822–1826 годах он состоял гласным Московской думы, а в 1834 году был назначен попечителем Коммерческого училища. Но восхищение и любовь москвичей он приобрел уже на закате жизни, когда в 1843 году был избран городским головой.

Надо заметить, что до 1862 года, когда ввели новое «Положение городского устройства Москвы», Московская дума представляла из себя жалкое зрелище. Открыта она была 15 января 1786 года и, не успев приступить к делам, тотчас попала в тяжелый финансовый кризис. Итог первого года работы городского самоуправления оказался плачевным: «Требование Шестигласной Думы[6] приемлются без надлежащего уважения, а по недавнему учреждению едва только и считается ли Городская Дума в числе прочих в Москве присутственных мест».

Вся работа Думы зависела от деятельности городского головы. На эту должность почти всегда выбирали всеми уважаемого человека из числа купцов первой гильдии. Понимали, что, как гласит пословица, каков поп — таков и приход. Особенно

наглядно это стало заметно, когда городское хозяйство возглавил А. П. Шестов. За время его службы мещанское и ремесленное сословия впервые получили самостоятельность и независимость. Шестов приобрел громадное уважение среди городской бедноты тем, что не отмахивался, как его предшественники, от их нужд. К нему часто обращались за разрешением споров. Одного его слова часто было довольно, чтобы прекратить тяжбу. Став городским головой, Шестов взял под свою защиту все тягловое городское общество: «Ни один московский купец и мещанин, взятый в полицию, не может быть окончательно обвинен или оправдан без приговора общества и его головы». Именно на борьбу с самоуправством полиции уходили основные силы и отвага Шестова. Боролся он и с казнокрадством в городском хозяйстве, в чем заручился поддержкой генерал-губернатора князя Д. В. Голицына, благоволившего к «дедушке Андрею», как звали своего городского голову московские обыватели.

Тридцатитысячное Московское мещанское общество поднесло 18 декабря 1845 года А. П. Шестову благодарственный адрес, где перечислялись его заслуги: «Он с первого дня вступления в должность градского головы начал употреблять все зависящие от него средства не для удовлетворения мелкого честолюбия, но на пользу собратий, и в особенности обратил все свое отеческое попечение к многочисленному и стесненному в промыслах мещанскому сословию. Не оставляя весьма обширных и многотрудных занятий по должности, он во всякое время был готов предупреждать всякие полезные желания не только целого Мещанского общества, но и, в частности, каждого лица, к сему сословию принадлежащего. И кроме предметов, служащих к облегчению всего сословия, по коим употреблял свое ходатайство перед правительством, он всегда с христианским участием принимал все способы к обеспечению участи вдов и сирот и наставлениями религиозной нравственности изгонял возникающие в семействах распри и всякого рода междоусобные неудовольствия… Полная доверенность к мудрости и благости Отца Небесного, чувство добра в сердце и отчет совести за каждый день и каждую мысль были, во всяком случае, отличительные черты его. Он не имел врагов, потому что, боясь Бога, боялся и закона Божия, повелевающего любить врагов. Все это, взятое в совокупности, составляло источник тех благ и того счастья, которые видимо изливались на мещанское сословие, чему единственным виновником был представитель и заступник их Андрей Петрович Шестов. При таком положении дела, можно сказать, небывалого в летописях городских обществ, искренняя благодарность всех и каждого была бы самой ничтожной данью и

даже едва ли уместна…»

До последних дней жизни городской голова дорожил этой грамотой небогатого трудового населения Москвы больше, чем какой-либо иной наградой, и она всегда висела у него над кроватью. Когда Шестова хоронили на кладбище Данилова монастыря, многие, пришедшие проводить его в последний путь, признавались самим себе: «Кабы каждый из нас жил, как дедушка Андрей, дело шло бы поспорей».

Письма девушки-монастырки. Фрейлина Мария Аполлоновна Волкова (1786–1859)

В начале 1812 года дворянская Москва, как обычно, танцевала на балах, играла в карты, отдавала визиты, ездила на пикники, летала на тройках в Яр, восторгалась цыганами и заезжими шарлатанами, злословила о гордецах и раболепствовала перед богатством. Выпускница Смольного института Мария Волкова с ужасом пишет подруге о прошедшем дне: «Не было ни ужина, ни танцев, словом — ничего».

А ведь в Белокаменной — ах! — совсем недавно появилась мазурка, с пристукиванием шпорами, где кавалер становился на колено, обводил вокруг себя даму и чинно целовал ей руку. Но степенства московским танцорам хватало ненадолго, отдав дань жеманной моде, они по старинке начинали скакать в кадрили и заканчивали бал обычно беготней попарно по всем комнатам дома, не исключая девичьей и спальни.

Вечное отдохновение от трудов царило в дворянских особняках Москвы.

Чистая публика свято чтила свои аристократические привилегии: просыпаться в полдень, не служить или служить исключительно ради карьеры, презирать народ. О чем они говорили, потомки Ломоносова и Суворова, собравшись вместе?.. Об Отчизне? Деятельном труде? Крепостном рабстве миллионов соотечественников? Нет, все больше о подарках и наградах, раздаваемых императором ко дню своего тезоименитства, о парижских модах, английских товарах, русских женихах и невестах. Мария Волкова сообщает подруге важные новости: как обедала у Валуева в Царицыне, ужинала у Разумовских в Петровском, играла в бостон с любезными партнерами.

Если кавалер умел изъясняться по-французски, и притом не иначе как со скепсисом и равнодушием к Отечеству, он мог надеяться на популярность в дамском обществе. Но на все салоны *презрительных* иностранцев, повидавших парки и фонтаны цивилизованной Европы, не хватало, поэтому иногда приходилось утешаться романтичными военными в пудре и генеральских эполетах. Мария Волкова спешит уведомить подругу о назначении нового губернатора: «Вообрази, Ростопчин — наш московский властелин! Мне любопытно взглянуть на него, потому что я уверена, что он будет гордо выступать теперь! Курьезно бы

мне было знать, намерен ли он сохранить нежные расположения, которые он высказывал с некоторых пор?»

Она походила на появившуюся в начале девятнадцатого века новую героиню романов и повестей — девушку-монастырку, чьи кротость, целомудрие и просвещенность сводили с ума даже прожженных ухажеров. Позади было долгое десятилетнее затворничество в глухих стенах Смольного монастыря, где благородные девицы учились рисовать цветы по атласу, шить золотом, делать гирлянды для царских праздников, сносно играть на клавикордах и арфе, танцевать, петь, читать и писать на трех языках. Кроме того, пансионерки, когда переходили от младших, кофейных, классов к старшим, белым, обучались логике и точным наукам. Но, как доносили учителя, «умы воспитанниц к физике не обыкшие, арифметика и алгебра туга».

Наконец, получив золотые и серебряные медали с портретом государя и подписью на обратной стороне (под изображением кисти винограда): «Посети виноград сей», Мария и ее подруги вернулись в давно позабытые отчие дома, чтобы стать здесь невестами, умеющими с тактом вести себя на балах, принимать участие в светских беседах и писать на французском письма с точным соблюдением правил орфографии.

Но вдруг произошло событие, указавшее девушкам-монастыркам иной путь…

Двенадцатого июня без предварительного объявления войны французы, австрийцы, пруссаки, испанцы, португальцы и другие народы, составившие *Великую армию* Наполеона, вступили в пределы России.

> Хвала! он русскому народу
> Высокий жребий указал… —

отметил проницательный Пушкин.

Русские люди вдруг стали догадываться, что если они останутся теми же, что и прежде, то порушатся навеки города и села, прервется род, станет бесплодной земля. Они в тяжелый скорбный час осознали, что у них есть Отечество, которое некому, кроме них, защищать, и в нем живет родной, единой с ними крови народ.

Письма Марии Волковой к петербургской подруге, как и вся окружающая жизнь, стали иными.

Враг занял Вильну…

«Мы дожили до такой минуты, когда, исключая детей, никто не знает радости, даже самые веселые люди».

Враг грабит русские села…

«Народ ведет себя прекрасно… Мужики не ропщут; напротив, говорят, что они все охотно пойдут на врагов и что во время такой опасности всех их следовало бы брать в солдаты».

Враг захватил Смоленск…

«Сердце обливается кровью, когда только и видишь раненых, только и слышишь, что об них».

Отгремели залпы Бородина…

«Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего, и отдаю ему полную справедливость».

Москва в огне…

«Нам говорят, что между тем как вся Россия в трауре и слезах, у вас дают представления в театре, и что в Петербурге в русский театр ездят более чем когда-либо. Нечего вам делать! Не знаю, как русский, где бы он ни был теперь, хоть в Перу, может потешаться театром!»

Враг бежит…

«О, как дорога и священна родная земля! Как глубока, сильна наша привязанность к ней! Как может человек за горсть золота продать благосостояние Отечества, могилы предков, кровь братьев, словом, все, что так дорого каждому существу, одаренному душой и разумом?!»

Враг изгнан из России…

«Пленные точно достойны сожаления; глядя на их страдания, забываешь о зле, которое они нам сделали».

1812 год превратил светскую болтушку Мари в защитника Отечества и гуманиста. Ее белые нежные руки, которые было принято холить, беречь от труда, с утра до вечера щипали корпию для перевязки ран. Мария Волкова уже не падала в обморок при виде крови и язв, а в меру своих невеликих сил пыталась облегчить боль и мучения русских солдат и офицеров.

«Страдания… заставляют нас опомниться и пробуждают от апатии, которой мы так склонны предаваться при благоприятных обстоятельствах», — осознала она, воочию увидев, испытав страдания.

Ее духовный двойник — пушкинская Полина из неоконченного «Рославлева», мысли и слова которой — те же письма Волковой. «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют Отечества? Разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы нас на бале вертели в экозесах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю унижения,

которому присуждают нас».

Лев Толстой, обдумывая замысел «Войны и мира», взял себе в первые помощники толстую пачку писем Марии Волковой и во время работы вновь и вновь обращался к ним. В ранних редакциях романа письма Марии Болконской к Жюли Курагиной почти дословно повторяли письма двадцатипятилетней Волковой, а семидесятилетняя Волкова, по мнению современников, была одним из прототипов Марьи Дмитриевны Ахросимовой, верного друга семейства Ростовых…

Так жизнь поставляла литературе героев.

Чтение писем Волковой сродни путешествию в прошлое. Бытовые подробности, народные слухи, искреннее, подчас наивное девичье отношение к происходящим событиям создают подобие непосредственного, подлинного общения с давно минувшими годами; зовут к глубоким раздумьям над судьбами Родины и людей, ее населяющих; помогают понять дух прошедших времен, докопаться до истинной истории. И если когда-нибудь начнется издание сборников «Русская жизнь в письмах», то достойное место в них будет по праву отведено эпистолярному наследию московской барыни Марии Аполлоновны Волковой.

Усмиритель города. Генерал-губернатор граф Арсений Андреевич Закревский (1786–1865)

В 1848 году, когда до России долетели отзвуки новой французской революции, опасливый император Николай I прислал подтянуть избаловавшихся москвичей «надежный оплот от разрушительных идей Запада» — графа Арсения Андреевича Закревского. Москва раньше была святой, шутили над неожиданным назначением, а теперь стала великомученицей.

Новый генерал-губернатор — лысый старичок с маленькими глазками и вечно надутыми губками — смутил вольнолюбивый город деспотизмом на восточный лад. Без долгих разговоров он приказал уничтожить «либеральную» надпись на музее купца Кокорева: «Хранилище народного рукоделия», послал писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову приказ перестать носить русский зипун и сбрить «главный признак своего революционного направления» — седую бороду, повелел разыскать и иметь наблюдение за «политическим преступником», дерзнувшим первым зааплодировать профессору Грановскому на лекции в Московском университете. В Северную столицу летели один за другим рапорты, в которых граф уверял своего венценосного владыку, что в вверенном ему городе славянофил Хомяков составил тайное общество, актер Щепкин жаждет переворота, а миллионер Кузьма Солдатенков подстрекает народ к беспорядкам.

Патриархальная Москва была смущена проявлением столь дикого произвола и неуемного служебного рвения и решила по-своему мстить ретивому начальнику. Женщины передавали сплетни, что поклонники генерал-губернаторской супруги скорехонько попадают в камергеры, а любовники дочери — в камер-юнкеры. Дворяне старинных фамилий высмеивали худородство и плохой французский язык графа. Опальные вельможи презирали выскочку за выдвижение благодаря деньгам и великосветским связям «пылкой Аграфены» — жены Закревского. Старообрядцы, смекнув, что новый хозяин города хоть и лют, но небольшого ума и доверчив, с презрением опутывали взятками его подчиненных. Где-нибудь на балу в Благородном собрании или Немецком клубе всегда можно было услышать свежий анекдот о новом правлении:

— Чем отличаются жандармы Закревского от беременной

женщины?

— Женщина может недоносить, а жандарм обязательно донесет.

В московских гостиных декламировали остроумные стишки, посвященные новому градоначальнику:

Ты не молод, не глуп и не без души,
К чему же возбуждать и толки, и волненья?
Зачем же роль играть турецкого паши
И объявлять Москву в осадном положеньи?
Ты нами править мог легко на старый лад,
Не тратя времени в бессмысленной работе.
Мы люди мирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте.

Закревский, которого в великосветских московских кругах прозвали Арсеник-паша, не терпел, когда с ним спорили, ссылаясь на законы. «Я здесь закон!» — гордо заявлял он. Его любимыми фразами были: «Не позволю!» и «Вон! Упеку!»

Над ним смеялись за малограмотность, солдафонство, консерватизм взглядов. Когда в начале царствования императора Александра II пошли разговоры и были сделаны первые шаги по освобождению крестьян, Закревский заметил: «В Петербурге глупости затеяли», Герцен в «Колоколе» иронизировал над его приверженностью крепостничеству: «Арсений Андреевич, что это с вами, всю жизнь вы были фельдфебелем и вдруг мешаете освобождению крестьян? К лицу ль вам эти лица? Идти против государя! Против дисциплины!» В другой заметке «Колокола», который взахлеб читался московской профессурой и студентами, утверждалось, что, пользуясь высоким положением, Закревский наживался на казенных поставках сукна и вина. Герцен утверждал, что граф получил отставку за подлог — незаконно выданное разрешение на второй брак своей дочери.

За одиннадцатилетнюю ревностную службу «на благо Москвы» Закревский не снискал ни любви, ни уважения ее жителей. Когда 16 апреля 1859 года его отправили в бесславную отставку, одна из газет ехидно заметила: «Нам пишут из Москвы, что в нынешнем году наступила весна очень рано, так что прежде Юрьева дня выгнали скотину в поле» (день Георгия Победоносца — 23 апреля).

О самодурстве и крепостнических настроениях опального генерал-губернатора со злорадством упоминается в каждой биографической заметке, посвященной ему, уже на протяжении почти полутора столетий. В любой демократической стране,

кроме обвинения, слово предоставляется и защите. Но не в России! Дело в том, что ругали Закревского и передовая интеллигенция, и именитое просвещенное купечество. А раз так, мнения доброжелателей графа не принимались в расчет. Но рискнем нарисовать иной портрет самого консервативного московского генерал-губернатора, основываясь на свидетельствах его друзей, сослуживцев и родственников.

Сын небогатого помещика Зубцовского уезда Тверской губернии, Арсений Андреевич вышел в люди своим трудом и тяжкой военной службой, получив боевое крещение при Аустерлице, где во время сражения спас от, казалось бы, неминуемого плена известного генерала графа Н. М. Каменского. В мае 1811 года он назначается адъютантом к военному министру М. В. Барклаю-де-Толли и в марте 1812 года становится директором его канцелярии. Вместе со своим командиром участвует в боях под Витебском, Смоленском и Бородином. О храбрости и исполнительности Закревского Барклай-де-Толли не раз докладывал императору, благодаря чему вскоре он стал одним из ближайших генерал-адъютантов Александра I, а в 1828 году занял пост министра внутренних дел. После ряда неудачных мероприятий по борьбе с холерой в 1831 году Арсений Андреевич вышел в отставку, занялся благоустройством своих имений и вел обширную переписку с закадычными друзьями, среди которых числились поэт-партизан Денис Давыдов, опальный генерал А. П. Ермолов и многие другие замечательные люди XIX века.

Закревский был до изумления честным человеком, он никогда и ни перед кем, включая императора, не хитрил, высказывался открыто и прямо, за что даже одно время состоял под надзором тайной полиции. Когда он как-то, еще живя в Петербурге, отправился в отпуск в Москву, шеф жандармов граф А. Х. Бенкендорф уведомлял о нем московского командира корпуса жандармов А. А. Волкова: «Я боюсь, что его привычка кричать против всего не произвела бы дурного впечатления. Этого человека совершенно губит тщеславие, что очень жаль. Напишите мне весьма секретно, как он будет держать себя, кого он будет посещать и увидит ли он своего старого друга Ермолова».

После семнадцати лет частной жизни Закревский был вновь взят на службу и 6 мая 1848 года занял пост московского генерал-губернатора. Он каждый день вставал в шесть часов утра и в течение двух часов занимался в кабинете личными делами (выслушивал доклады по своим имениям и давал распоряжения, писал друзьям). Потом в халате выходил в приемную и с полчаса гулял по комнатам. Одевшись в мундир, в девять часов встречал с

докладом дежурного адъютанта, в десять часов — военного и гражданского чиновников особых поручений, потом принимал других должностных лиц и посетителей. В три часа пополудни выезжал осматривать город. Возвращался к обеду, после которого около часа отдыхал. Потом снова уходил в кабинет выслушивать доклады и отдавать распоряжения. И так изо дня в день в течение одиннадцати лет.

К Закревскому смело мог явиться кучер или повар, избитый своим барином. Граф обычно приказывал посадить подателя жалобы в Тверскую полицейскую часть, а тем временем производил негласное дознание и, если инцидент подтверждался, обыкновенно вызывал скорого на расправу барина. Сначала переговоры вел начальник секретного отделения канцелярии Василий Дмитриевич Шлыков, а потом оба шли к графу, после разговора с которым побитый дворовый выходил из Тверской части с вольной в руках или с билетом на свободное проживание.

Закревский по воле государя установил тайное наблюдение за «неблагонадежными». Но при московской лени и преобладании домашних забот над государственными подобное нововведение не изменило обычного уклада жизни, разве что дало пищу дамским да разночинным пересудам. Чиновник особых поручений при гражданском губернаторе И. В. Селиванов вспоминал, как однажды у него в доме появился квартальный надзиратель. «Он чуть не шепотом передал мне, что частный пристав уехал в отпуск, что он правит его должность и что в числе других бумаг он нашел требование Закревского ежемесячно доносить ему о моем образе жизни, знакомствах и прочее. Так как срок этому донесению наступал, а он не знает, как к этому даже приступиться, да и грамоте-то плохо знает, то и просил меня помочь ему написать это донесение. Конечно, я не заставил себя просить другой раз и написал ему в числе посещающих меня знакомых чуть ли не самые значительные фамилии в Москве и самый похвальный о себе отзыв. Старик мой был радехонек, что я избавил его от тяжкой обузы, и ушел от меня с благодарностью».

Добавим, что личного зла Закревский на «неблагонадежных» не таил. Когда, например, узнал, что «потрясателя основ» Т. Н. Грановского в Купеческом клубе обчистили в пух и прах шулера, он, не заглядывая в законы, выслал обидчиков либерального университетского профессора вон из Москвы.

Было множество и других случаев самоуправства Закревского, вернее, подчинения логической правде, а не формальностям.

Один молодой купчик увлекся красивой авантюристкой и в несколько дней загула под винными парами подписал ей

векселей на все свое состояние. Очухавшись, по совету добрых людей побежал к генерал-губернатору и рассказал свою нелицеприятную историю.

— А ты не врешь? — спросил граф, не переносивший лжи, и внимательно посмотрел ему в глаза.

— Все истинно.

— Подожди в соседней комнате.

Курьер вскоре доставил к графу купеческую прелестницу с векселями.

— Покажи векселя. За что он их дал?

— Я получила их за долголетнюю жизнь с ним и за жертвы здоровья, принесенные ему, — протягивая векселя, пояснила прелестница.

Вызвали купца.

— Когда ты с ней познакомился?

— Две недели назад.

Сконфузившейся даме в конце концов пришлось подтвердить слова своего мимолетного ухажера. Тогда граф изорвал векселя и бросил их на пол, то есть совершил самоуправство, беззаконный поступок, который не оправдал бы ни один адвокат. Зато деньги, нажитые купцом и его родителями, не перешли в карман аферистки.

Из бесспорных добрых дел Закревского нужно отметить, что он открыл для прогулок всех желающих москвичей свою прекрасную дачу Студенец с обширным парком за Пресненской заставой (по которой ныне все шире и шире расползается гостиничный комплекс Международного центра торговли). Часто приглашал к себе на обед ветеранов военных баталий, помогал им, устроил образцовую Измайловскую богадельню для престарелых воинов. Беспрестанно требовал от прижимистых богатых купцов пожертвований на богоугодные заведения, отчего те затаили на него обиду, хоть и расставались с деньгами.

Подделку Закревским разрешения на второе бракосочетание дочери, о чем с негодованием вспоминают большинство его современников-мемуаристов, связывают с его отставкой. Вот только сведения авторы черпали не из первых рук, а из заграничного герценовского «Колокола», где часто печатались непроверенные или даже заведомо ложные слухи, лишь бы «разбудить Россию». Потом они обрастали еще большим количеством небылиц и в трактире, под водочку, превращались в веселую сказку.

…Полетела дочь Закревского к папаше в Москву.

— Муж, — говорит, — подлецом оказался, бьет меня. Дай нам развод.

— Как это возможно? Я ведь не митрополит.

— Ты, — говорит, — в Москве повыше митрополита, ты царь и Бог! Кто смеет с тебя спросить?

Он и забрал в голову, что это правда, взял да и написал, что, дескать, «полковник не живет с моей дочерью на законном основании, бьет да терзает ее, а потому жить им врозь». Подписал и казенную печать приложил. Она и прилетела с этой разводной к мужу.

— Посмотри-ка, — говорит, — чертова образина, вот разводная!

Он видит — фальшивая разводная. Ему-то, собственно, жену пусть хоть черти возьмут, а досада его берет, что всю вину на него свалили. Вот он и подал жалобу царю. «В Москве, — говорит, — два митрополита. Один настоящий, из духовенства, другой фальшивый, из генерал-губернаторов». И описал, как женился, как жена шаталась по балам.

Царь прочитал и говорит: «Правда тут или неправда, не знаю». И приказал это дело хорошенько разузнать. Стали докапываться… Видят, тут одна правда, полковниковое дело правое. Царь рассердился и написал Закревскому: «Какой ты митрополит, ежели кадило не умеешь держать по-настоящему? Ты самозванец, а мне самозванцев не нужно, потому что от них только одна подлость идет».

Ну, значит, Закревского в шею со службы…

Второй же муж дочери Закревского, князь Д. В. Друцкой-Соколинский, утверждал, что отец лишь выдал ей неправильно оформленный заграничный паспорт. Но если «Колокол» прав, и отец ради счастья дочери, давно жившей отдельно от первого мужа, пошел на подлог? Да в России тысячи и тысячи чиновников жульничали, воровали, вымогали исключительно ради собственного кармана, об этом знали, но принимали их в обществе и к подобному способу наживы относились весьма снисходительно. Главное — казаться просвещенным, элегантным, в меру либеральным. Зная ныне не меньше современников о казнокрадстве в середине XIX века, у кого поднимется рука осудить за любовь к дочери никогда не бывшего охочим до чужого добра графа Закревского? Только у тех, кому наплевать на исконные человеческие чувства, кто в жертву «направлению умов» готов принести и любовь, и дружбу.

Справочники, в которых упомянуто имя Закревского, в один голос утверждают, что тотчас после отставки он, обиженный, укатил за границу. Обижен он, конечно, был, не единожды вздыхал: «Уволили, как будочника», но еще около четырех лет прожил в Москве, сначала в Газетном переулке, потом в

собственном доме в Леонтьевском переулке. Когда в сентябре 1863 года Москву посетил император Александр II и Закревский как генерал-адъютант должен был явиться к нему, он, не желая предстать перед блистательным высшим светом разжалованным владыкой, сказался больным и уехал в свое подмосковное имение Ивановское. А вскоре и вовсе покинул Россию, так как дочери, проживавшей во Флоренции, было запрещено возвращаться на родину. В последние годы Арсений Андреевич часами просиживал в детской у своего маленького внука. Умер он 11 января 1865 года и похоронен в семейном склепе в Гальчето, в древней католической церкви, обращенной в православную часовню.

Итак, получилось два разительно отличных друг от друга портрета одного и того же человека. Люди, держащие себя в шорах, ограничивая свои мыслительные способности одной-единственной идеей, и лишь через ее призму оценивающие людей, могут выбрать один из них. Остальным придется свыкнуться с мыслью, что оба портрета верны. Ведь человек куда более сложное явление, чем любое прогрессивное или консервативное направление.

Потомок Мономаха. Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1788–1863)

В восточной части Ленинских гор, на высоком правом берегу Москвы-реки уже более двух веков стоит дворец, на который с завистью заглядываются горожане и их гости: вот где пожить бы — вся Москва на ладони. Но сотрудники Института химической физики не хотят лишаться рабочего места чуть ли не в самом центре города и стойко переносят неудобства старинного особняка во время своих ультрасовременных опытов.

А еще каких-то полтора века назад вокруг Мамоновой дачи, как называли эту дворянскую усадьбу москвичи, шумел вековой лес, редких грибников и любителей дальних загородных прогулок сковывал суеверный страх возле чугунной решетки с желтой ржавчиной и зеленым бархатом мохового нароста, за которой в глубине роскошного сада сверкал загадочный двухэтажный дом с террасами и высоким бельведером. Здесь долгие годы в полудобровольном заточении жил сын графа Александра Дмитриева-Мамонова, двенадцатого фаворита Екатерины II, посмевшего прийти в уныние от прелестей своей шестидесятилетней царствующей любовницы и предпочесть ей молодую княжну Щербатову, за что и был милостиво спроважен в Москву.

В белокаменном, живущем на крестьянский лад городе опальный фаворит, привыкший к фейерверкам, блеску двора и тонкой лести, загрустил и вскорости следом за молодой женой сошел в могилу, оставив сыну, по слухам, миллионное состояние.

Молодой граф Матвей, опять же по слухам, быстро спятил от своего несметного богатства, начал постреливать из пистолета в казенные фраки чиновников и приказал дворовым почитать себя за русского царя.

В Петербурге знали за Москвой грешок выставлять кого ни попадя воскресшими русскими царями и цесаревичами, бесчисленными Дмитриями, Алексеями, Петрами, Иоаннами, Павлами, в то время как было доподлинно известно, что они в свое время были задушены, заколоты, запытаны. И вот дорвавшийся до высшей власти казнелюбивый Николай I в злопамятном 1826 году поспешил объявить графа Матвея Дмитриева-Мамонова рехнувшимся.

Петр Чаадаев, прозванный «басманным» философом по

улице, на которой жил, тоже был объявлен сумасшедшим, опубликовав дерзкую статью в «Телескопе». Но москвичи продолжали встречать его в своих гостиных, в театре, модных магазинах, а потому втихомолку посмеивались над петербургскими врааками. Но Мамонова тайна леденила душу — затворник граф нигде не показывался, его помнили лишь московские старожилы, заставшие начало французской кампании 1812 года.

В тот грозный час москвичи вдруг остро ощутили, что у них есть Отечество, которое должно защищать, и из ленивых обывателей вдруг превратились в горячих патриотов. Купцы пожертвовали на войско несколько миллионов рублей, дворяне вступили в ополчение, дамы научились щипать корпию и перевязывать раненых. Тогда-то молодой граф Дмитриев-Мамонов одел, вооружил и посадил на коней тысячу своих крепостных крестьян и вместе с ними отличился в сражениях при Тарутине и Малоярославце.

Но кончились трудные для России дни, император Александр I пожинал лавры освободителя, гарцуя в покоренных городах Европы, любовь к Отечеству и воинскую смекалку вновь оттеснили собачья преданность начальству и куриные мозги. Граф Матвей — потомок Владимира Мономаха, крестник горбатого крестьянина-зеленщика, воспитанник иезуитского колледжа, обер-прокурор шестого департамента Сената, генерал-майор, масон, основатель «Ордена русских рыцарей», богач, умница, красавец, обладающий чудовищной физической силой, — в конце концов подал в отставку и уединился в своем подмосковном имении в Дубровицах.

Вскоре одни стали замечать, другие пересказывать, третьи доносить, что граф без счету раздает деньги, «желая, — как он выражался, — помочь людям не временно, а возобновлять их жизнь, делая из несчастных счастливцев». После обеда он частенько бранится со своими далекими, все продвигающимися в чинах врагами (бывшими друзьями), в бессильной злобе пишет указы, чтобы одних из них наказали кнутом, других отправили в Сибирь, и бросает грозные повеления за окно. По вечерам сочиняет проекты преобразования России и заодно планы укрепления своего замка в Дубровицах.

На все эти отклонения от норм высшего света смотрели, конечно, как на чудачества миллионера, а вот то, что граф никогда не бывает в обществе, а значит, не танцует, не делится своими мыслями с московским дворянством и не выражает любви и признательности царствующему дому и прочему начальству, вызывало чувство зависти, обиды и оскорбленного достоинства, а

как следствие — сомнения в благонадежности.

Поводом убедиться в приверженности графа Матвея крамоле послужила жалоба московского генерал-губернатора князя Голицына, что его адъютанта, привезшего строгое начальственное наставление дубровицкому затворнику, выгнали из усадьбы, приказав передать своему начальнику, что Дмитриев-Мамонов не прощает грубостей, даже если они изложены на бумаге, и готов встретить худородного князя как дворянин дворянина — шпагой или пистолетом.

Подобное поведение решили счесть за буйное помешательство и с помощью отряда жандармов доставили дерзкого отпрыска Мономахова рода в Московский сумасшедший дом. Здесь его стали лечить: лили на голову ледяную воду, держали круглыми сутками связанным, усердно кормили лекарствами. В конце концов вполне компетентная комиссия смогла признать графа помешанным «от самолюбия и славолюбия» и учредить опеку над его капиталами. Самого же миллионера втихомолку упрятали на Воробьевы горы, в специально купленный по этому случаю у князя Юсупова загородный дом. С тех пор москвичи засудачили о Мамоновой даче и наводящем на город страх и тайну ее безумном обитателе.

Но если бы словоохотливые москвичи, послужившие прототипами Грибоедову в его запрещенной комедии «Горе от ума», заглянули за таинственную чугунную решетку в прогулочный час, то увидели бы в глубине сада красивого старца с белой бородой, в бархатном халате на беличьем меху и в черной тафтяной шапочке, которую обыкновенно носят римские папы в домашнем быту. Его со всех сторон обступали дети дворовых, и для каждого ребенка он находил ласковое слово. Бездомные собаки с хозяйской невозмутимостью бродили поблизости, ожидая подачек доброго господина.

Любимый графский шут в генеральском мундире с Андреевской лентой и до блеска начищенными орденами, восемь лакеев в синих фраках с металлическими пуговицами, на которых был изображен мамоновский герб, да и прочая челядь замечали кой-какие *странности* за своим повелителем (отличия от прочих господ): он никогда не молился, кормил дворню теми деликатесами, которые готовил ему один из лучших московских поваров, целыми днями просиживал за рабочим столом и все писал, писал, писал…

Многие черты легендарной личности Матвея Дмитриева-Мамонова, каким он был до затворничества, послужили Льву Толстому источником для образа Пьера Безухова.

Когда же старцу, пережившему двух братьев-императоров,

предложили снять с него опеку и пообещали вновь объявить его нормальным гражданином, он отказался, заявив, что привык уже быть не в своем уме.

Скончался единственный сын предпоследнего фаворита Екатерины II тихо — вздохнул и, сказав: «Вот и умираю. Что ж, я довольно пожил!», — отправился вслед за отцом в фамильную усыпальницу в Донском монастыре.

Но еще долгое время Мамонова дача смущала москвичей своей красотой и безмолвием, порождала легенды и апокрифы о своем больном душою владельце, унесшем в могилу какую-то странную Мамонову тайну.

Дед артистки. Математик и астроном Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788–1880)

«..Я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева — популярны ли они?» — с горькой иронией спрашивает чеховский *пассажир первого класса* у своего попутчика.

Москвичи (впрочем, как и петербуржцы, и провинциалы) любили посудачить о дуэлях (особенно если исход был печальным), о путешествиях государей (главным образом, о пикантных подробностях из дорожной жизни молоденьких фрейлин, пользующихся монаршей благосклонностью), о чертях, домовых, миллионерах, жуликах, пророках. Лишь немногие стремились побеседовать о науках, поэзии, живописи. Но им чаще всего не давали выговориться, перебивали, внезапно вспомнив подробности недавнего происшествия, когда офицер Безобразов на маскараде в Благородном собрании, будучи вдребезги пьян, раскроил саблею череп толкнувшему его во время танца молодому человеку. И вообще, если какому-нибудь купчишке или совсем спятившему графу не терпелось поговорить о паровых машинах, работающих на подмосковных фабриках, об электричестве, освещающем парижские магазины, или о загадочном телеграфе, появившемся в далекой Америке, то, значит, считали москвичи, он зануда и чудак.

Дмитрию Перевощикову с популярностью не повезло, за свою долгую, растянувшуюся почти на весь девятнадцатый век жизнь, он никогда не подделывал векселей, не проигрывал в карты миллионных состояний, не держал в любовницах красавиц знатных дворянских фамилий. Он всего лишь страстно и с любовью в течение трех с лишком десятилетий читал студентам Московского университета курсы алгебры и трансцендентальной геометрии, сферической тригонометрии и теоретической астрономии, прикладной математики и механики твердых и жидких тел… По написанным им учебным пособиям — «Арифметика для начинающих», «Руководство к астрономии», «Основания алгебры», «Руководство к опытной физике», «Ручная математическая энциклопедия» (в тринадцати томах)… — училось несколько поколений русских интеллигентов.

Перевощиков был основателем Московской обсерватории, директором медицинского института, деканом физико-математического факультета, а позже и ректором всего университета. Он заложил основы правильного и систематического обучения в России точным наукам, проводил публичные лекции для московской публики всех сословий, руководил городскими метеорологическими наблюдениями, его научными статьями были наполнены журналы обеих русских столиц. Много сделал Дмитрий Матвеевич для изучения и популяризации наследия Ломоносова. В «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» он с восхищением говорил о своем великом предшественнике: «Читая, изучая сии рассуждения, всегда приходил я в удивление перед его гением, который предвидел истины, доказанные ныне многочисленными и точными наблюдениями». Далее Перевощиков с негодованием отмечал: «Мы редко оцениваем справедливо труды своих сограждан, хладнокровно уступаем иностранцам славу изобретений».

Изредка Дмитрий Матвеевич мог прочесть в русских журналах лестные слова о себе. «Имя г. Д. М. Перевощикова пользуется у нас громкой известностью, вполне заслуженной… — писал Николай Чернышевский. — В последние тридцать лет никто не содействовал столько, как он, распространению астрономических и физических явлений в русской публике… Количество написанных им с этой целью статей очень велико, и по числу, и по внутреннему достоинству они в русской литературе занимают первое место».

Дмитрий Матвеевич добродушно усмехался: «Эко он меня! В знаменитости записал, смешно, право» — и спешил справиться с многочисленными заботами дня: предстояло договориться о починке печей в комнатах казеннокоштных студентов, уговорить профессора Мухина пожертвовать тысячу рублей на громоотвод для обсерватории, посидеть над расчетами магнитных наблюдений, набросать письмишко своему старинному товарищу и сокурснику Николаю Лобачевскому. А вечером надо обязательно успеть в театр, будет бенефис Щепкина, и потом вместе с ним они заглянут на огонек к своему приятелю Сергею Тимофеевичу Аксакову, куда постараются затянуть и взбалмошного Гоголя. Друзей-то с каждым годом все меньше, все теснее их круг, поэтому нельзя забывать друг о друге…

О Перевощикове не судачили ни барышни на балах, ни девки на гуляньях. О его существовании не подозревал царский двор, поэты не посвящали ему ни героических од, ни злобных эпиграмм. Но надо ли унывать, завидовать, жаловаться на

выпавший жребий? Наоборот, ученый был благодарен судьбе, что всю жизнь провел в заботах, в нужных для Отечества делах.

Перевощиков прожил долгую счастливую жизнь, до конца сохранив ясность ума, жажду деятельности и веселую шутку. Он успел выучить и поставить на ноги детей, поласкать внуков и даже похоронить всех друзей. И он не мечтал о посмертной славе, не верил в нее.

Наступил новый век. Имя астронома, математика, физика Дмитрия Перевощикова укоренилось в научных монографиях и справочниках, оставаясь по-прежнему совершенно неизвестным народу. Зато об одной из его внучек, актрисе, уже вышла в свет книга воспоминаний с приложением ее писем…

К сожалению, прав оказался чеховский *пассажир первого класса,* предсказавший забвение многим мореплавателям, химикам, физикам, механикам, сельским хозяевам. «Да-с, — продолжал он свирепо, — и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с!»

Кочевая жизнь. Приживалка Феодосия Ивановна Бартенева (1790–1835)

Понятия «семья» и «гость» в семье Бартеневых сливались воедино. Не потому, что их дом был полной чашей и по нему всегда расхаживали приглашенные на обед или бал друзья, а наоборот. Бартенева с детьми вела кочевой образ жизни, вечно пребывая в гостях.

Феодосия Ивановна, урожденная дворянка Бутурлина, в молодости училась музыке у Мускети и пользовалась известностью великосветской певицы. Но, выйдя еще до войны с французом замуж за никчемного статского советника Арсения Ивановича, она стала рожать ему одного за другим детей и довела их счет до восьми. Муж был равнодушен к приплоду и жил исключительно сплетнями, которые развозил по московским салонам, стараясь не встречаться там с женой. Дом их из-за бедности был пуст в самом прямом смысле слова, — не только еда, но и мебель в нем почти полностью отсутствовали. Зато имелись соответствующие дворянину средства передвижения — четырехместная карета-рыдван, четверня лошадей, крепостной кучер, форейтор и лакей. С утра карета закладывалась, в нее погружались все дети и Феодосия Ивановна отправлялась по гостям. Напьется утречком чаю у каких-нибудь знакомых, накормит там детей завтраком — и дальше в путь. Зная, у кого растут барышни и что сегодня у них урок музыки, она завозила туда дочерей.

— Позвольте и моим послушать, как ваши играют.

Потом направлялась в дом, где есть мальчики и при них учитель.

— Ваши сыновья за уроком? Вот и хорошо, позвольте и моим послушать.

Сама же ехала в третье место — обедать и вести салонные разговоры. Вечером, посадив всех детей опять в карету, старалась попасть к кому-нибудь на бал. Когда подросла старшая дочь Прасковья, брала и ее с собой, тем более что она, как и мать в молодости, отличалась красотой и отличным голосом. Прасковью даже приглашали петь, когда город посещали высочайшие особы. Мать каждый раз перед вечерним выездом заставляла уже одетую в бальный наряд дочь класть земные поклоны перед киотом и прикладываться к каждому образу.

Остальные дети, — если их не удавалось пристроить на вечер у знакомых, — покуда Феодосия Ивановна веселилась на балу, одновременно договариваясь со знакомыми, к кому нагрянет завтра, проводили время в карете. Здесь они ужинали припасенными матерью харчами, здесь и засыпали в ожидании ее. Они так привыкли к кочевой жизни, что признавались: «Нам нужен дом только для того, чтобы переночевать, а днем нам нужна большая карета. Жаль только, что наша без печки, потому что бывает холодно, а то бы нам и дом не нужен».

Однажды при разъезде с бала мать не досчиталась одной дочки. Все обыскали — пропала! Феодосия Ивановна уже пришла в отчаяние, когда отъезжающие гости нашли девочку уснувшей под их шубами. Оказалось, она озябла в карете, вошла погреться в дом и заснула под ворохом теплой одежды.

Другой раз, когда мать зимой веселилась на генерал-губернаторском балу, выискивая приглашений на завтра, дети, чтобы немножко согреться, стали пищать и резвиться в карете. Камердинер генерал-губернатора не стерпел происходящего и, жалея сироток при живых родителях, доложил своему хозяину, что дети Бартеневой мерзнут и плачут. Князь Д. В. Голицын приказал перенести их в свой кабинет, накормить и положить спать на больших диванах. После этого случая всякий раз, как Бартенева появлялась у хозяина города на балу, он посылал в карету за ее детьми и укладывал спать у себя.

Был и такой случай. Посещая еженедельные танцевальные вечера у одних знакомых, Бартенева оставляла детей у живших напротив других знакомых. Те вдруг переехали, чего она не знала, и, как обычно, высадив родных чад возле дома, где их должны были приютить, упорхнула. Новые жильцы при виде толпы незнакомых детей, вбежавших в их гостиную, опешили. Но дети Бартеневой были необыкновенно скромные и милые, они учтиво раскланялись и, потупив взоры, назвались. Да кто в Москве не знал их матери и ненормальную жизнь ее детей! Всех тотчас накормили и уложили спать.

«Первый раз, как я увидела Бартеневу, — вспоминала баронесса Елизавета Мангден, — она меня поразила своей странной внешностью. Мы обедали у Елизаветы Евгеньевны Кашкиной. Посреди обеда дверь отворилась и вошла Бартенева с многочисленными своими детьми. На ней было старое полинялое платье, полуоткрытое, без корсета, без воротничка и мантильи. Волосы были в беспорядке, глаза как-то мутно и тускло смотрели. Она имела вид слегка помешанной. Детей сейчас посадили за стол и накормили».

«Она была очень недурна собой, — вспоминала о Бартеневой

другая великосветская дама Елизавета Петровна Янькова, — премилая, прелюбезная и женщина очень хороших правил, но великая непоседка, потому что была охотница веселиться и мыкаться из дома в дом».

Умерла Феодосия Ивановна, когда старшей дочери шел двадцать четвертый год, и ее взяла к себе фрейлиной императрица Александра Федоровна. Младших детей устроили в Екатерининский институт. А никчемный муж-вдовец, тщательно одетый и со взбитым хохлом, еще четверть века разъезжал по гостям, всякий раз радуясь, когда мог первым сообщить какую-нибудь скандальную или политическую новость.

Чистый сердцем. Инспектор Московского университета Платон Степанович Нахимов (1790–1850)

Московский университет в сороковых годах XIX века представлял собой не только центр просвещения России, но и самостоятельную корпорацию, не подчиняющуюся ни городскому начальству, ни надзору полиции. Студента, к примеру, не мог арестовать ни квартальный, ни обер-полицмейстер. Для университетской молодежи, имевшей особый мундир и шпагу, существовало свое место заключения — карцер, и наблюдали за их образом жизни свои надзиратели — инспектор и субинспекторы.

В 1834 году инспектором был определен Платон Степанович Нахимов, из смоленских дворян, в 1802 году поступивший в Морской кадетский корпус и по окончании учебы здесь же проходивший службу до 1827 года. В морском мундире, застегнутый на все пуговицы, с кортиком, подстриженный под гребенку, он подавал пример воспитанникам своей выправкой и прилежанием к порученному делу. Когда в университетском коридоре раздавался грозный окрик: «Студент, застегнитесь!» — любой тотчас же соображал, что попался Платону Степановичу.

Вот бежит опрометью вниз по лестнице студент и чуть не сталкивается со стоящим со скрещенными руками на груди и отставленной в сторону правой ногой инспектором.

— Сумасшедший! Чуть с ног не сбил. Куда летишь, сломя голову?

— В театр за билетом, Платон Степанович.

— В театр? И ради этого готов сбить с ног инспектора? Небось, какую-нибудь дрянь смотреть?

— «Жизнь за царя», Платон Степанович.

— Ну, «Жизнь за царя», — конфузится инспектор, — это можно. Ступай.

Довольный ловким обманом, студент мчится дальше, предвкушая радость от французского водевиля, а потом — дружеской попойки.

Но власть инспектора непререкаема не только в стенах университета — во всем городе. Платон Степанович заглянул в трактир «Британию» — любимый приют своих питомцев. За столиками, среди другой публики, сидело несколько студентов.

— Что это вы пьете?

— Чай, Платон Степанович.

— Полно, чай ли?

Он попробовал у каждого из стакана ложечкой напиток и молча ушел. Но гроза еще не миновала! На следующий день одного из вчерашних студентов грозный инспектор потребовал к себе.

— Какую ты вчера дрянь пил в «Британии»?

— Виноват, Платон Степанович, пунш пили.

— Другие-то пунш пили, а ты черте что, бурду какую-то. Разве это пунш? Пошел в карцер!

Подходит в другой раз инспектор к чугунной лестнице, вьющейся вверх, и видит, что на третьем этаже перегнулся через перила студент.

— Вот только упади, — закричал Платон Степанович, — сейчас посажу в карцер!

Конечно, все это легенды, их о Нахимове ходило среди студенческой молодежи сотни. И что интересно, об этом сердитом с виду капитане II ранга, осуществлявшем неусыпный надзор за своими воспитанниками, не было ни одного злобного слова, на него никогда не жаловались, в бесчисленных анекдотах изображали исключительно простодушие правдивого и доброжелательного инспектора.

В университете запрещали в то время носить длинные волосы, чему, разумеется, студенты пытались противодействовать. Одному из длинноволосых Нахимов несколько раз напоминал, что надо сходить к цирюльнику. Все напрасно, студент обещал и не исполнял своих обещаний.

— Слушай же, — рассвирепел выведенный из терпения Нахимов, — если я еще раз встречу тебя в таком виде, то непременно исключу из университета! Понимаешь?

— Понимаю, Платон Степанович.

На другой день, отправившись в университет и свернув с Тверской улицы в Долгоруковский переулок, Нахимов к ужасу своему увидел, что с другого конца переулка, от Большой Никитской улицы, идет ему навстречу неостриженный вчерашний длинноволосик. Что делать? Сдержать свое слово — жалко студента. Не сдержать — стать бесчестным. Положение бедовое. И тут нашелся выход!

— Поворачивай назад! Выезжай на Тверскую! — закричал он кучеру. — Скорее же, разиня!..

«Из своих скромных средств, — вспоминал Н. Попов о Нахимове, — нередко вносил деньги за право слушания лекций бедными студентами. И делал это деликатно, так что они редко узнавали имя своего благодетеля».

«Он живо напоминал мне, — вспоминал знаменитый собиратель сказок А. Афанасьев, — прекрасный характер Максима Максимовича в «Герое нашего времени».

«Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, как студенты его обманывали и как он поддавался обману, — вспоминал профессор Б. Чичерин. — Но поддавался он нарочно, по своему добродушию, потому что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки».

Чуя беду или нуждаясь в помощи, студенты в первую очередь шли к Нахимову. Зачастую он и сам вызывался быть их ходатаем перед начальством. В нем они находили заступника и друга.

— Платон Степанович, будьте так добры, посмотрите, сколько мне профессор поставил.

— Пошел прочь! — сурово отвечает Нахимов. — Приспичила надобность, так и прилез просить: «Платон Степанович, Платон Степанович, посмотрите мои баллы». А только я отвернусь, первый же закричишь: «Флакон Стаканович! Флакон Стаканович!» Знаю я вас, зубоскалов. Убирайся вон!

Студент молча отходит, покорно склонив голову, еле сдерживая улыбку. Между тем Нахимов, заложив руки за спину, прохаживается по комнате, не обращая ни малейшего внимания на просителя. Вдруг исчезает. Студент глядит в окно, будто и вовсе забыл о своей просьбе. Спустя несколько минут инспектор возвращается и вновь продолжает прерванную прогулку. Студент все стоит у окна, понурив голову. Вдруг неожиданно над его ухом раздается голос Платона Степановича:

— Четверка.

«Однажды несколько человек, бывших студентами Московского университета и товарищами, — вспоминал Д. Дмитриев, — случайно съехались в каком-то дальнем уголке России после долговременной разлуки. Разумеется, это был светлый день в их жизни. Студенческие годы, юность, университет восстали в их воспоминаниях во всей поэтической красоте. Вместе с ними предстал и добрый образ незабвенного Платона Степановича. Тут же положили они послать ему за подписью всех письмо, в котором, объяснив счастливую встречу, свидетельствовали ему свою вечную, неизменную благодарность. Старик берег это письмо как святыню и в хорошие минуты нередко показывал его студентам… Это был поистине *чистый сердцем!»*

В 1848 году Платон Степанович стал хворать и перешел на более спокойное место — главным смотрителем Странноприимного дома графа Шереметева. В праздничные дни

университетские воспитанники почитали за долг явиться к нему в дом и расписаться в визитной книге. Но здоровье все больше расшатывалось, и 24 июля 1850 года Нахимова не стало. Три с лишним года спустя, после Синопского сражения, выигранного его знаменитым братом-адмиралом в день именин Платона Степановича (18 ноября 1853 года), воспитанник покойного инспектора Михаил Стахович писал:

В ноябре, раскрывши святцы,
Вспомним мы Синопский бой,
Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной.
Здравствуй, адмирал почтенный,
Богатырь и молодец!
Дядя, брат твой незабвенный,
Был студенческий отец.
Мы, по нем тебе родные,
Благодарны за него;
Ты напомнил всей России
Имя доброе его.
Всяк из нас и днем, и на ночь
Вас в молитве помянет,
И тобой Платон Степаныч
В новой славе оживет.

Подруга семиструнная. Гитарист, композитор и педагог Михаил Тимофеевич Высотский (1791–1837)

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

Аполлон Григорьев

Гитара появилась в Европе в XV веке, и в последующие столетия юноши с помощью этого нехитрого «струнного щипкового инструмента с 8-образной формой корпуса» находили самый короткий путь к сердцам возлюбленных. Захотели было итальянцы опробовать свой любимый музыкальный инструмент на русской публике при дворе императрицы Елизаветы Петровны, но потерпели фиаско. И понятно, в России серенаду со вздохами под окнами возлюбленной не исполнишь — тотчас девку опозоришь, весь околоток над ней станет потешаться.

Но вот с 1790-х годов в Европе наступила в буквальном смысле эпоха шестиструнной гитары. На ней с детских лет любил играть и гениальный скрипач Паганини… Трогали говорящие струны и титулованные особы, и ремесленники, и землепашцы. Вскоре появилась гитара и в Москве. Но так как здесь всё любили делать наперекор Западу, то увлеклись исключительно неизвестной европейцам семиструнной гитарой.

Престарелый поэт М. М. Херасков тоже решил не отставать от моды и стал частенько зазывать погостить в свое подмосковное имение гитариста С. Н. Аксенова. Вскоре он поручил ему познакомить с основами музыкальной грамоты и научить игре сына своего крепостного приказчика — Михаила Высоцкого (с годами Михаил переиначил свою фамилию и стал подписываться под нотами исключительно, как Высотский).

«Ну и помучил меня батенька Семен Николаевич! — вспоминал свои детские годы Высотский. — Бывало, уйдешь от него в лес, уж и не рад, что напросился учиться. Так нет, батенька, пойдет, сыщет, за ухо приведет и засадит за гитару».

В 1807 году М. М. Херасков умер, даровав молодому гитаристу вольную. В 1813 году Михаил Тимофеевич переселяется из имения в Москву, и вскоре начинается взлет его

славы. Сочиненные им простонародные песни «Пряди, моя пряха…», «Люблю грушу садовую…», «Соловушка», «Вот мчится тройка удалая…», «Во саду ли, в огороде…» и около сотни других под мелодичное звучание гитары исполнялись повсюду. Даже дворяне запели песни своих крепостных!

Михаила Тимофеевича приглашала к себе, можно сказать, вся Москва, включая первых людей Первопрестольной. Правда, нередко случалось, что за ним присылали золоченую карету, сулили большие деньги, а этот скромный застенчивый человек отказывался и уходил играть даром в тесном кружке своих учеников.

Высотский был нарасхват не только как композитор и музыкант, но и педагог. Большинство прославленных московских гитаристов второй половины XIX века, включая руководителей цыганских хоров И. О. Соколова и Ф. И. Губкина, — его ученики.

Существовал особый «стиль Высотского». Когда он брал в руки гитару, его лицо, почти всегда улыбающееся или смеющееся, становилось строгим, на нем, по заверению очевидцев, «появлялся отпечаток глубокой мысли». Играл он свободно, без малейших усилий и без «модных эффектов», которые нравились тугой на ухо публике. Высотский, по заверению знаменитого польского скрипача и композитора Кароля Липиньского, сочетал в гитаре мощь арфы с певучестью скрипки.

В 1823 году в Москву приехал не знавший себе равных среди гитарных композиторов Фердинанд Сор. На устроенный в честь него вечер любителей гитары пришел и Высотский. После блестящей игры Сора, упросили и его выйти на сцену. «Он взял гитару, — рассказывает В. Русанов, — и, по обыкновению, стал ее *пробовать,* да так и остался на одних пробах часа два с половиной. В результате получилось весьма сильное впечатление. Сор пришел в отчаяние и заявил, что после такого артиста ему совестно взять в руки гитару, и он готов разбить ее об пол. После этой встречи Сор и Высотский часто бывали друг у друга и расстались большими друзьями».

Особенно искренно и восторженно любили игру Высотского московские студенты. Один из них, шестнадцатилетний поэт Михаил Лермонтов, в страшный холерный 1830 год услышав его игру, под впечатлением написал одно из лучших своих юношеских стихотворений.

Звуки

Что за звуки! Неподвижен внемлю
Сладким звукам я; Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя. Всемогущий! Что за звуки! Жадно

Сердце ловит их, Как в пустыне путник безотрадный
Каплю вод живых! И в душе опять они рождают
Сны веселых лет, И в одежду жизни одевают
Всё, чего уж нет. Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне; Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне. И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней, И опять я в мыслях полагаюсь
На слова людей.

Даже спустя полвека после смерти знаменитого московского гитариста, когда заходил восторженный разговор про артистов, умеющих тронуть душу, старики пренебрежительно обрывали панегирик:

— Послушали бы вы Высотского, вот тогда бы у вас душа перевернулась.

И хотя остались ноты большинства сочиненных Высотским песен, им недоставало авторского исполнения. «Он никогда не повторялся, и одну и туже тему играл каждый раз все с новыми и с новыми вариациями, одна другой лучше, богаче, — вспоминал ученик Высотского полковник И. Е. Ляхов. — Его ноты далеко не дают представления ни о неисчерпаемом богатстве и силе его творчества, ни о необыкновенной технике его игры; это бледные наброски в сравнении с его исполнением, в которых передается только общий план, главная мысль и приблизительный характер исполнения. Его игра была непостижима и непередаваема и оставляла такое впечатление, которое не передашь никакими нотами и словами… Вы слышите русскую песню, возведенную в священный культ».

Кроме того, что Высотский научил *почтенную русскую публику* петь по-русски и любить русскую песню, он сочинял вальсы, полонезы, мазурки; переложил для гитары фуги Баха, пьесы Моцарта, Бетховена, Фильда. Для потомков осталась (кстати, переиздававшаяся и в советское время) изданная им незадолго до смерти брошюра «Практическая школа семиструнной гитары». Оставались еще воспоминания друзей и почитателей его таланта…

Гитарный мастер И. Я. Краснощеков многие годы после смерти Высотского показывал гостям диван, на котором великий гитарист отсыпался, заходя к другу после бурно проведенной с купцами и цыганами ночи.

— Проснется, бывало, — рассказывал Иван Яковлевич, — голова у него болит, денег нет, а выпить хочется. Засядет за сочинение, настрочит что-нибудь на живую руку и продает рубля

за два, за три.

Подобное роковое завершение жизни стало, к сожалению, чуть ли ни общим правилом для талантливых русских людей. Вспоминая об авторе замечательной картины «Грачи прилетели», Иван Белоусов даже цены приводит те же, за которые русские таланты под конец жизни торговали своими произведениями: «У Саврасова было два места приюта — ночлежные дома Хитрова рынка и рамочные мастерские, в которых изготовлялся товар для Сухаревского рынка. Там за бутылку водки Саврасов писал картины, которые потом продавались на Сухаревке по два, по три рубля с рамой».

Хорошо хоть, что у Высотского, в отличие от бесприютного Саврасова, был свой угол в одноэтажном домике Алексеева, стоявшем напротив здания Сущевской полицейской части. Летом он частенько садился у раскрытого окна, которое выходило во двор, уставленный скамейками, и начинал играть на гитаре. Тотчас двор наполнялся народом. Домовладелец ходил между слушателями и собирал деньги, которые шли в уплату долга талантливого, но нищего квартиросъемщика за тихое пристанище под конец жизни.

Роковым был и конец музыканта — скоротечная чахотка. Потом по обычаю — почти полное забвение в новом XX веке. Хотя на семиструнной гитаре позднее стал играть чуть ли не каждый второй москвич, могилу родоначальника русской гитарной школы на Пятницком кладбище в 1930-х годах срыли, а в 1960-х годах уничтожили и дом № 8 на Селезневке, где последние годы жил и где умер Высотский.

Нам уже не под силу воскликнуть о его песнях вслед за Лермонтовым: «Что за звуки!» Мы можем лишь беспомощно пожать плечами и самим себе задать риторический вопрос: «Что за звуки?»

Добросовестный обыватель. Общественный деятель Василий Иванович Розенштраух (1793–1870)

Иностранцы в Москву приходили и уходили, а если поселялись навсегда, то становились обыкновенными обывателями и, как и большинство москвичей, не принадлежащих к сословию вельможных особ или литераторов, уходя в вечность, удостаивались, что было реже, краткого некролога в «Московских ведомостях» или, что было несравненно чаще, краткой надписи на могильном камне кладбища Введенских гор. Исключение составляли такие безумцы в любви к ближнему, как тюремный врач Федор Петрович Гааз, или безумцы в любви к науке, как граф Яков Велимович Брюс,

Василий Иванович Розенштраух не принадлежал ни к тем, ни к другим, хоть не пренебрегал ни делом благотворительности, ни учености. Он родился в Голландии в сентябре 1793 года в купеческой семье, учился фармацепии в Дерптском университете (1816 год) и продолжал коммерческую деятельность отца до своего отъезда в 1828 году в Москву, где с доктором Лодером они устроили Заведение искусственных минеральных вод, на протяжении сорока лет приносившее пользу нуждающимся в подобном лечении, но не имеющим возможности выбраться за границу.

Несколько десятилетий Розенштраух с честью и пользой нес общественную службу в Москве — в Тюремном комитете вместе с доктором Гаазом, Глазной больнице, одним из основателей которой он был, Комитете по продовольствованию арестантов, Комитете для призрения просящих милостыню. Несколько лет заведовал продовольствием Московского университета, четыре десятилетия был президентом церковного совета при лютеранской церкви Святого Михаила и попечителем ее школ.

Благодаря честности, купеческой сноровке и значительному собственному капиталу Розенштраух во многих благотворительных учреждениях состоял казначеем или содействовал сбору капиталов на их содержание. Кроме того, с 1829 по 1866 год он исправлял в Москве должность генерального прусского консула. «Дом его открыт был для всех знакомых, — вспоминал Михаил Погодин. — Лодер, Гамель, Пфелер, Маркус — имена, памятные в Москве, — были почти его нахлебниками».

Скончался Василий Иванович 3 июня 1870 года, оставив

после себя на земле, кроме доброй памяти, трех сыновей, пять дочерей, шестнадцать внуков и одного правнука.

Патриарх московских зодчих. Архитектор Михаил Доримедонтович Быковский (1801–1885)

О Боге — создателе мира — говорили: «Всех тварей премудрый архитектор». Слово «архитектор» всегда было уважительным, с долей зависти, ведь без людей этой уникальной профессии не построишь ни барской усадьбы, ни приходского храма. За умелый труд их ждали и слава, и приличный заработок. В Москве чаще других повторяли имя итальянца Фьораванти Аристотеля — создателя Успенского Кремлевского собора. Хвалились и другими иностранцами — Алевиз, Марко Руф, Петр Соларио, — а своих доморощенных зодчих почитали за обыкновенных ремесленников. Иноземные, даже плохонькие, были завалены заказами. «Принужден нынешнего лета зачать каменный дом. Материалы все готовы, да архитекта не имею». Большинство чужеземцев трудились по зову российских монархов над возведением дворцов в Петербурге и его окрестностях, поэтому в Москве ощущалась большая нехватка в людях, умеющих на бумаге чертить оригинальные проекты зданий. Стране нужны были русские зодчие, и они появились в царствование императрицы Екатерины II и стали потихоньку теснить пришлых. Среди них талантливый ученик Растрелли А. Кокорин, воспитанники Академии художеств В. Баженов и И. Старов. В XIX веке уже за первых архитекторов даже в Петербурге признавали не итальянцев, а В. Стасова и К. Тона. Знали и москвичи последнего по колоссальному храму Христа Спасителя и Большому Кремлевскому дворцу, но почитали его творчество далеким от особенного московского духа. Другое дело, свой, тутошний зодчий М. Быковский. Его подрядить на работу считалось куда почетнее, чем петербургских подражателей иностранщине.

Михаил Доримедонтович Быковский родился 29 октября 1801 года на Плющихе, в доме медника Григорьева, где квартировала его семья. Отец занимался столярным делом, был хорошим резчиком по дереву и часто получал заказы на сооружение иконостасов. Сын в малом возрасте, еще не зная грамоты, выучился чертить планы и профили иконостасов. Мать, умевшая хорошо рисовать, втихомолку от мужа, не одобрявшего это пустячное развлечение, занималась с сыном живописью. До

пятнадцати лет он воспитывался дома, освоив не только грамоту и арифметику, но и французский язык у соседа Реми, а рисование и черчение — у художника Колосова. Но думал мальчик не об ученой карьере. «Любимой моей мечтой было уехать туда, куда на зиму улетают птицы. Восьми лет я начертал план моего заграничного домика, где я стал бы жить и принимать странников». Отец разрушил детские мечтания. Заприметив, что сын хорошо чертит, он отдал шестнадцатилетнего отрока в обучение к маститому зодчему Д. И. Жилярди. Дементий Иванович ленился заниматься с учеником, но, оценив его способности, помогал находить работу и заводить деловые знакомства.

В 1824 году умер отец, и Михаил Доримедонтович продолжил семейное иконостасное дело, чтобы прокормить мать Прасковью Петровну и младшего брата Александра. Попутно брал заказы на портреты карандашом и акварелью. Начал также заниматься составлением проектов зданий и благодаря таланту и упорному труду в тридцать лет получил звание академика за карантинный дом.

Наконец-то признание и сопутствующий ему приличный заработок отыскали Быковского. Он женился, поступил на службу чиновником особых поручений при генерал-губернаторе князе Д. В. Голицыне, стал преподавать в Дворцовом архитектурном училище и 16 октября 1836 года был назначен его директором. Спустя два года, 18 ноября 1838 года, ему удалось впервые вырваться за границу для пополнения профессиональных знаний.

Он посетил Берлин: «Увидев разумную и красивую архитектуру в этом городе, я упал духом… Я удивлялся всему в Берлине и выехал из него с чувством своей неспособности». Париж: «И вот я перед собором Богоматери. Изо всех, виденных мною до сего времени готических церквей, она лучшая. Но если эта церковь, столь прославленная, есть одно из величайших произведений Средних веков, то это еще большая причина не соглашаться с тем, что готическая архитектура лучше других выражает характер нашей религии». Истинное же восхищение вызвало у него итальянское зодчество: «Какое различие между Францией и Италией! Там любуешься вещами, все хочется перенять и приноровить к нашим строениям… Всё кажется мило и разнообразно, стараешься всё удержать в памяти, всё: формы, составы, способы исполнения, расположение. Одним словом, все подробности. В Италии же архитектура есть поэзия».

До заграничной поездки Быковский уже успел много построить в Москве: дворец и церковь в Марфине, здания Биржи на Ильинке, Мещанского училища, Земледельческой *школы,*

Горихвостовской богадельни… Теперь их вид не вызывал, как прежде, чувства довольства собою. «Меня хвалили и я считал себя хорошим архитектором, поездка за границу исцелила меня от этого самопочитания».

Чувство неудовлетворенности своим творчеством, желание работать лучше, чем прежде, — признак истинного таланта. Быковский возводит в сороковых-пятидесятых годах Голицынский пассаж, Варваринский приют, Странноприимный дом в Хамовниках, храмы в Зачатьевском, Покровском, Спасо-Бородинском монастырях и Воспитательном доме, колокольню Страстного монастыря; в шестидесятых — Ивановский монастырь и храм Троицы в Грязях на Покровке; в семидесятых — храмы в имении Молчановых и в Андрониковом монастыре.

За время своей долгой жизни Михаил Доримедонтович сменил несколько московских адресов. В начале сороковых годов он выстроил себе деревянный особняк на Садовой, близ Красных ворот, в 1846 году поселился в одноэтажном домике на углу Божедомки и 4-й Мещанской, позже, получив место старшего архитектора Опекунского совета, переехал на казенную квартиру в Воспитательном доме. И где бы он ни жил, в его комнатах всегда пахло кипарисом и ладаном, сияли в золоченых и серебряных ризах древние лики святых, чувствовалось особое, истинно московское религиозное настроение.

Заслуги М. Д. Быковского исчисляются не только множеством прекрасных зданий, но и основанием в 1867 году Московского архитектурного общества, в председатели которого выбрали именно его; изданием исследований зарубежных архитекторов и устройством множества архитектурных выставок. Он знаменит и своими учениками, талантливыми зодчими: Авдеев, Борников, Вивьен Старший, Гвоздев, Горский, Герасимов, Зыков, Лопыревский, Мартынов, Шохин. Не подвели отца и дети: старший сын Николай стал известным живописцем, а младший Константин — архитектором, председателем Общества любителей художеств и Архитектурного общества.

Скончался патриарх московских зодчих, как звали Михаила Доримедонтовича товарищи по работе, в глубокой старости 9 ноября 1885 года. Тело его давно превратилось в прах, но уцелели и радуют глаз более десятка его храмов и общественных зданий. Глядя на его творения, все новые и новые поколения архитекторов учатся постигать красоту и изящество русского зодчества.

Искра огня. Балетмейстер и танцовщик Адам Павлович Глушковский (1793 — между 1868 и 1870)

Человек научился танцевать раньше, чем говорить. Пляской выражали радость и печаль, призывали к охоте и бою, заявляли о своей любви и ненависти. Каждому народу можно дать характеристику, увидев его национальные танцы.

В России хороводы и задорные пляски были распространены так же широко, как певческое искусство. Но на русскую театральную сцену танец попал довольно поздно — в середине XVIII века, в представлениях итальянских и французских театральных групп. Особенно увлекались новшеством гвардейские офицеры. Возможно, церемониальные марши, в которых им частенько приходилось участвовать, гораздо ближе к балету, чем к военному делу? Гвардейцы были постоянными «поклонниками кулис» и красавиц-танцовщиц, которым бурно выражали восторги по поводу их фации и обаяния.

В Москве впервые театр песни и пляски открыл Локателли в 1759 году в деревянном здании у Красного пруда (возле нынешней Комсомольской площади). Но публика осталась равнодушной к игре паяцев, и антрепренер прогорел.

Гораздо больше любопытства у москвичей вызвал грандиозный балет, «радостное возвращение к аркадским пастухам и пастушкам богини весны», данный в 1762 году во время коронации Екатерины II. Хотя вряд ли постановка была удачной, ведь кроме профессиональных артистов в ней приняли участие знатнейшие вельможи, от которых трудно было ожидать воздушных пируэтов и антраша.

Постепенно балет стал входить в моду, помещики нанимали учителей для обучения красивым и быстрым «па» крепостных девок. Обе российские столицы наводнились заезжими заморскими плясунами, сам наследник престола цесаревич Павел Петрович не брезговал танцевать на придворной сцене.

Совместно с оперой балет был в постоянном репертуаре выстроенного в 1780 году московского Петровского театра (на его месте позже поставили Большой театр). Правда, многие благочестивые москвичи гнушались *позорищами и лицедействами,* почитая сценическое искусство за греховное. Да и с трудом эти первые и несовершенные представления можно было назвать

искусством, скорее причудами на потеху публики, ибо главное внимание устроители уделяли всяческим пиротехническим эффектам: огнедышащим вулканам, фейерверкам, взрывам и пальбе.

Когда Петровский театр сгорел в 1805 году, взялись за строительство нового, у Арбатских ворот, на сцене которого в феврале 1812 года в балете «Алжирцы, или Побежденные морские разбойники» дебютировал ученик знаменитого балетмейстера Дидло Адам Павлович Глушковский.

Начиная с 1814 года, когда после войны с французом в Москве возобновились театральные представления, Глушковский стал первым танцовщиком, балетмейстером и учителем театральной школы. Он летал Зефиром по сцене, блестяще играл в пантомимах, (мимика признавалась в то время главной составляющей балета), копировал на московской сцене петербургские балеты Дидло и ставил свои (на русские народные темы, по сюжетам произведений А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и др.), обучал искусству Терпсихоры будущих знаменитых московских артистов.

О том, что представляли собой тогдашние балеты, можно получить хотя бы смутное представление из афиши о бенефисе Глушковского 14 января 1816 года.

«В первый раз «Смерть Рожера, ужаснейшего атамана разбойников Богемских лесов, или Оправданная невинность несчастного сына ее Виктора», новый пантомимный трагический балет в 4-х действиях, сочинение господина Глушковского, взятый из романа «Виктор, или Дитя в лесу», сочинение господина Дюкре-Дюмениля, с принадлежащими к нему новыми венгерскими и каталонскими танцами, с поединками на шпагах, топорах со щитами, с борьбою и сражениями на саблях, с эволюциями и сражениями, сочинения господина Севенарда, с полковою музыкой и прочими украшениями. Музыка взята из лучших авторов, к ней приделаны голоса для оркестра императорской театральной дирекции капельмейстером Керцелием».

Слава балетмейстера и танцовщика сиюминутна — в рукоплескании балетоманов и подаренных букетах цветов. Постоянны лишь репетиции до седьмого пота, обучение пластике и мимике юных дарований. Среди учениц Глушковского на московской сцене в 1810 — 1820-х годах блистали Новицкая, Кроткова Третья, Лобанова, Лопухина и Татьяна Иванова, ставшая в 1816 году женой своего учителя (в нее страстно, но безответно был влюблен Денис Давыдов, посвятившей ей несколько стихотворений). «Кроме программ, оркестровых нот, рисунков

декораций, костюмов, оружия и прочих бутафорских вещей, — вспоминал о балетмейстерской работе Глушковского П. Куликов, — привозил партитуру для репетиционной скрипки, где как на клавираусцугах под каждым тактом были подписаны слова, что действующие лица делают, где стоят, где переходят, куда идут, что говорят (разумеется, пантомимой). Даже танцы, почти каждое па Глушковский знал на память».

Балетмейстеры, как бы сейчас сказали, были востребованы в высшем кругу общества — их приглашали на балы, так как дети смелее танцевали при учителе танцев. Когда дочь знатного барина становилась фрейлиной, опять требовался балетмейстер, который учил ее подходить к императорской чете, делать реверанс и отходить на положенное место. Вельможи обращались к нему, чтобы испросить в новом балете хорошую роль для своей фаворитки, дамы — в надежде, что он раскроет им секреты дворянских домов, где часто бывает.

В 1839 году Адам Павлович оставил службу при театре и жил на небольшую пенсию. Со временем ему пришлось продать собственный дом в Гранатном переулке и переселиться на Малую Никитскую, в приход церкви Георгия, что на Всполье, в дом чиновника Кедрова. Но отставной балетмейстер не унывал, продолжая обучать танцам юных барышень и наслаждаясь медленно текущей московской жизнью. На склоне лет он взялся писать воспоминания, которые завещал своему крестному отцу князю П. А. Вяземскому (в 1816 году он перешел из католичества в православие). Глушковский оказался незаурядным литератором, подметив множество любопытных подробностей в жизни допожарной Москвы. Жаль, что въедливые краеведы до сих пор не замечают этого удивительного живого бытописания нашей столицы начала XIX века. О водоснабжении… «Все знают, что прежде, как и ныне, нельзя было пить москворецкой воды весною и осенью, потому что с разных фабрик и улиц в нее текла разная нечистота. В то время, когда еще не было фонтанов с мытищинской водой, богатые люди посылали кучеров с бочками за водой за заставу на Три Горы — там был колодец с самой легкой и здоровой водой. На право получения воды выдавался хозяином этого колодца годовой билет с платою 10 рублей на ассигнации. Бедный же народ, с прискорбием души скажу, должен был пить вредную для здоровья воду, потому что не имел способов приобрести трехгорную». О пассажирском транспорте… «Тротуары были кирпичные, деревянные, худо устроенные и притом ветхие, на них легко было переломить ногу. Во многих местах мостовой не было, пешеходы в осеннее время увязали в грязи по колено, во избежание чего бедные нехотя должны были

нанимать возчиков. В это время для низшего и среднего сословия на биржах стояли преоригинальные экипажи, а именно ломовые дроги, на которых теперь возят дрова, различные тяжести и при переезде с одного места на другое мебель с прочими вещами. Впрочем, у этих экипажей был своего рода комфорт для пассажиров. Вдоль дрог клалась доска для сидения, а так как у них не было дрожечных крыльев, то осенью и весною каждый возчик имел большую тряпку, которой пеленал седокам ноги для предохранения от грязи. Первому седоку было еще сносно, когда его пеленали в чистую тряпицу, но каково было переносить это следующим, потому что возчики тряпок не меняли. Были биржи, на которых стояли рессорные дрожки с крыльями, но крытых пролеток в то время не было. Кому нужен был крытый экипаж, карета или коляска, тот должен был нанимать их на постоялых дворах». О балах… «В 1811 году у некоторых степных дворян и богатых людей сохранялись еще обычаи екатерининских времен. На балы и купеческие свадьбы приглашали гайдуков в богатых ливреях. Ростом они были не менее трех аршин (2 м 10 см). Обязанность их состояла в том, чтобы поправлять восковые свечи в люстрах и стенных кенкетах без помощи лесенок. Когда они протягивали руки к люстре или стенным кенкетам, их огромный рост приводил всех в удивление. Во время обеда или ужина, когда следовало пить шампанское за здоровье гостей, гайдук являлся с полновесным серебряным подносом, на котором стояли серебряные вызолоченные бокалы, а домовый дворецкий подходил к нему с бутылкой шампанского и наливал в бокалы вино, которое гости пили при звуке труб и литавр». О Тверском бульваре… «В осеннее время у московских аристократов любимым местом гуляний был Тверской бульвар. Вечером в хорошую погоду князь Михаил Васильевич Голицын еженедельно освещал его за свой счет шкаликами, разноцветными фонарями, а на обоих концах бульвара на столбах были шлифованные металлические круглые щиты, отчего свет отражался на большое пространство бульвара. Эти щиты назывались бычачий глаз. У князя был роговой оркестр музыкантов, который во время иллюминации играл разные музыкальные пьесы». О трактирах… «Охота до голубей была так велика, что не было купеческого дома, в котором не было бы голубятни. Соловьи в трактирах висели ценою до тысячи рублей. От них хозяева имели большие выгоды, потому что охотники до соловьев приносили молодых птиц для слушанья напева тысячного соловья и за это платили порядочные деньги. Выходило, что дорогой соловей не только окупался хозяину в год, но и приносил ему барыш». О Воробьевых горах… «В старину многим нравилось в летнее время народное

гулянье на Воробьевых горах. С них видна вся Москва как на ладони и представляет прекрасную картину. В это время горы были покрыты лесом, который укрывал гуляющих от летнего жара. Местность сухая, высокая и лесистая делала воздух здоровым. Под горами протекала Москва-река, на которой были устроены купальни для приезжающих. На горах были раскинуты палатки цыган и торгующих съестными и питейными продуктами. Пиво было бархатное, розовое, вино крепкое, хлебное, здоровое, без всякой примеси, так что, выпив стакан, можно было сказать, что оно было дешево и сердито… Теперь вековой дубовый лес вырублен, горы во многих местах изрыты, осталось только одно воспоминание о прошлом веселом времени».

Свои воспоминания Глушковский заканчивал, когда ему шел семьдесят шестой год. Несмотря на преклонный возраст, он остался бодр душой.

«Пролетела моя молодость, голова покрылась серебристым снегом, а вместе с летами выкипела бурная и шумная веселость. Но искра огня, оживлявшего меня в былые времена, сохранилась и до сих пор».

Как хорошо, когда в старости человек не предается унынию и безделью, а сохраняет, подобно Глушковскому, *искру огня.* Она никогда не гаснет, наверное, только у тех, кто привык весь свой век проводить в трудах и заботах, кто не устает радоваться лишь однажды данной нам жизни.

Именитая благотворительница. Председатель Дамского попечительного о бедных общества княгиня Софья Степановна Щербатова (1798–1885)

Статс-дама княгиня Софья Степановна Щербатова и по роду, и по замужеству принадлежала к самым аристократическим семьям Москвы. Дед граф Степан Федорович Апраксин — генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией в Семилетней войне 1756–1763 годов. Отец граф Степан Степанович Апраксин — генерал от кавалерии, один из самых гостеприимных и богатых московских вельмож. Муж князь Алексей Григорьевич Щербатов — генерал от инфантерии, московский военный генерал-губернатор в 1844–1848 годах. Сын князь Александр Алексеевич — московский городской голова в 1863–1869 годах.

Альбом Софьи Степановны заполняли стихами, каламбурами, рисунками и прочими экспромтами знаменитые литераторы Пушкин, Жуковский, Вяземский, Гоголь, Мицкевич, Тютчев, историк Гизо, композиторы Лист, Россини, Мейербер, оперные певцы Рубини и Полина Виардо, художники Брюллов и Кипренский. Среди ее гостей встречалось немало других знаменитостей. Но прославилась она не родней, не богатством и не дружбой со жрецами искусства.

В 1844 году, когда к генерал-губернаторскому дому по обычаю со всех концов Москвы собрались нищие за получением пособий, возвращавшаяся домой княгиня была поражена многочисленной толпой бедных москвичей. Софья Степановна решила организовать четкую систему благотворительности и поставить дело так, чтобы постоянные пособия получали истинно нуждающиеся, а не нищие по ремеслу. Она собрала вокруг себя дам из аристократических семей, благотворителей, врачей и на исходе 1844 года основала Дамское попечительное о бедных общество, с отделениями по числу городских частей. Во главе каждого отделения стояла дама-попечительница и три штатных служащих: врач, секретарь и казначей.

Началась работа. На Донской улице был основан приют для призрения дряхлых и неизлечимо больных женщин (преимущественно из образованного класса). С той же целью

устроили палату при Сущевском отделении Общества. По мере возрастания средств и другие районные отделения начали учреждать богадельни для призрения престарелых женщин, приюты для бездомных женщин с детьми, школы для обучения детей бедных родителей. Благодаря инициативе и пожертвованиям Софьи Степановны возникли также городские приюты для слепых женщин и детей, для детей, страдающих слабоумием; Убежище святой Марии Магдалины для женщин, *желающих покинуть путь разврата* (преимущественно для несовершеннолетних).

За первые сорок лет филантропической деятельности Дамским попечительным о бедных обществом было открыто в Москве тридцать шесть благотворительных учреждений. Среди учебных заведений это, в первую очередь, Мариинское и Александро-Мариинское женские училища. Кроме того, княгиня Щербатова основала Дамский попечительный о тюрьмах комитет, где состояла первой председательницей, но позже передала свои полномочия княгине Наталье Владимировне Долгоруковой, всецело сосредоточившись на помощи бедным москвичам. Ей также обязано возникновением Комиссаровское техническое училище.

Софья Степановна чувствовала, что, сколько ни трудись для бедняков, страдающих телесными и духовными недугами, — все мало. Она мечтала об устройстве при каждом церковном приходе центра местной благотворительности. В последние годы жизни княгиня ежемесячно в доме Барыковской богадельни принимала убогих посетительниц, расспрашивала их о нуждах и помогала личными средствами. Пережив супруга почти на сорок лет, Софья Степановна до конца дней сохраняла ясный ум и жажду творчества. За неделю до смерти она написала завещание, после чего тихо скончалась 3 февраля 1885 года.

Сын Софьи Степановны князь А. А. Щербатов 30 августа 1885 года уведомил Опекунский совет, что наследственную усадьбу матери (Садово-Кудринская улица, дом № 15), по соглашению с племянниками, они передают для устройства детской больницы. Условия щедрого подарка городу были просты и легко выполнимы вплоть до 1917 года: никаких строений усадьбы не продавать и не изменять их первоначального назначения для лечения детей, в память княгини Софьи Степановны именовать больницу Софийской, а если при больнице будет устроена церковь, то освятить ее во имя мучениц Софии и Татианы.

Ныне Софийская больница называется Городской детской клинической больницей № 13 имени Н. Ф. Филатова, а ее храм Святых мучениц Софии и Татианы в 1990 году из морга

переоборудовали под буфет и ряд служебных помещений. По сообщению внука именитой благотворительницы князя С. А. Щербатова, интереснейшие рукописные материалы, как самой Софьи Степановны, так и ее мужа и сына Александра, пропали из его дома на Новинском бульваре в годы революционного лихолетья.

Из рода Тучковых. Генерал-губернатор Павел Алексеевич Тучков (1803–1864)

Во времена Суворова и Румянцева жил в Москве их боевой соратник, известный своим правдолюбием инженер-генерал-поручик Алексей Васильевич Тучков, чей дворянский род шел от новгородского боярина Василия Борисовича Морозова по прозванию Тучко. Всех пятерых сыновей Алексей Васильевич определил по военной части, наказав беречь честь смолоду и верно служить отечеству. Все пятеро со временем стали генералами и, несмотря на ненависть к ним всесильного Аракчеева и тяжелую боевую службу, ни в малых, ни в больших делах не опозорили своих мундиров.

1812 год стал для Тучковых, как и для всей России, годом величайшего испытания, годом славы и горя.

«Наступают времена Минина и Пожарского! — писал участник героической войны Федор Глинка. — Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный, после двухсотлетнего сна, пробуждается, чуя грозу военную».

Вдова инженер-генерал-поручика Тучкова благословила на войну с Наполеоном четырех сыновей. Пятый, отставной генерал-майор Алексей Тучков, служивший предводителем дворянства в Звенигороде, приехал в деревню к матери вскоре после Бородинской битвы. Не дав времени поздороваться, мать остановила на сыне пристальный взгляд:

— Говори правду: что Николай?

Генерал-лейтенант, командующий третьим пехотным корпусом. В день Бородинского сражения находился на крайнем левом фланге в районе Утицкого кургана, В критический момент боя возглавил атаку пехоты и был смертельно ранен,

— Он ранен… Тяжело ранен.

— Он жив?

В ответ — молчание.

— Сергей?

Генерал-майор, дежурный генерал Молдавский армии. За «отличное благоразумие и военное искусство» представлен Кутузовым к ордену Святой Анны первого класса. Основатель города возле покоренной турецкой крепости Измаил, императорским указом наименованного Тучковым.

— Жив.

— Павел?

Генерал-майор, командир бригады. Возглавляя авангард второй колонны 1-й Западной армии, отразил атаки пехотных и кавалерийских неприятельских корпусов и в течение дня удерживал крайне важную для отходившей от Смоленска русской армии позицию при Валутиной Горе. Во время последней контратаки, возглавленной им, был тяжело ранен и взят в плен.

— Ранен, в плену.

— Александр?

Генерал-майор, командир бригады. Погиб на Бородинском поле во время отражения одной из неприятельских атак на Багратионовы флеши, когда со знаменем Ревельского пехотного полка вел бригаду в контратаку.

В ответ — молчание.

Мать встала с кресла, опустилась на колени, провела рукой по лицу:

— Ослепла… И слава Богу. Все равно их нет и уже не будет.

Настали черные, как ночи, дни. Но все сыновья продолжали жить в сердце матери, в сердцах родных и близких. О военной доблести Тучковых часто говорили в семье. «Все это я выслушивал с особой жадностью в самом младенчестве, — вспоминал их племянник Павел Алексеевич, — и с той ранней поры родилась во мне внутренняя гордость принадлежать имени Тучковых».

Родившийся 7 апреля 1803 года, в шестнадцать лет он уже оставил родительский дом и начал службу офицером в Могилеве, где размещалась главная квартира 1-й армии. В 1823 году получил чин поручика, в 1825-м — штабс-капитана, участвовал в боях с турками в 1828 году, с поляками в 1831-м.

«Долги обременяли семью… Сначала будучи в самом большом довольстве и даже в роскоши для молодого человека, я должен был умерять до того мои расходы, что были годы, когда я ограничивался одним жалованьем по службе».

В 1840 году Павел Алексеевич в чине генерал-майора вышел в отставку и поступил на гражданскую службу (членом Совета Министерства государственных имуществ). Но по приказу императора в 1844 году вновь поступает на военную службу и становится директором Военно-топографического депо Генерального штаба. В 1854 году он уже генерал-лейтенант, а в 1858-м в чине генерала от инфантерии приступил к исполнению должности московского военного генерал-губернатора, в коей и скончался 21 января 1864 года.

Но чтобы представить себе человека, мало знать его послужной список, необходимо услышать мнение о нем

современников.

Чиновники, вечно стремящиеся взобраться на следующую ступеньку служебной лестницы, недоумевали, почему он отказался от одной из самых высших государственных должностей — наместника Царства Польского. Здесь и власть, и почет, и деньги. Братья двух царей (великие князья Константин Павлович и Константин Николаевич), и те не брезговали верховодить Польшей. Тучков же честно перечислил раздосадованному на него Александру II причины своего отказа: не знаю совершенно края и его многосложной администрации, не имею ни дипломатических способностей, ни дара слова с чужими мне людьми.

Друзья и родные подчеркивали врожденную застенчивость Тучкова, он даже благодеяния делал как-то ненароком, отчего о них мало кому было известно. Придет, к примеру, к нему просить прибавки к пенсии отставной офицер. Павел Алексеевич знает, что по закону ничего сделать невозможно. Но и офицера жаль… Отлучится как бы по делу в свой кабинет, вложит тайком в прошение сто рублей и вернет его с виноватым отказом. И только дома проситель обнаружит радостный подарок.

Москвичи, кто победнее, были благодарны Тучкову за резкое снижение цен на дрова, учреждение комиссии для внезапного обследования мастерских по проверке отношений хозяев к малолетним ученикам, ужесточение наказаний нанимателям, неисправно платящим заработки рабочим. Те, кто побогаче, видели другую сторону благодеяний Тучкова — переустройство бульваров и мостовых, открытие Адресного стола, где можно узнать местожительство любого москвича, начало работы телеграфа. Просвещенные горожане приветствовали основание Тучковым Городского статистического комитета, училища для глухонемых, новых учебных заведений.

И буквально все знали и верили, что Тучков с женой Елизаветой Ивановной и детьми живет весьма скромно и не может себе и помыслить обогатиться за счет казны или взяток. Александр II, будучи в Москве, удивился, что генерал-губернатор не имеет обыкновенной дачи и на лето снимает ее у более богатых горожан в Петровском парке. Пришлось Москве, когда умер кристально честный генерал-губернатор, открыть «подписку на расходы по погребению». Собранных денег хватило с лихвой, осталось даже на памятник над могилой в Новодевичьем монастыре.

«Истинно верующий и благочестивый, — говорил при погребении Тучкова священник Алексей Ключарев, — кроткий и смиренный Павел Алексеевич, служа в Первопрестольной

представителем царя, обличенный монаршим доверием и высокою властью, можно сказать, носил дарованную ему власть и честь на себе, а не в себе. Власть не проникала в его душу, не приросла в ней и потому не воздымала и не надмевала ее. Оттого и в его властных распоряжениях и действиях не видно было, как нередко случается, вмешательства личных свойств души, упоенной властью: надменности, горделивости, гневливости».

Изящный господин. Врач Александр Иванович Овер (1804–1864)

Если бы единственным источником истории России XIX века являлись анекдоты, то, без сомнения, двумя главными врагами человечества стали бы врачи и тещи. Тещ обсуждать не будем — это сугубо личное дело каждого. Предпочтем семейным дрязгам общественные.

Как только не смеялись над своими эскулапами соотечественники! Особенно отмечали их сребролюбие.

— Почему вы, коллега, так подробно расспрашиваете пациентов об образе жизни? Разве это имеет особое значение для диагноза?

— Для диагноза нет, но по образу жизни я сужу, сколько можно взять с пациента за визит.

— Ну, батюшка, — жалуется провинциал москвичу, — дорогие же у вас доктора! Один с меня за неделю столько содрал, что в провинции я на эти деньги мог бы года четыре болеть!

Самым модным, а значит, и дорогим врачом в Москве середины XIX века был Овер. Немало людей старались поселиться возле его дома, а летом снять дачу в Петровском парке, тоже рядом с ним, уверенные в непогрешимости диагноза Александра Ивановича и его умении вылечить любого больного. За визит ему в великосветских домах платили по десять — пятнадцать рублей, заискивали на виду, а за глаза судачили, какой он скряга и богач.

Под предлогом лечения Овера часто приглашали лишь для того, чтобы лицезреть его. Во-первых, он был красавец, во-вторых, француз. Изящный господин с манерами знатного барина, с черными как смоль бакенбардами, плечистый и складный, всегда элегантно одетый и надушенный, мастер легкого разговора и даже, что невероятно в среде врачей, камергер двора его императорского величества. Дамы сходили с ума от одного его вида и не жалели ассигнаций ради визита к ним врачебного светила. Овер же, как посмеивались аптекари, которым мнимые больные приносили его рецепты, прописывал притворщицам перегнанную воду с малиновым или вишневым сиропом или невинные порошки. (Полноты ради заметим, что в те далекие застенчивые времена врачу полагалось осматривать дам лишь одетыми, поэтому мужчины, раздевавшиеся догола, имели шанс получить более точный диагноз.)

Практика Овера была столь обширна, что многим приходилось отказывать. Тогда наиболее предприимчивые дамы и

действительно больные люди обращались с подарками к его кучеру, который в поездках распоряжался хозяином по своему усмотрению, уверяя, что накануне тот обещал быть именно там, куда его везут.

Об Овере говорили, что он обладает даром предвидения, его слову верили, как последней инстанции. Но всеобщему уважению и преклонению всегда сопутствуют наветы завистников. Один из коллег-медиков, тех, что всегда собственное нерадение к службе объясняют недостатками более талантливых и трудолюбивых людей, говаривал: «Овер был очень неприятен, чтобы не сказать более. Красота его была даже, я нахожу, несколько противная — французская, холодная, сухая, непривлекательная красота». Сплетничали, что Александр Иванович носит парик и даже, из-за скупости, один — по будням, а другой — по праздникам.

Но слухи да анекдоты — ненадежный источник, когда берешься описывать жизнь человека. Обратимся к более достоверным фактам.

Отец знаменитого московского врача бежал из французской тюрьмы, где его ожидала гильотина за верность королю, и поступил на службу наставником к русскому помещику Глебову, у которого в имении Панино Крапивинского уезда Тульской губернии 18 сентября 1804 года и родился Саша. В четыре года мальчик лишился отца, а значит, и средств к существованию, и в десять лет был взят на воспитание в Московскую коммерческую академию. С матерью и няней Акулиной Тихоновной теперь он жил в доме Решетникова в Столешниковом переулке, а по утрам ходил к Крымскому броду к Семену Мартыновичу Ивашковскому, бесплатно обучавшему его греческому языку. Тоже бесплатно обучал его наукам врач Вильгельм Константинович Шмиц де Пре, во многом благодаря которому Александр Иванович в девятнадцать лет закончил медицинский факультет Московского университета и был удостоен степени доктора медицины в Московской медико-хирургической академии. Потом он два года слушал лекции медицинских светил в Страсбурге и практиковался в местной городской больнице, еще два года занимался хирургией в Париже, побывал в Англии, Италии и Германии и наконец вернулся домой в мае 1829 года. Мать его к этому времени переселилась на родину в Страсбург, и Александр Иванович со своей старой няней поселился на Трубе, в мезонине дома приятеля. Первоначальная врачебная практика молодого врача состояла из монаха Симонова монастыря и купца, жившего возле Марьиной рощи, каждый из которых платил по полтиннику за визит. Но Овер не унывал, несмотря на нищенское существование. Равнодушный к картам, клубным вечеринкам и

театру, он всецело посвящал свои досуги пополнению медицинских знаний.

В 1830 году, когда Москву посетила холера, Овер был назначен старшим врачом Басманной временной холерной больницы, с 1831 года работает хирургом в Екатерининской больнице, в 1832–1833 годах исполняет должность помощника профессора хирургической клиники Московского университета, в 1833 году поступает на службу старшим врачом Московской городской больницы, в 1839 году назначен ординарным профессором терапевтической клиники при Московской медико-хирургической академии, в 1842 году возглавил терапевтическую кафедру при университете, в 1846 году утвержден медицинским инспектором московских благотворительных учреждений императрицы Марии, в 1850 году становится инспектором городских больниц гражданского ведомства. И апофеоз славы — в 1847–1852 годах издает на латинском языке огромный медицинский труд, за который удостоился орденов более десятка государств.

Сотни блестящих хирургических операций провел Овер, тысячам больным поставил правильный диагноз, издал выдающийся научный труд, был талантливым лектором (хотя, надо признаться, часто пренебрегал своими преподавательскими обязанностями).

Завистники придирались, что он француз и католик. Но мало кто с таким жаром, как Овер, отстаивал перед иностранцами свое Отечество — Россию. Вся его жизнь с младенчества прошла рядом с русской няней Акулиной Тихоновной. Она умерла лет за пять до него. Александр Иванович похоронил ее в селе Всесвятском, и летом, когда жил на даче в Петровском парке, часто бывал у няни на могилке, помня слова старушки: «Смотри, Саша, когда я умру, ходи ко мне на могилку курить свою цигарочку».

Сплетники упрекали Овера за богатство и скупость. Но знаменитый доктор достиг всего добросовестным трудом и дарованием. В домашней же жизни любил простоту. После его смерти обнаружилось, что он помогал многим бедным, положив одним от себя пансион и выдавая другим единовременное пособие. Многих неимущих он лечил бесплатно, устраивал в богадельни. Слухи же о его несметных богатствах оказались, мягко говоря, преувеличенными. Он оставил жене и дочери небольшое наследство, почти все заключавшееся в двух домах на Молчановке и даче в Петровском парке.

Чего только не судачили об Овере «устные источники»! Уверяли, например, что он прозорливец и не только безошибочно определяет болезнь, но и обладает даром предвидения в

обыденной жизни. С этим преданием, хотя бы отчасти, нельзя не согласиться. Когда Александр Иванович видел один из своих навязчивых снов — поле, покрытое тюльпанами, — вскоре умирал кто-нибудь из родных или близких. Последний раз неотвязный сон повторился за несколько дней до его собственной кончины, которая настигла Овера 23 декабря 1864 года. Похоронили Александра Ивановича в часовенке, построенной им еще при жизни на Введенском кладбище. Ее можно увидеть и ныне, разграбленную и осквернённую, но все же оставшуюся на века памятником замечательному московскому врачу.

Весельчак. Водевилист и актер Дмитрий Тимофеевич Ленский (1805–1860)

В тридцатых-сороковых годах XIX века московские артисты и театральные завсегдатаи любили собираться неподалеку от Театральной площади, в кофейне Ивана Артамоновича Баженова, тестя знаменитого трагика Мочалова. Кроме бильярда и кофе, здесь можно было развлечься свежим нумером «Северной пчелы» и «Московского наблюдателя», проявить московский патриотизм, в сотый раз охаивая петербургскую сцену, побеседовать с любимцами публики, если они в хорошем духе, — Щепкиным, Мочаловым, Живокини, Садовским. Желающие могли заказать завтрак или обед, который приносили из «Московского трактира» Печкина, соединенного с кофейней особым коридором.

Завсегдатаем кофейни был артист Малого театра Дмитрий Тимофеевич Ленский. На самом деле никакой он не Ленский, а Воробьев, сын зажиточного московского купца, но брезговал родовой фамилией с тех пор, как 18 апреля 1824 года дебютировал на казенной сцене в доме Пашкова на Моховой. Глядя с грустью на портрет своего отца, Ленский часто вздыхал: «Много горя я принес старику». Еще бы! Родитель отдал его в Практическую академию коммерческих наук, по окончании которой пристроил в контору английского банкира Петерсигля. И вдруг сын променял обеспеченное будущее гостино-дворного купца на скудную жизнь артиста. Да и артист-то из него получился средней руки. Единственная роль, в которой Ленский был бесподобен, — Молчалин в комедии Грибоедова. Но, как и подавляющее число деятелей театра, несостоявшийся коммерсант считал себя выдающимся мастером сцены. Роли он, конечно, получал, — великих артистов раз-два и обчелся, — но настоящий талант Ленского был в сочинительстве, он писал водевили, словно орехи щелкал.

Водевиль — драматическое зрелище с озорными песнями, каламбурами, забавной бытовой жизнью — занесен в Россию из Франции и нашел в столицах и провинциальных городах плодотворную почву. С начала XIX века он становится непременной принадлежностью бенефисного представления. Ленский посмеивался:

Все, чтоб ни говорили,

В журналах там и тут,
А нынче водевили
Спектаклям жизнь дают.

Без водевильных вздохов
И бенефис нейдет.
А бенефис — актеров
Единственный доход.

Им написано более ста водевилей, исключительно переделки с французского и, по мнению знатоков, превосходящие оригинал. Под его пером рантье превращался в купца с Ножевой линии, гризетка — в перчаточницу с Кузнецкого моста, парижские улочки — в Шаболовку и Мясницкую. Некоторые из его водевилей, например «Лев Гурыч Синичкин», не сходят со сцены до сих пор.

Друзья постоянно обременяли Ленского работой сочинителя, вымаливая «что-нибудь новенькое» для своего очередного бенефиса. Долги тоже заставляли браться за перо — веселая жизнь, шампанское, артистические пикники требовали все новых и новых денег. «Друг мой, — пишет он знаменитому артисту Каратыгину, называя его по-приятельски Петей Каратыжкой, — разве я чувствую в себе литературное призвание и дорожу своими бумажными чадами? Черт с ними! Я сам их терпеть не могу, а пишу чуть-чуть не из крайности: ведь я жалованья-то получаю всего три тысячи, а прожить необходимо должен втрое. Так поневоле будешь промышлять куплетцами! Впрочем, как я ни тороплюсь, а здравого смысла, кажется, нигде не пропускаю и всегда немножко думаю о том, что делаю… А талант — дело другое, это Богом дается!»

Ленский был не прав по отношению к себе, талант у него был незаурядный, и не только водевилиста…

В Москве не было второго такого человека, обладавшего великим даром неподдельного юмора. «Он был весельчак и умница», — говорил словами Гамлета о Йорике Каратыгин.

Ленский был душой общества, непременный участник веселых артистических пирушек, приятный собеседник и острый на язык насмешник. Но злого сердца он не имел, первым раскаивался в эпиграммах на знакомых, которые сыпались из него, как из рога изобилия. Когда кто-нибудь причитал, что его обидел Ленский, над ним начинали хохотать: «Ну разве можно обижаться на Ленского?!»

Москвичи из уст в уста передавали его остроты.

* * *

Ленский был приглашен артистом Ильей Васильевичем Орловым на свою свадьбу. В церкви, по окончании венчания, он вместе с другими подошел к новобрачным и вместо обычного поздравления произнес экспромт:

Илья, Васильев сын, Орлов
Женился для приплода.
Посмотрим же ребят
Орловского завода!

* * *

Ленский приезжает в театр с торжественного обеда по случаю очередного юбилея. — Как там? — спрашивают.

Обед был очень превосходен,
И много было там ума,
И речи говорил Погодин,
А деньги заплатил Кузьма[7].

* * *

Одна талантливая артистка, живя с разгульным и грубым мужем, махнула рукой на свою репутацию и окружила себя множеством поклонников. Ленский пошутил:

Она — жена, каких немного,
А он — пример мужей.
Она — проезжая дорога,
А он — кабак на ней.

* * *

Как-то Ленскому пришлось побывать по делам у важного московского вельможи. Его ввели в приемную, где уже ожидало несколько человек и среди них два генерала. Время шло, вельможа не выходил, посетители зевали. Самым нетерпеливым оказался старенький генерал, раздраженно колотивший по коленям треуголкой с султаном, да так усердно, что из нее выпало несколько перьев. Ленский поднял одно и, внимательно разглядывая, сквозь зубы процедил:

— Вишь, как замучилась публика, даже генералы линять начали.

На Ленского невозможно было сердиться, хоть он был

взбалмошный, непостоянный, вспыльчивый.

В пылу горячности порой
Я иногда совру обидно,
И после пред самим собой
За это мне бывает стыдно.

Тысячи его эпиграмм на бездарных артистов и знаменитого Щепкина, мелких чиновников и всесильного начальника театрального репертуара Верстовского забывались через месяц-другой. Безалаберный московский острослов не придавал своему замечательному таланту никакого значения. А жаль! Его точные и едкие эпиграммы выставляли напоказ не совсем приглядные черточки характера известных москвичей, которые не встретишь в их старческих воспоминаниях или юбилейных статьях восторженных поклонников. Но образ весельчака Ленского остался в сердцах тысяч москвичей. Шумный и острый на язык, он скрашивал солдафонские порядки, насаждавшиеся в городе генерал-губернатором Закревским.

В самые грустные минуты жизни Ленский вдруг разражался шуткой и приводил окружающих к неудержимому хохоту. Написал даже эпитафию на самого себя:

Он никому не делал зла
И пил шампанское рекою.
Что похвала и что хула
Тому, кто спрятан под землею?

Хорош ли был он или нет,
Своим и сердцем и делами
Он перед Богом даст ответ,
А уж, конечно, не пред вами.

Но на его могильном памятнике на Ваганьковском кладбище друзья поместили другую эпитафию, которую можно прочитать и ныне (Васильевская аллея, угол 6-го участка):

Об этот камень лишь ступилося перо,
Которым он писал не злобно, но остро.

Сатирический художник. Карикатурист Николай Александрович Степанов (1807–1877)

В истории русской культуры XIX века прочно обосновались имена писателей-сатириков во главе с М.Е. Салтыковым-Щедриным. Как и у всех просвещенных народов, в России любили читать стихи и памфлеты, где высмеивались министры и генералы, которые не то что руки, мизинца не подадут при встрече с простоватым обывателем. Любили гневные поэтические строки Н. А. Некрасова, зубодробительные статьи Д. И. Писарева, иронические «Сочинения Козьмы Пруткова». Да что говорить о талантах, даже посредственный стихотворец Василий Курочкин благодаря обличительным виршам до сих пор почитается за поэта чуть ли не первой величины. А вот имя Николая Александровича Степанова, вместе с Курочкиным выпустившего в 1859 году первый номер юмористического журнала «Искры», покрыто забвением. Почему? Да ведь он не был литератором, он рисовал, притом не приукрашенные портреты вельмож, а карикатуры, что всегда почиталось за низкое искусство, не достойное долгой памяти.

Карикатура — рисунок, изображающий человека или событие в смешном виде, — известна в Европе с XVI столетия. В России впервые упомянуто о подобном в 1765 году в сообщении, посланном императрице Екатерине II, что появились «разные каррикатуры». Но тотчас же об этом и забыли. Первые русские карикатуры, дошедшие до наших дней, — это рисунки Теребенева и Иванова на поход Наполеона в Россию. И вновь затишье до начала 1840-х годов, когда появился альманах карикатур Даля «Похождения Виольдамура» — незатейливые рисунки с юмористическими подписями. Истинным же мастером карикатуры и создателем самого популярного московского сатирического журнала «Будильник» стал Н. А. Степанов.

Он родился 21 апреля 1807 года в Калуге. Воспитывался в Московском университетском благородном пансионе, по окончании которого поступил на службу в Департамент государственного казначейства. С 1832 года состоит чиновником особых поручений при губернаторе в Енисейской губернии, затем служит в Саратове и вновь в Петербурге в Департаменте государственного казначейства. Погруженный в мир чиновников

средней руки, Николай Александрович просто не мог не начать рисовать на них карикатуры и сочинять юмористические стихи. В 1840-х годах он принялся лепить гротескные бюсты наиболее популярных современников — Глинки, Брюллова, Кукольника, князя Вяземского, Каратыгина, князя Одоевского, Греча, Булгарина, графа Соллогуба, Айвазовского, Григоровича, Белинского, Некрасова — всего около восьмидесяти. Но за истинных художников признавали лишь тех, кто подвизался на ниве реалистического искусства, поэтому в доказательство, что он не шарлатан и не ремесленник, Степанов стал создавать также реалистические бюсты — Суворова, Державина, Ломоносова, Карамзина, Крылова, Пушкина, Глинки — всего около сорока, в четверть натуральной величины.

Но нравился он современникам в первую очередь как автор трех с лишним тысяч карикатур, помещенных в журналах «Ералаш», «Сын Отечества», «Иллюстрированный альманах», «Современник», «Искры», «Будильник» и вышедших отдельными изданиями. Его рисунки в основном бичевали социальные пороки или являлись политическими шаржами на иностранных политиков, злобствовавших на Россию. Степанов не был «передовым бойцом новых идей», его творчество имело общественные задачи, во многом совпадавшие с внешней и внутренней политикой государства. Может быть, это и было одной из причин забвения его творчества. Ведь стоит пустить по рукам непристойный шарж на императора, и сразу обретешь популярность, хотя и рискуешь на год-другой угодить в ссылку. Степанову же более нравилось рисовать шаржи на друзей, которые он потом собрал и издал в альбоме «Знакомые». Он, по наблюдению И. И. Панаева, «мастерски схватил комические стороны Глинки, Брюллова и Кукольника. Он представил всю жизнь их в очень злых, метких и остроумных карикатурах».

Николай Александрович со своей женой Софьей Сергеевной (сестрой композитора Даргомыжского) последние годы жил в Москве в уединенном покое. В его кабинете — несколько ветхих птичьих чучел, статуэтки собственной работы и большая коллекция тростей и палок. Среди них выделялись тяжелые дубины, которые кроткий и слабосильный хозяин часто дарил гостям как знак особого внимания.

«Он умер тихо, как бы уснул», — отозвался на смерть Н. А. Степанова 23 ноября 1877 года основанный им журнал «Будильник». Похоронили его на Ваганьковском кладбище, но в списках художников, чьи могилы сохраняются в этом некрополе деятелей искусств, его имя, увы, не значится.

Белая, словно ангел. Благотворительница Прасковья Алексеевна Муханова (1809–1894)

Прасковья Алексеевна Муханова доживала свой век в одиночестве в родовой усадьбе на углу Остоженки и Ильинского переулка. В глубине обширного двора стоял ее деревянный оштукатуренный дом с антресолями, построенный в 1813 году. Фасадом он выходил к Савельевскому переулку, а окна комнаты хозяйки смотрели на храм Христа Спасителя. Войдя в дом, гости сразу же попадали в царство живых цветов и певчих птиц. В гостиной, пол которой был покрыт старинным ковром, по стенам висели портреты родных и друзей Прасковьи Алексеевны. Среди них выделялся образ московского митрополита Филарета, многие годы переписывавшегося с хозяйкой и высоко ценившего духовную красоту этой благочестивой девицы. Около камина на мраморном пьедестале возвышался большой мраморный бюст ее отца Алексея Ильича, старшего из семи сыновей Ильи Ипатьевича Муханова, взявшего в жены родовитую московскую княжну Варвару Николаевну Трубецкую. В военных походах екатерининской эпохи императрица пожаловала ему за храбрость Георгиевский крест. При Александре I и Николае I он состоял сенатором и почетным опекуном, выстроил в Москве здание Мариинской больницы и управлял ею. Заведовал также Сохранной казной, совершавшей огромные обороты.

За гостиной находилась моленная комната, разделенная ширмами на две части. За ширмами, собственно, и была домовая церковь, украшенная иконами, написанными самой хозяйкой. Обладая даром талантливого художника и отличаясь благочестивым нравом, она также написала образа для иконостаса и Царских врат Рождественской церкви в Старом Симонове, для Дивеевской обители и других монастырей.

В образном поставце помещалась Тихвинская икона Божьей Матери, пожалованная Петром Великим ее родному прадеду Ипату Калинычу Муханову — любимцу и домашнему человеку царя, в двенадцать лет направленному им за границу, а потом сопровождавшему его в морских походах с титулом «командор флота».

Рядом с иконостасом стоял диван с подушкой, на котором скончались сестры хозяйки Татьяна и Екатерина, и брат Владимир.

Когда-то эта семья была многочисленной, дружили с Н. В. Гоголем и с другими известными литераторами, с государственными деятелями и духовными лицами. Мухановы любили путешествовать по святым местам, делали крупные денежные вклады во многие монастыри и приходские храмы.

Дядя Прасковьи Алексеевны, Сергей Ильич Муханов, имел свой дом неподалеку, в Мертвом переулке. По духовному завещанию последней из его дочерей Марии Сергеевны дом в 1882 году был передан для устроения в нем Мухановской богадельни при Успенской, что на Могильцах, церкви.

После смерти двоюродной сестры Прасковья Алексеевна в свои семьдесят пять лет осталась последней представительницей некогда знаменитого и древнего рода выходцев из Польши. Среднего роста, с благообразным белым лицом, седыми, по-старинному гладко зачесанными волосами, она была любима в округе всеми — и богатыми, и бедными. Праведный Иоанн Кронштадтский, впервые увидев ее, воскликнул: «Белая, белая, словно ангел!» В монастырях ее звали «светской игуменьей» и часто приглашали для бесед на обеды с архиереями.

«В ней не было ничего мелкого, что называют ханжеством, — говорилось в одном из некрологов, — ни постов до голодания, ни молитвенных стояний долгими часами со вздохами и жестами. Ее благочестие отличалось величавой сосредоточенностью. Томик Пушкина всегда лежал возле нее в корзиночке с флаконом. И тут же портмоне. Не проходило получаса, чтобы не входила служанка со словами: «Бедный пришел», и портмоне, полный утром, к вечеру пустел».

В своем имении в Орловской губернии она выстроила храм, школу и больницу. В другом имении во Владимирской губернии пожертвовала деньги на устройство нового предела при сельском храме.

Восьмидесятипятилетняя старушка безропотно переносила многочисленные недуги, называя их веригами, и тихо отошла в мир иной. Отпевали ее в Воскресенской, что на Остоженке, церкви, а похоронили в семейном склепе при храме села Успенское Александровского уезда Владимирской губернии.

Когда вскрыли завещание Прасковьи Алексеевны, то узнали, что своими капиталами она распорядилась исключительно в благотворительных целях. По 50 тысяч рублей пожертвовала Мариинской больнице, Московской духовной академии и Московской духовной семинарии, по 20 тысяч — Московской глазной больнице, православной общине «Утоли моя печали», Братолюбивому обществу, женскому Филаретовскому училищу и Обществу распространения книг духовного содержания.

Нелепый. Врач и переводник Шекспира Николай Христофорович Кетчер (1809–1886)

В 1843 году тридцатичетырехлетний московский уездный врач Николай Христофорович Кетчер неожиданно для друзей покинул свой родной город, чтобы занять хорошую должность в Медицинском департаменте Петербурга. Он променял деревянный флигелек с погребком и огородом, соседей-чудаков и провинциальную тишину на сырую квартиру в трехэтажном доходном доме, газовое освещение и коллег, рабски склоняющихся перед начальством и барски чванящихся перед рабами.

«Где, в каких краях, — удивлялся Герцен, — под каким градусом широты, долготы возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера, кроме Москвы?»

В дружеских кружках — у Грановского, Аксаковых, Щепкина, Забелина — смеялись, представляя себе Нелепого (так прозвал Кетчера Белинский за странное сочетание суровой, грубоватой наружности и мягкой нежности души) размашисто шагающим по прямым проспектам северной столицы, завернувшись в плащ черного цвета и попыхивая дешевой сигарой. Неожиданно заметив знакомого, отделенного от него потоком чиновников, дам и карет, Николай Христофорович растягивает в улыбке свои толстые губы, весело машет руками и пытается в одиночку перекричать городской шум. И вот он уже работает локтями, хохочет, шумно извиняется за раздаваемые по сторонам толчки. Наконец, добравшись до цели, набрасывается на жертву с объятиями, пускается в расспросы, которые вскорости переходят в спор, и вот уже Кетчер увлеченно кричит:

— Вздор!.. Неужто!.. Врешь!

Чинная петербургская публика, шокированная столь бесцеремонным поведением косматого, длинного, очкастого господина дикой наружности, с презрением и ужасом взирает на его грубоватые мужицкие манеры и поношенное партикулярное платье.

— Нет, ему там долго не продержаться, — усмехались московские друзья в надежде опять увидеть Кетчера рядом.

Они оказались правы, Николай Христофорович не выдержал и двух лет на хорошей петербургской должности и панически

заспешил назад в Москву. Друзья в складчину купили ему небольшой дом с большим садом в конце Третьей Мещанской улицы, у церкви Филиппа митрополита, и он зажил в свое удовольствие.

Ранним утром, накинув на себя мятый халат, он с удовольствием копался в грядках, на которых высаживал георгины и другие замысловатые цветы; потом кормил многочисленных кур, постоянно плодившихся и доставлявших все больше хлопот своему хозяину, потому как он их любил и не мог резать для супа; ласкал и лечил больных кошек и собак, которых ему частенько подкидывали, зная его сердоболие. Покончив с хозяйственными делами, Кетчер садился в тени своего любимого дерева — дуба — и неспешно набивал табаком длинный старенький чубук.

Днем, если Николай Христофорович решался наконец передохнуть от дел и службы, он отправлялся на окраину города, где бродил по берегам многочисленных прудов и речек в поисках грибов и красоты. Он останавливался как завороженный и восхищенно покачивал головой всякий раз, если что-то в природе поражало его отзывчивую душу.

По вечерам Кетчер ходил в Малый театр, где актеры с доверием вслушивались в его безапелляционные приговоры, или заседал в каком-нибудь комитете, пуская громы и молнии в нерасторопного оратора.

Часто в его дом съезжались многочисленные друзья, и шумная, веселая беседа не прекращалась до глубокой ночи. Кое-кто, подустав, бывало, пытался ускользнуть пораньше. Но хозяин почти всегда ловил бегуна и возвращал в столовую, строго выговаривая:

— Что вздумал!.. Вздор! Оставайся ужинать — и слушать ничего не желаю!

За ужином Николай Христофорович с неподдельным ужасом рассказывал, что в Петербурге ни за какие деньги не достанешь порядочной говядины, что шампанское там подмешанное, сигары никудышные, а у жителей только и разговоров что о наградах и политике.

— Зато москвичи, — пытался возразить какой-нибудь заядлый спорщик, — со своими излишествами и безобразиями похожи…

— Врешь! — останавливал его Кетчер, хлопнув тяжелой рукой по плечу. — У нас все гадости на виду, а у них будешь целый год с человеком знаться, а так и не поймешь: подлец он или херувим.

Кто был знаком с Кетчером лишь по обеденному столу, видел

в нем вечно развлекающегося барина, обожающего шампанское, но не разумеющего толк в пикантных французских блюдах. Друзьям было известно о Николае Христофоровиче больше…

В течение нескольких лет он редактировал «Журнал министерства внутренних дел» и «Магазин землеведения». Был постоянным корреспондентом «Отечественных записок», «Современника», «Московского наблюдателя», «Журнала садоводства». Служил членом, а позже начальником Московского врачебного управления. Перевел с немецкого очень не хватавшую русским врачам многотомную «Частную патологию и частную терапию» Неймана. В переводах Кетчера не одно поколение российских читателей знакомилось со сказками и «Житейскими воззрениями кота Мурра» Гофмана, «Разбойниками» Шиллера, шекспировскими трагедиями. Даже появившееся в журнале «Телескоп» знаменитое «Философское письмо» Чаадаева, за которое тот был объявлен по приказу венценосной особы сумасшедшим, перевел с французского оригинала все тот же Николай Христофорович, прослывший за карбонария еще в кружке Станкевича.

Иван Сергеевич Тургенев поручал другу Кетчеру издание своих сочинений. Для своего приятеля книгоиздателя Солдатенкова Кетчер поправлял несметное множество корректур и переводов. Белинский, когда ему было необходимо понять смысл той или иной статьи во французском, немецком или английском журналах, всегда обращался за дружеской помощью к Нелепому. После смерти неистового Виссариона Кетчер (вместе с Галаховым) взялся за трудоемкое издание двенадцатитомного Собрания сочинений Белинского, что было не только литературным подвигом, но и необходимейшей материальной помощью семье покойного друга.

Соседи Кетчера судачили, что он состоит под секретным надзором полиции и не пьет редерера, так как, будучи либералом, не выносит на бутылочных ярлыках царского двуглавого орла.

Борис Чичерин, издатель старейшего российского исторического ежемесячника, заверял, что «Кетчер был достопамятным явлением Москвы и не умрет в ее преданиях. Про него можно написать целую книгу, полную любопытных эпизодов нашей общественной, умственной и литературной жизни».

Последние годы Николай Христофорович любил проводить у окна в большом вольтеровском кресле, перешедшем к нему после смерти его друга Грановского. Над креслом в обгорелой золоченой раме висела прекрасная гравюра, изображавшая Наполеона консулом. Кетчер любил похвастаться перед гостями,

что рама обгорела во время московского пожара 1812 года. Потом он принимался вспоминать, как они с Белинским несколько часов сторожили на Страстном бульваре молоденькую Кобылину, впоследствии ставшую графиней Солиас и писательницей Евгенией Тур, которая должна была бежать с Надеждиным; как тайно увозил из родительского дома венчаться невесту Герцена; как, будучи назначенным инспектором московских тюремных больниц, помогал доктору Гаазу обманывать тюремное и губернское начальство… Вдруг Николай Христофорович обрывал себя на полуслове, глубоко вздыхал и тихо жаловался:

— Кончил я переводить Шекспира, и теперь мне скучно без любимой работы.

Как-то вечером, когда гости разошлись, Николай Христофорович перешел с кресла на постель и тихо скончался.

Удельный князь. Генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891)

31 августа 1890 года Москва с утра направилась с поздравлениями к своему хозяину — генерал-губернатору князю Владимиру Андреевичу Долгорукову. Великий князь Сергей Александрович, собираясь в дорогу из своей усадьбы Ильинское в столицу, то ли с завистью, то ли с усмешкой заметил: «Еду поздравлять московского удельного князя». В храме Христа Спасителя после литургии митрополит московский Иоанникий обратился к князю Долгорукову со словом, в котором подчеркнул: «Явление довольно редкое, чтобы кто-либо прослужил двадцать пять лет в одном и том же месте и на одном поприще, а чтобы кто-либо прослужил четверть века на таком высоком посту, какой занимаете вы, явление исключительное и едва ли не беспримерное».

Около храма юбиляра приветствовал народ:

— Дай Бог здоровья тебе, ваше сиятельство!

— Ура-а-а!

— Батюшка ты у нас на Москве!

Вечером весь центр города светился огнями. Вспыхивали фейерверки. Ездить по Тверской запретили и во всю ширину улицы гулял народ, оглашая воздух радостными криками у дома генерал-губернатора.

За что же любили «удельного князя»? Отчего он был популярен и среди дворян, и купцов, и прочего люда?

Его род в прямом колене по мужской линии шел от Рюрика, равноапостольного князя Владимира и святого Михаила Черниговского. Среди предков Долгорукова насчитывалось семь бояр, пять окольничих, восемнадцать воевод, десятки генералов, президентов коллегий, министров, посланников при иностранных дворах, сенаторов и действительных тайных советников.

До назначения в Москву князь прошел долгий и нелегкий путь боевого офицера. По окончании в 1828 году школы гвардейских подпрапорщиков служил унтер-офицером в лейб-гвардии Конном полку. Участвовал в польской кампании 1831 года, экспедиции против горцев 1836 года, объездил с ревизиями почти всю Россию. В 1848 году назначен генерал-провиантмейстером, а в 1856-м стал членом Военного совета.

Первопрестольная еще не забыла графа А.А. Закревского, за

время одиннадцатилетнего губернаторства которого, как шутили москвичи, святая Москва была произведена в великомученицы.

Московской знати полюбились долгоруковские балы с разливанным морем шампанского, оркестром Рябова и живыми цветами из Ниццы. Матери гордились, когда могли вывезти сюда дочерей. Несмотря на преклонные годы, князь лично встречал и провожал всех гостей, а его адъютантам и чиновникам особых поручений было вменено в обязанность наблюдать, чтобы барышни во время танцев не оставались без кавалеров.

Каждый имел доступ к генерал-губернатору. Его приемная всегда была переполнена людьми. Личной беседы с хозяином Москвы удостаивались и генералы, и купцы, и разночинцы. Князь утешал, ободрял, помогал, чем мог. Не было часа, когда в случае необходимости он бы отказался принять просителя.

Долгоруков не жалел своих денег: щедрой рукой жертвовал в пользу нуждающихся студентов, бедных артистов, на богадельни, приюты и храмы. Состоял председателем или попечителем в десятках благотворительных обществ.

Даже в восьмидесятилетнем возрасте он был бодр и элегантен, затянутый в мундир с эполетами, с орденами во всю грудь, зачесанными кверху височками и нафабренными усами. Князь всегда с достоинством держал себя перед «сильными мира сего», никогда не раболепствуя перед ними. Житейская образованность в нем сочеталась с воспитанностью и военной дисциплиной. Он был вельможей с головы до ног в самом лучшем смысле этого слова. «Вот это барин!» — нередко восклицали москвичи.

Имея многочисленные связи при высочайшем дворе, он слыл заступником Москвы перед правительством, ее голосом. Император Александр II благоволил к Долгорукову и утверждал все ордена и медали, испрашиваемые им для москвичей. Эти награды способствовали созданию множества благотворительных обществ, существовавших долгие годы и после того, как награжденные учредители почили вечным сном.

Для князя не существовало мелких, второстепенных дел, от которых можно отмахнуться. Если дело попадало ему в руки, значит, заслуживало его внимания: будь то строительство церкви, политический вопрос в городской Думе или драка в трактире.

Он с первых дней службы на генерал-губернаторском посту понял Москву с ее патриархальными обычаями и особенностями, и они пришлись ему по душе. Особенно князь оберегал семейный уклад московских обывателей и порою, как средневековый удельный правитель, чинил расправы над провинившимися по своему разумению, невзирая на закон. Бывало, узнает, где в семье

назревает скандал, и тотчас вызывает к себе взбунтовавшегося мужа.

— Что это у вас там? Безобразия? Я этого не допущу!

— Помилуйте, ваше сиятельство, сил никаких нет, извела меня, проклятая.

— А вы, дружок, будьте благоразумнее. Что поделаешь, насильно мил не будешь.

— Срамит меня, ваше сиятельство. Каждый день по улице с любовником расхаживает.

— А вы бы взяли и посекли ее слегка, с глазу на глаз, без свидетелей. А то ведь на весь город кричите, убить ее обещаете.

— Да ее только и осталось, что убить!

— В таком случае, любезный, я вам скажу: или прекратите тотчас свои бесчинства, или в 24 часа вон из Москвы!

Ревнивому мужу ничего не оставалось, как только мириться с женой.

Барин с чисто русской душой нараспашку и чисто русским хлебосольством, князь Долгоруков управлял Москвой, как своей вотчиной. И оказалось, что в эти сложные годы коренного преобразования России он пришелся к месту, сглаживая острые углы недовольства реформами. Князь вступил в должность генерал-губернатора 30 августа 1865 года, вскоре после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Только что появились новые уставы судопроизводства, положение о земских учреждениях. В 1866 году Россию потрясло сообщение о покушении Каракозова при выходе государя из Летнего сада. В 1867 году многие русские бросились в спекуляцию, мечтая быстро разбогатеть. Учреждались новые и новые банки, скупались акции строящихся железных дорог. Началось повальное разорение дворянства. В 1874 году последовал манифест о всеобщей воинской повинности, взбудораживший купеческое общество. В 1877 году грянула Русско-турецкая война. В 1881 году злодейски убит император Александр II. В «долгоруковскую эпоху» Москва стала свидетельницей коронации императора Александра III, освящения нововыстроенного храма Христа Спасителя, Всероссийской промышленной выставки. В это сложное, многим непонятное время, когда стремительно менялся привычный уклад не только политической, но и личной жизни, князь Долгоруков умел ладить и с исповедниками старого николаевского режима, жаждавшими реванша, и с правительственными чиновниками, превыше всего ставившими угождение капризам сегодняшних властителей, и с либералами, требовавшими все новых и новых уступок демократии. Его личный авторитет в глазах обывателя был выше и действеннее

авторитета закона, и Москва, как никакой другой город России, довольно мирно переболела нелегким периодом решительных преобразований.

За свои заслуги князь был пожалован почти всеми российскими орденами, в том числе высшим — Святого Андрея Первозванного. Ему присвоили звание почетного гражданина жители Москвы, Вереи, Звенигорода, Дмитрова, Бронниц, Рузы, Коломны, Волоколамска, Вознесенска, Подольска и Павлова Посада. Когда на восемьдесят первом году жизни он был уволен от должности и отправился для лечения за границу, то не прожил без любимого города и четырех месяцев, скончавшись в Париже 20 июня 1891 года. Долгоруковская эпоха Москвы, длившаяся более четверти века, отошла в прошлое.

Аскет труда. Финансовый и промышленный деятель Федор Васильевич Чижов (1811–1877)

Нет более скучных определений, чем те, что даны западникам и славянофилам в советских и российских словарях. Как будто это были не люди, а собаки бойцовых пород, натравленные друг на друга. Со временем, когда политика стала профессиональным уделом дельцов с хорошо подвешенными языками и безудержанной гордыней, деление людей на партии еще более усилилось. Появились октябристы, социалисты, народники, демократы, кадеты, коммунисты, монархисты, анархисты…

Но вернемся к середине XIX века, когда словом «цивилизация» только начинали оправдывать злодеяния. И главное, не клюнем на приманку лукавых царедворцев и бездельников, ради красивой фразы готовых продать Отечество. Будем говорить не о человечестве, не о направлениях и партиях, а о конкретной личности.

Федора Васильевича Чижова всегда перечисляют в конце первого десятка московских славянофилов, после имен А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, Аксаковых и Киреевских. (Кстати, странно, что в этот список никогда не попадает Н. В. Гоголь. Может быть, из-за отсутствия бороды?)

Родился Чижов 27 февраля 1811 года в небогатой семье костромского учителя. В 1832 году окончил Санкт-Петербургский университет по математическому отделению и был оставлен при нем преподавать алгебру, тригонометрию, аналитическую геометрию и теорию теней и перспективы. Не имея средств, молодой преподаватель на первые свои лекции являлся в студенческом мундире. В 1836 году за диссертацию «Об общей теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и определению фигуры Земли» он получил степень магистра философии. В 1838 году издает написанную на основе трудов английских ученых книгу «Паровые машины — история, описание и приложение их со множеством чертежей», в 1839-м переводит сочинение Генри Галлама «История европейской литературы XV–XVII столетий», в 1841-м «Произведение женщины» английской анонимной писательницы, в 1867-м пишет книгу «Приблизительные соображения о доходности предполагаемой железной дороги от Москвы до Ярославля»… Было множество иных трудов, разбросанных по газетам, журналам, сборникам или

оставшихся в черновиках, — исследования о русской и итальянской живописи, шелководстве, русской и зарубежной промышленности, дневник, насчитывающий сорок тысяч страниц. Кажется, российские государственные чиновники молиться должны на столь даровитых и трудоспособных соотечественников. Так нет же, министр внутренних дел П. А. Валуев бросает пренебрежительную фразу: «Квасные патриоты, играющие на балалайке русско-народных фраз, как Чижов».

В чем же суть раздражения государственных чиновников, которые испокон веков пугали свой народ «квасным патриотизмом»? Оказывается, Чижов выступил инициатором постройки железных дорог исключительно силами русских купцов, притом и денег раздобыл, и экономически обосновал прибыльность для России подобного предприятия. При проектировании дороги от Москвы до Сергиева Посада Федор Васильевич сам выступил против псевдопатриотов, заменявших собственное отсутствие культуры и просвещения заботой о русском народе. «Есть люди, — писал он в журнале «Вестник промышленности», — которым проведение железной дороги к нашей древней святыне кажется делом неблагочестивым, уменьшающим благочестивую ревность молельщиков, следовательно, потрясающим первые устои нашей жизни. Другие, этого же разряда, боятся, что железная дорога вблизи двух монастырей посягнет на набожную тишину, на душеспасительное безмолвие монашеских келий. Разумеется, то и другое возражение есть плод застоя ума, который у нас встречается чаще, нежели где-либо. Благочестие народа и святость верования в их глазах так шатки, что они только и могут держаться при упорной неподвижности. Всякое улучшение в пользу бедного труженика, стремление избавить человека от подчинения себя ненужному гнету природы может, по их мнению, потрясти основы верования. Мы не можем не только разделять, но и представить себе такого неверия. Нам кажутся жалкими такие защитники, не верующие во внутреннюю силу и крепость того, что хотят они защитить одной внешней неподвижностью».

Но легче всего избавиться от упреков, что Чижов, как и другие славянофилы, хочет повернуть страну в эпоху летописца Нестора, перечислив его полезные деяния. Конечно, это всего лишь несколько фактов, ведь серьезно жизнеописанием этого замечательного русского человека еще никто не занимался.

Отказался еще в юных годах от родового имения в пользу трех сестер, решив добывать средства к жизни исключительно собственной работой.

В течение нескольких лет работал в библиотеках Венеции и

Ватикана над четырехтомной историей Венецианской республики, представлявшейся ему «зародышем новой истории, звеном, соединяющим средневековое человечество с человечеством предреволюционным».

В Риме близко сошелся с художником А. А. Ивановым и выхлопотал ему пособие для завершения картины «Явление Христа народу».

Перевез из России в Истрию церковную утварь для бедного православного храма сербов, за что чуть не был арестован австрийскими стражниками, а по возвращении в Петербург был посажен в Петропавловскую крепость. (На допросе его спросили: «Для чего вы носите бороду?» — «Это доставляло мне большое удобство при моей очень малой заботливости о внешности. — И добавил: — Борода моя дала мне много способов прямее и лучше смотреть на ход вещей, потому что все были со мною запросто, мужики рассказывали все подробности их быта и их промышленности, что меня очень занимало».)

Арендовал в долг под Киевом брошенную плантацию тутовых деревьев и за пять лет превратил ее в образцовую, занимаясь разведением шелковичных червей. («Стоит сделать один шаг к изучению природы, — изумлялся Чижов, — и ничтожный простой шелковичный червь вдребезги разбивает гордость нашего ума».)

Построил железную дорогу от Москвы до Вологды. Ему же Россия обязана железной дорогой от Москвы до Курска. Собирался также проложить рельсы Московской окружной дороги, но не нашел понимания у чиновников.

Создал Московское железнодорожное училище имени А. И. Дельвига. («Ни с кем я не сходился так скоро, как с Чижовым, и ни к кому не питал такой дружбы», — вспоминал начальник управления железными дорогами России Андрей Иванович Дельвиг.)

Вместе с А. И. Кошелевым учредил при Московской Думе общества водопроводов и газового освещения.

Основал при помощи А. П. Шипова Общество для содействия русской промышленности и торговле, стал крупнейшим банковским деятелем Москвы.

Организовал Товарищество Архангельске-Мурманского срочного пароходства по Белому морю и Северному Ледовитому океану, чтобы оживить российский северный край.

Был деятельным членом Славянского благотворительного общества.

Профинансировал три первых посмертных издания Н. В. Гоголя, с которым подружился в последние годы жизни писателя. («После Италии мы встретились с ним в 1848 году в Киеве, и

встретились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душе моей стала понятна болезнь души Гоголя».)

Никогда не забывал своих товарищей, хоть и не сходился с ними взглядами на жизнь. Так, уже в старости Чижов не поленился съездить в Ирландию, навестить захандрившего друга юности В. С. Печорина, католического монаха, ненавидевшего Россию.

Основал и редактировал лучший журнал о новинках отечественной и зарубежной промышленности. («Затеял я в Москве дело — издание «Вестника промышленности». Опять я сбился с пути — прочь история искусств, принимайся за политическую экономию, за торговлю и промышленность. И то сказать, это вопрос дня, это настоящий путь к поднятию низких слоев народа. Здесь, по моему предположению, купцы должны выйти на свет общественными деятелями».)

Был спартанцем в быту. («Деньги портят человека, а потому я отстраняю их от себя».) Если и тратился на личные нужды, то главным образом на книги, которые завещал Румянцевскому музею. Большинство раритетов этой четырехтысячной коллекции были единственными экземплярами крупнейшей московской библиотеки.

Все свои акции железнодорожных компаний завещал родной Костроме и четырем городам ее губернии для устройства Высшего технического и ремесленных училищ.

Наживать миллионы и еще миллионы стало символом конца нашего XX столетия. Но это еще не заслуга. Заслуга — верно распорядиться своими капиталами. А на это способны, увы, немногие. Оттого тем ценнее жизнь людей, подобных Чижову.

«Смерть была мгновенной, — писал о последнем дне Чижова Иван Аксаков. — Я видел его через полчаса после смерти. Он сидел в креслах мертвый, с выражением какой-то мужественной мысли и бесстрашия на челе, не как раб ленивый и лукавый, а как раб верный и добрый, много потрудившийся, много любивший — муж сильного духа и деятельного сердца».

Летописец московских нравов. Очеркист Петр Федорович Вистенгоф (1811–1855)

Читателям сейчас ничего не говорят имена авторов: Л. П. Башуцкий, В. В. Толбин, Ф. К. Дершау, П. Вистенгоф…

Из предисловия В. И. Кулешова к сборнику «Русский очерк»

Давайте попутешествуем по Москве далекого 1842 года. Проснемся перед рассветом, облачимся в панталоны со штрипками, мягкие сапоги, туго накрахмаленную манишку, черный фрак. Поверх же, если снег — енотовую шубу, если дождь — камлотовую шинель… Или нет, чтобы не отставать от стремительно меняющейся моды, фрак выберем оливкового цвета, а шинель заменим длинной бекешей. Теперь осторожно, чтобы не разбудить соседей, спустимся по скрипучей деревянной лестнице, смело минуем двор, огромную лужу и очутимся на еще тихой, но уже отнюдь не пустынной московской улице.

С наступлением раннего утра в Москве, когда она еще спит глубоким сном, медленно тянутся по улицам возы с дровами; подмосковные мужики везут на рынки овощи и молоко, и первая деятельность проявляется в калашнях, откуда отправляются на больших длинных лотках в симметрическом порядке укладенные калачи и булки; спустя немного времени появляются на улицах кухарки, потом повара с кульками, понемногу выползают калиберные извозчики, а зимой санные ваньки, которые нарочно выезжают для поваров; дворники, лениво потягиваясь, выходят с метлами и тачками мести мостовую, водовозы на клячах тянутся к фонтанам, нищие пробираются к заутрене, кучера ведут лошадей в кузни, обычный пьяница направляет путь в кабак; девушка в салопе возвращается с ночлега из гостей, овощной купец отворяет лавку и выставляет в дверях кадки с морковью и репой; выбегают мастеровые мальчики с посылками от хозяев, хожалый навещает

будки.

Но нам сегодня некуда спешить, мы садимся на завалинку и наблюдаем нравы. Они зависят во многом от того, в какой части города стоит наш дом. Если в Лефортово, то вокруг будет сновать фабричный, большей частью молодой и бессемейный народ, а деревенский пейзаж подпортят трубы ткацких мануфактур и кособокие кабаки низшего разряда. Если на Пречистенке, вдали от торговой и заводской Москвы, в так называемой дворянской части города, то здесь будут радовать глаз и чисто выметенные мостовые, и аккуратные желтые домики с колоннами на фасаде, и опрятно одетая публика. По другую же сторону Москвы-реки тон задает купеческое племя.

> Житель Замоскворечья (разумеется, исключая несколько домов, где живут дворяне) уже встает, когда на Арбате и Пречистенке только что ложатся спать, и ложится спать тогда, когда по другую сторону реки только что начинается вечер. Там жизнь деятельная и общественная, здесь жизнь частная, спокойная, которая вся заключается в одном маленьком домике и его семейном быте; в длинных, пересекающихся между собой переулках вы не видите почти никакого движения, и редко прогремит там щегольская карета, на которую почти всегда высовываются из окон.

Но если дом наш стоит при въезде в Замоскворечье — на Болоте, то надо бросить все дела и срочно подыскивать себе другое пристанище. Во-первых, здесь самое сырое место Москвы. Недаром же лукавые купцы облюбовали Болотную площадь для хлебной торговли. Мука волгнет (мокнет) и хлеб-батюшко тяжелеет. Во-вторых, рядом Скотопригонный двор — самая грязная московская площадь, куда гонят скот для продовольствия всего города. И в-третьих, под самым носом чернеет зловещий развратный трактир «Волчья долина», обходить который советуют далеко стороной.

Велика Москва, и каждый выбирает в ней жилье по достатку и обычаю.

Но сидеть на завалинке и подмечать нравы — занятие скучное, однообразное, только немощным старикам в радость. До недавнего времени и дела никому не было до обычаев простонародья. Нынче же среди студентов Московского университета и прочих ученых мужей стали появляться сумасброды, которые, что ни скажет мужик, все в тетрадку заносят. Но для таких занятий надо и одеваться попроще, и

бороду отращивать. Оливковый же фрак требует, чтобы мы философствовали, рассуждали о высоких материях, недоступных народу. К примеру, о прочитанном в «Московских ведомостях». Пишут, что Англия, Австрия, Пруссия, Франция и Россия ратифицировали трактат о прекращении торга неграми. Теперь африканцы вроде господ станут, не чета нашему сиволапому мужику, которого и на ассигнацию, и на кобылку выменять можно. То-то один камер-лакей при выходе в отставку просил за долговременную и честную службу назначить его «не в пример другим» арапом. Им и жалованья больше положено, и полная свобода от своего господина по новому закону.

Пишут еще, что гробы подешевели. Двухаршинный, без обивки, теперь по тарифу тридцать три копейки стоит. Видать, мрут в сей год мало, вот и сбили цену.

Купцу Парману дали десятилетнюю привилегию «на новоизобретенный способ расположения лучших пород пиявок». Жуликоватый народ эти московские негоцианты, но хватка есть. А теперь даже и за просвещением потянулись.

> Осенью и зимой купец в воскресенье на бенефисы везет свое семейство в театр и берет, смотря по состоянию, бельэтаж или другие ложи высшего разряда. При выборе пиес он заботится, чтобы это была какая-нибудь ужасная «пользительная» трагедия или другая какая-нибудь штука, только понятливая и разговорная, в коей бы можно было видеть руководство к различным курьезным «чувствиям». Он не любит опер, потому что за музыкой не разбирает слов арий. «И что тут глядеть, — говорит он, — поют словно не по-русски, да притом и натура тут не предвидится, поет умирая, в любви ответа просит и письмецо читает, а все поет; така дичь и сумбурщина». Он также не любит балетов, потому что «в них ахтеры словно немые и до многого в их сентенциях не доберешься, да притом-с ведь и скандал велик; не годится, больно не годится, для дочек глядеть, как иной-то выше головы ноги таращит или как иная словно оводом вертится и как бесенок ногами виляет, так что того и гляди, посрамит себя окаянная и великую конфузию всем причинить может.

Но справедливости ради следует сказать, что все более людей из купеческого сословия становятся истинно просвещенными людьми. Их можно увидеть на заседаниях Московского общества испытателей природы, на публичных лекциях по физиологии профессора Филомафитского, в Большом театре, где недавно

поставили оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Но конечно, основная масса грамотных людей ограничивается единственным культурным мероприятием — чтением «Московских ведомостей». Чем только газеты не морочат наши головы, какие только мерзости не возвеличивают! Почитаешь, так весь мир только и занят, что военными ошибками, осадами, покушениями, мятежами. Из Нью-Йорка передают: «Индейцы поджигают дома колонистов». Из Лондона: «Британские войска после нескольких сражений заняли город Гизни и разрушили его». Из Бейрута: «Французы преследовали бегущих». Всем неймется, и тем, кто живет наподобие дикарей, и тем, кто мнит себя цивилизованным миром. Сидели бы лучше дома, на завалинке, наблюдали нравы и рассуждали о тернистых путях судьбы, от которой не убежишь. А коль невтерпеж, коль силушку испытать охота, выходи в Масленую неделю к Москворецкому мосту и тешься на кулачках в одиночном бою или стенка на стенку…

А это что за газетный вздор?.. «Конгресс Техаса, в Америке, назначил каждой женщине, которая в течение года выйдет замуж за гражданина республики, уже бывшего гражданином во время объявления независимости, 2982 акра (около 1109 десятин) плодородной земли». Вот и понимай написанное как хочешь. Пожалуй, с бабами у них туговато, а землицы вдоволь. И пусть едут к ним на край света, баба с возу — кобыле легче. А нам и в Первопрестольной по нраву. Эй, извозчик, стой! Возьми на Ильинку. Только не шибко, знаю я вашу бесовскую породу.

> Когда я иду по улице и взгляну случайно на извозчика, которого здесь можно встретить на каждом шагу, мне как-то всегда приходит мысль, что за чудный человек извозчик? Мне кажется, он непременно, поневоле должен быть большой наблюдатель нравов, а необходимость приноравливаться ежедневно к новым характерам какого-нибудь десятка людей делает нечувствительно из него сметливого и тонкого человека. И если вникнуть хорошенько, то что за странная жизнь и что за тяжелое ремесло этого извозчика, пропускаемого ежедневно каждым из нас без всякого внимания, между тем как он почти для каждого из нас более или менее необходим! Возьмите, в чем проходит его день. Выехав с постоялого двора, приклеенный к своим дрожкам, он смотрит во все стороны огромного города, не зная, где приведется ему на своем разбитом рысаке гранить московскую мостовую. Вдруг очутился он под Донским

> или в Лефортове, на Зацепе или Воробьевых горах. То везет угрюмого сутягу, не говорящего с ним ни слова, толстого, как бочку, и шибко вредящего его рессорам; то катается с забубённым кутилою, требующим от его клячи лихой езды; то везет капризную старуху, досадующую на то, что дрожки толкают ее по ухабам; то едет с пьяным шишиморой, который ни за что ни про что сильно беспокоит его под бока и дает подзатыльники за то только, что он не предостерег от падения его шляпу, находившуюся набекрене… Одетый в вечно синем армяке, с медной на спине дощечкой, свидетельствующей о номере, под которым известна в Думе его особа, покорный капризу часто наикапризнейших седоков, вознаграждаемый отмораживанием членов и нередко напрасными побоями буянов, идет он своим терновым путем к сырой могиле — единственному месту, куда не он, а его уже повезут люди.

Но Москва ни по ком не плачет, слезам не верит и воле не потакает. Из Москвы, как с большой горы, все видать: и как смерть за каждым приходит, и как уводит человека на высший суд. Там-то за все спросится, за все ответ держать. Помнят об этом москвичи и загодя готовятся к своему смертному часу. Комитет для просящих милостыню устраивает для нищих обеденные столы у Сухаревой башни и близ Смоленского рынка. Московское благотворительное общество разыскивает поистине нуждающихся в помощи бедняков и выплачивает им пособия. Тюремный комитет заботится о нуждах арестантов и членах их семей. Многочисленные, построенные на пожертвования москвичей богадельни, приюты, больницы каждодневно получают от благодетелей, многие из которых даже имена свои скрывают, возы с булками, калачами, солониной, сукном и прочим товаром.

> Москва — сердце России и нигде в ней не проявляется так сильно характер русского народа… Московские жители гостеприимны, откровенны, услужливы, добры, легко знакомятся, щедры и вообще любят рассеянный и просторный образ жизни.

Московское утро набирает силу, все шумнее заявляет о себе будничный рабочий день, особенно в центре города. Приближаясь к Гостиному двору и Рядам, невольно ощущаешь, как на тебя накатывается многоголосый вал торговой предприимчивости.

— Свечи сальны, светильни бумажны, ясно горят, продаться

хотят!..

— Блины горячи, с лучком и перцем, собачьим сердцем!..

— Ниточки! Ниточки! Ниточки!..

Розничная торговля идет в Ножевой линии и многочисленных рядах: Узеньком, Широком, Шляпном, Шелковом, Серебряном, Медном, Скобяном, Суровском, Суконном, Квасном. Оптовая — в Ветошном ряду, на Казанском, Пантелеевском и Бубновском подворьях.

> Я часто любил шататься по Рядам без цели, от скуки. Купцы, бывало, так привыкли, что я ничего не покупал, а только ротозейничал, что мне никто и не кричал: «Пожалуйте-с, почтенный господин, что покупаете-с?!» Но зато я любовался, как они досаждали своим криком другим… Но кроме крика купцов, если что делает путешествие по Рядам несносным, это шалости мальчиков, находящихся при лавках, которые беспрестанно возятся среди дороги, так что того и гляди, что собьют вас с ног, и множество нищих, решительно мешающих рассчитываться. Сверх того удивительное неудобство для ходьбы представляет худо вымощенный пол в самих Рядах, где камни бывают разделены большими ямами, так что если немного зазеваешься, то легко можно свернуть себе ногу. Темнота, существующая во всех внутренних Рядах, почти лишает возможности различать цвета, в особенности когда купец умышленно старается вам заслонить свет для того, чтоб в тени товар его, как и многие вещи на свете, имел больше эффекта. Порядочный купец вас не обочтет, не обмерит и не обманет ценою; беспорядочный же — только развесьте уши — так обкарнает и продаст такой сентиментальный товар, что вы и дома не скажетесь. Проторговавшийся каким-нибудь случаем купец убежищем для своего рассеяния от тяжелых горестей здешней жизни обыкновенно избирает Марьину Рощу, где он уже с неистовством предается музыке, пению и поглощению разного рода дешевых горячительных напитков.

Да, по праву Москву называют крупнейшим коммерческим центром России. Ее снабжают левантскими (шелк, хлопок) и колониальными (пряности, сахар, кофе) товарами порты Балтийского, Черного и Азовского морей. Сибирь поставляет изделия горнозаводской промышленности. Хлеборобные южные губернии — продовольственные запасы. И со всех сторон везут лен, пеньку, сало, поташ, ягоду, гриб и овощ. Растут торговые

обороты, и купец с рубля ступает на десять, на сто. Глядишь, а он уже тысячами ворочает, посылает детей учиться в Коммерческое и Мещанское училища, сам ездит за границу набираться уму-разуму на тамошних фабриках и биржах. Появились среди молодых московских торговцев и такие, что кончают университет, бреют бороду и рядятся во фрак.

Дворяне с опаской поглядывают на превращения купца, продолжая, как боевым знаменем, размахивать своим генеалогическим древом, одновременно выплачивая долги дедовскими особняками и переезжая жить в меблированные комнаты с клопами и сырыми потолками. Да что дворянин, даже чиновник — вечная опора русского бюрократизма и постоянства! — начал приобретать новые черты.

> Не забудьте, что нынешний чиновник в Москве получает порядочное штатное жалованье, не назначаемое, как случалось иногда, по капризу секретаря. Он имеет тоже свою амбицию и гордость, порицает взятки, ходит в опрятном мундирном фраке с пуговицами под клапанами; манишка у него с запонками, он при часах, а часы у него с золотой цепочкой; хохол его завит и раздушен, сапоги — как зеркало и на высоких каблучках; у него на руке, которую прежний подьячий вам протягивал всю в масле и чернилах, блестит бриллиантовое колечко. Он часто обедает у Шевалье и Будье, курит предорогие пахитоски, воображает, что говорит по-французски, не употребляя ничего, кроме го-сотерна и шампанского, приказывая последнее подавать непременно на льду в серебряной вазе; танцует мазурки и голопады в маскарадах Немецкого клуба и Купеческого собрания, прогуливается в Элизиуме и нередко бывает львом Кремлевского сада; строит курбеты барышням; ищет себе богатую невесту, требуя, чтоб она была непременно милашка и благородная; сидит в театрах в креслах, гордо посматривая в зрительную трубу на ложи, да еще произносит свои приговоры на артистов, хлопая с самонадеянностью в ладоши или иногда, смотря по капризу, употребляя и змеиное шипение. Ну, попробуйте к такому чиновнику сунуться с пятью рублями. Да он вас вызовет на дуэль! Нынешний порядочный чиновник не берет таких крошечных денег. Все, что он может для вас сделать, это идти с вами, как знакомый, обедать в гостиницу. Ступайте же, пообедайте с ним и потом

сочтите, что он вам будет стоить.

Бесконечен ряд самобытных московских типов. Здесь и *оброчные* крестьяне всех российских губерний, и отставные солдаты суворовских походов, и раскольники всех мастей, и прожившиеся помещики, пристроившиеся приживальщиками, и чужеземцы со всего света…

Но позвольте, а где город, о котором лет десять назад писал Пушкин: «Москва доныне центр нашего просвещения; в Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские…» Разве не здесь получили образование и начали печататься Карамзин, Жуковский, Белинский, Хомяков? Разве не в московских особняках живут Петр Вяземский, Денис Давыдов, Сергей Аксаков? Разве не великий Гоголь и юный Лев Толстой топчут московские мостовые?

Заглянем в первую попавшуюся по дороге книжную лавчонку, к примеру, Московского университета, что напротив Страстного монастыря.

— Что новенького?

— Пожалуйте. «Лучшие наставления для беременных», «Статистика» Зябловского, «Сельский домашний лечебник»… — начинает перечислять шустрый приказчик.

— Нет-нет, мне бы чего-нибудь из изящной словесности.

— «О воздыхании голубицы, или О пользе слез». Весьма назидательная и душепитательная книжица. Имеется еще философско-нравственная: «Переписка жителя Луны с жителем Земли».

— А наших известных сочинителей нет ли чего новенького?

— Как же, и для ценителей изящного стараемся. Вот только что из типографии «Похождения Чичикова, или Мертвые души» Гоголя, «История Петра Великого» Полевого, «Солдатские досуги» казака Владимира Луганского, «Москва и москвичи» Загоскина, «Сумерки» Баратынского, «Часы выздоровления» Полежаева, «Стихотворения» Лермонтова…

Мы же выбрали «Очерки московской жизни» Петра Вистенгофа, цитируем которого с раннего утра, прогуливаясь по городу. К сожалению, его имя за последующие полтора столетия было крепко-накрепко забыто. В Литературной энциклопедии о нем ни слова, в Лермонтовской все его творчество приписывается брату Павлу Федоровичу. И лишь совсем недавно, благодаря биографическому словарю «Русские писатели. 1800–1917», мы узнали, что Петр Федорович родился в 1811 году, учился в Московском благородном пансионе, служил в Московской палате гражданского суда, Московском губернском управлении, в

канцелярии московского гражданского губернатора. После публикации в 1842 году «Очерков московской жизни» переехал на службу в Тверь. В 1849 году Петру Федоровичу удалось опубликовать роман «Урод» — чрезвычайно примитивное сочинение, в котором автор, видимо, решил свести счеты с сильно досадившим ему женским полом. Другое сочинение — небольшая сценка «Стрикулист» — говорит лишь о том, что автор большой дока в карточной игре. Было еще несколько попыток литературной деятельности, но либо ее не замечала литературная критика, либо вовсе отказывались печатать. Зато «Очеркам московской жизни» уделили внимание многие газеты и журналы.

«Северная пчела»: «Жаль, что г. Вистенгоф или, лучше сказать, очерки его родились поздно. Выйди очерки лет за пятьдесят, они составили бы увеселительное чтение».

«Отечественные записки»: «Желание автора посмеяться скрыло от него Москву, произвело книгу одностороннюю, поверхностную, пустую».

«Библиотека для чтения»: «В самой утробе матушки Москвы затевается злой умысел против нее, пишутся какие-то бесцветные «очерки», московская жизнь блекнет под чьим-то услужливым пером».

«Современник»: «Общие места вытеснили всю частность. Сословия московские, их нравы и прочие черты быта не поражают читателя особенностями, он все это встречал и в Архангельске, и в Астрахани. Надобно было вникнуть в то, чего нигде не найдешь, кроме Москвы».

«Москвитянин»: «Автор слишком увлекся тоном насмешки и тем повредил много истине нравов среднего и особенно купеческого сословия».

Лишь Белинский заметил проблески таланта у тридцатилетнего автора первой книжки, хоть тоже не обошелся без «но»: «Второе — «Очерки московской жизни» — носит на себе новое литературное имя — г. Вистенгофа и обнаруживает местами замечательную наблюдательность и умение схватывать характеристические черты общества, но лишено определенного взгляда, который обнаруживал бы, что автор умеет не только наблюдать, но и судить».

Минуло семь десятилетий с тех пор, как газеты да журналы критиковали первую книгу Вистенгофа, когда в многотомном иллюстрированном труде «Москва в ее прошлом и настоящем» перепечатали «Очерки московской жизни». От второго до третьего издания путь был короче — пять десятилетий, от третьего до четвертого — два с половиной года.

Имя талантливого очеркиста было забыто еще

современниками. Может быть, это послужило одной из причин его самоубийства 11 мая 1855 года, «находясь не в здравом состоянии рассудка». Но жизнь первой книги Петра Вистенгофа продолжается, и это ли не лучший памятник летописцу московских нравов?

Кроток и смирен. Ректор Московской духовной академии протоиерей Александр Васильевич Горский (1812–1875)

Московская духовная академия, продолжавшая традиции самого древнего высшего учебного заведения России — Славяно-греко-латинской академии, почиталась за блюстителя православия, где студенты получали прекрасное богословское образование. Любая школа знаменита в первую очередь своими учителями. В Академии особую славу стяжал ее ректор протоиерей Александр Васильевич Горский.

«Он был живой энциклопедией всех знаний, с которой мог справляться и наставник, и студент», — утверждал граф Д. Н. Толстой.

«Утомишься, бывало, над составлением лекций, — вспоминал академик-богослов Е. Е. Голубинский, — выйдешь в сад прогуляться. Смотришь иногда — в бакалаврском корпусе все огни потушены, только у А. В. Горского светится огонек, так что огонек этот одушевлял, бывало».

«Этот аскет-профессор, — писал о своем учителе историк Церкви Н. П. Гиляров-Платонов, — этот инок-мирянин, с подвижнической жизнью соединявший общительную гуманность всякому служить своими знаниями и трудами, это было необыкновенное явление. Оно едва ли повторится».

«По смерти Александра Васильевича, — говорил в 1911 году профессор Н. Ф. Каптерев, — его дух и направление, какие он давал всей академической жизни, надолго остались в Академии и, вероятно, не совсем вымерли и сейчас».

Горский, по словам историка В. О. Ключевского, «был краеугольным камнем академического исповедания». К нему присылали на рецензию свои книги русские ученые, обращались за советом научные учреждения, из зарубежных европейских университетов писали с просьбой помочь разобраться с запутанным византийским документом или подтвердить подлинность той или иной рукописи.

От Горского не осталось многотомных сочинений, лишь несколько десятков журнальных статей и описания древних рукописей. Он сеял свои знания среди других, сочиняя для обращавшихся к нему бесконечные справки, составляя списки книг, консультируя. Скромный, но необходимый труд. Про него

говорили, что это ходячая и вполне доступная библиотека.

«Старик с седой бородой, вечно окруженный массой книг, когда бы я ни приходил к нему, — вспоминает воспитанник Академии Александр Раменский. — Он моему воображению представлялся чем-то вроде мага или колдуна! Другие студенты, видевшие его только в классе, смотря на внешний вид, называли его Николаем чудотворцем Зимним».

Студенты между собой величали его не иначе, как Папашей. Широкоплечий, немного грузноватый, с белоснежной бородой старец в темно-малиновой рясе, с широко раскрытыми, устремленными куда-то вдаль серыми кроткими глазами, поучая студентов, немного конфузился, как будто был в чем-то перед ними виноват.

Однажды разнесся слух, что он идет со специальной целью журить студентов за провинность. Все быстро собрались в комнате, где обыкновенно совершалась молитва, и, несмотря на то, что назначенное для нее время еще не наступило, кто-то взял книгу и начал с чувством читать. Отворилась дверь и вошел Горский. Оглядел собравшихся строгим взглядом из-под насупившихся бровей. А голос чтеца звучал и звучал, студенты клали земные поклоны. И чем дальше длилась молитва, чем мягче становился учительский взгляд и при заключительных словах песнопения уже улыбка сияла на его лице.

— Пришел было с вами браниться, да уж Бог простит, — вздохнул он и, низко поклонившись, вышел из комнаты.

Студенты не испытывали перед ним страха, не потому, что Горский потворствовал их слабостям, а что «страха несть в любви, но совершенна любы нон изгоняет страх».

Его любили не только за добрый нрав и энциклопедическую ученость, но и искреннюю глубокую религиозность, умильно-радостное внутреннее сияние во время богослужений. Многие москвичи специально приезжали на литургию в академическую церковь послушать, как ведет службу Горский, и посмотреть на его благообразный просвитерский лик.

Родился Александр Васильевич Горский 16 августа 1812 года в семье протоиерея кафедрального собора Костромы.

«Лета моего детства текли тихо, скромно, мертво. Меня не выводили ни в какое общество и я, до вступления в училище, жил как монастырка в своей келье».

В 1824–1828 годах учился в Костромской духовной семинарии.

«Буйные силы души моей прорывались, но скоро входили в границы, для них строго определенные».

С 1828 года учился в Московской духовной академии,

которую окончил девятнадцати лет от роду.

«Всякий шаг в Академии делал я с робостью и довольно прошло времени, доколе я не вышел на круг более просторной и более свободной деятельности».

Преподавал около года в Московской духовной семинарии, а с 1833 года в Академии. В 1842 году принял должность академического библиотекаря и исполнял ее в течение почти двадцати лет.

«Рука устала, голова утомилась, глаза слипаются. День трудился, ночь на покой. Ныне вечером, приводя себе на память, что делал я днем, что-то неприятное я почувствовал, вспомнив, что сей день трудился только для себя, не имев случая добро сделать кому-нибудь. Едва родилась сия мысль, нашелся случай исполнить ее. Я услышал жалобу моего повара и, чем мог и знал, сделал пособие».

27 марта 1860 года рукоположен митрополитом Филаретом во священники и в том же году получил сан протоиерея.

По признанию митрополита Филарета, Горский был «святее монаха». Любил уединение, строго соблюдал все посты, с двадцати пяти лет не ел мяса. Имел лишь одну светскую привычку — курил дешевые сигары. Но и с ней покончил вскоре после посвящения в духовный сан. Митрополит Филарет не раз предлагал ему вступить в монашество, но Горский отказывался, ссылаясь, что иноческий сан отвлечет его от ученых занятий и отдалит от любимой Академии.

23 октября 1862 года определен ректором Московской духовной академии.

«Молился за вечерней в Троицком соборе. Мое любимое место здесь — стоять между стеною и правым клиросом, против мощей Преподобного. Много особенного возбуждается в душе предстоящего Богу в храме, где почивают останки какого-либо подвижника или страдальца».

Каждый день Горский вставал в пять часов утра и после чая садился за работу. Потом — богослужения, лекции, консультации. И вновь письменный стол. Заканчивал работу он уже глубокой ночью.

С шестнадцати лет до дня своей смерти Горский не расставался с Академией.

В субботу 11 октября 1875 года в шесть часов утра в академическом храме началась литургия. После причастного стиха священник со святой чашей в сопровождении дьякона и певчих проследовал в ректорский зал. Горский стоял у кресла, поддерживаемый двумя служителями, облаченный в белую ризу и епитрахиль. Прерывающимся от тяжелого дыхания голосом он

произнес слова исповедания Тела и Крови Христовых, причастился и благоговейным взором проводил удалявшегося священника. Опустился в кресло. Певчие подошли к нему под благословение.

— Благодарю вас… Вы потрудились… Для меня…

В последний раз он поднял для благословения руку. Через несколько часов протоиерея Александра Васильевича Горского не стало.

«Научитесь от Меня, яко кроток и смирен сердцем» — это о Горском.

Искусство требует совести. Художник и реставратор Николай Иванович Подключников (1813–1877)

Болеет и дряхлеет не только человек, но и живописное полотно. Оно подвержено и шелушению, и вздутию грунта, и разрывам холста, и дефектам от неумелых поновлений. Чтобы лечить картину, надо в первую очередь, как и с человеком, установить причину болезни. Во-вторых, надо быть искусным и честным мастером, способным воссоздать утраченное, не привнося в работу *отсебятины.*

Одним из первых московских лекарей живописи и иконописи стал крепостной человек Шереметевых Николай Иванов. Читать и писать он научился у дьячка подмосковной Останкинской церкви, а рисовать — у отца и дяди. «Еще бывши мальчиком, — вспоминал он, — как-то в отсутствие дяди я догадался сделать трафарет для написания букв по бархату плащаниц и хоругвей. Придуманный мною способ оказался скорым, чистым и несравненно лучшим, нежели писать по бархату от руки кистью. Да сверх того, что делалось прежде одним человеком в полтора месяца, теперь делается одним в один же день… Восхищенный дядя подарил мне за находчивость четверку чая в 1 рубль 50 копеек ассигнациями».

Отец умер, когда Николаю не исполнилось еще и 20 лет, и Николай остался в семье с тремя младшими братьями и сестрой за главного кормильца. «Без средств, без достойного образования, — пишет его безымянный биограф, — без посторонней помощи, убитый горем и крайней нуждой, он терялся. Счастливый случай помог. Получен был заказ портрета за 5 рублей ассигнациями». Исполненный портрет заказчику понравился. К Николаю стали обращаться и другие господа, чтобы запечатлеть для потомков свое обличье. Появились и деньги, и местная слава. Молодому художнику льстили, но он удержался от самолюбования, понимая, что ему еще далеко до истинного мастерства.

Чтобы совершенствоваться в искусстве живописи, Николай с 1833 года стал посещать Художественный класс при Обществе любителей художеств. Там о его учебе сохранилась коротенькая запись: «Начал с гипсовых фигур и рисует с натуры». Завершая курс занятий, Николай написал картину «Вид церкви Василия

Блаженного в Москве», за что получил от своего владельца графа Д. Н. Шереметева вольную и фамилию Подключников. Выбор фамилии был связан с тем, что прадед Николая, дворовый человек князя А. М. Черкасского Михаил Евдокимов, состоял у своего князя в *подклюшниках* (помощник ключаря, заведовавшего прислугой и съестными припасами).

Подключникову редко удавалось заниматься любимым делом — писать картины, какие вздумается. Ему нужно было кормить семью. Он зарабатывал тем, что копировал на заказ картины прославленных художников. Это поденное ремесло и привело его, в конце концов, в стан реставраторов и поставило его среди них на высшую ступень.

Летом 1853 года Подключникову доверили реставрировать иконостас Успенского собора Московского Кремля. Снимая со старинных икон слой за слоем поновления, он открыл уникальную первоначальную живопись. «При очищении образов, — рассказывал Подключников, — часто оказывается, что мастер при поновлении отдавался своему произволу, то переменяя положение руки изображенной фигуры, то увеличивая голову. А всего чаще случалось открывать разные цвета платьев и разные узоры парчи».

Он также отреставрировал иконы в Москве — в Архангельском соборе Кремля, церквях Спаса на Бору и Рождества Пресвятой Богородицы на сенях во Дворце, в покоях Романовского дворца, во Владимире — в Успенском соборе.

Подключников вывел на чистую воду многих псевдоиконописцев, обманывавших коллекционеров церковной старины. «За древние иконы, — возмущался он, — привыкли считать только потемневшие образа. И это понятие давало возможность самым плохим живописцам зарабатывать себе хлеб не совсем честно. Так они копировали на старых досках иконы, примешивая в краски разные снадобья, как-то шафран или крушину на воде. А потом покрывали подцвеченной олифой, ставили эти копии к печке, дабы они закоптели и приняли старый вид».

Подключников считал, что на реставрацию нельзя смотреть, как на ремесло. Она — настоящее искусство. К тому же требующее от мастера, кроме таланта и знаний, — совести. Ведь никто не догадается, что ты схалтурил, не стал осторожно снимать слой за слоем поновления, чтобы, может быть, обнаружить под ними настоящее искусство. Так, добросовестно расчищая однажды посредственную картину, он обнаружил под ней живопись итальянца Корреджо, одного из лучших представителей Высокого Возрождения, — Иосиф над яслями

держит младенца Иисуса и с умилением смотрит на Него.

Подключникову приходилось реставрировать и современную живопись. Так, ему доверили восстановить пострадавшую от пожара картину Айвазовского «Буря на море». Тронутое огнем полотно покрывали тысячи пузырей. Казалось, ничего невозможно поправить, учитывая и то, что Айвазовский всегда наносил на холст очень тонкий слой краски. Но, как заверили специалисты, после долгой и трудной реставрации Подключникова «картина вышла из его рук, как будто из мастерской самого художника».

По вечерам, когда темнело, цвета на картинах искажались и их невозможно было профессионально реставрировать, Подключников усаживался за сочинение воспоминаний. Однажды ночью лампа на его столе разорвалась, он получил сильные ожоги и вскоре скончался. И хотя тайны своего мастерства он унес с собой в могилу, что было в обычае того времени, как завет продолжателям нелегкого мастерства реставратора, осталась память о его честном и добросовестном отношении к своей работе.

Вольтерьянец. Профессор зоологии Карл Францович Рулье (1814–1858)

Молодой московский чиновник, окончивший кое-как гимназию и не имеющий родственных связей в верхах, служил за полста рублей в месяц и был вечно в долгах портному, сапожнику, содержателю меблированных комнат, трактирщику. Встав в восемь утра, он выпивал стакан чая и спешил на службу, где околачивался с перекурами и пересудами до трех часов дня, пока начальство не покидало присутствие. Тогда, заняв у знакомого купца «красненькую» (десять рублей), он шел в трактир выпить бутылку вина на людях, а потом в театр.

Но если в долг не давали и карман был пуст, приходилось искать бесплатное развлечение. Например, разглядывать барышень, дефилирующих по Александровскому саду возле Кремлевской стены или заскочить эдаким пентюхом в залу Московского университета послушать ученую лекцию.

— Сегодня, — начинает профессор, — я расскажу вам об образе жизни и нравах животных. Вот эта кость ихтиозавра, что у меня в руке, бегала тысячи лет назад, и, изучая ее, мы поймем, какие изменения претерпели другие животные, те же собаки и лошади…

Молодой человек, надеявшийся попасть на что-нибудь животрепещущее, заскучал. Зачем изучать червяка или кобылу? Если уж тебе положено о животных говорить, то возьми за основу зоосад, где порядочная публика ходит лицезреть заморских тварей, а не рассуждай о скотном дворе, от которого за версту мужиком пахнет.

— Все животные, как и растения, — вдохновляется профессор, — образовались первоначально из клеточки и претерпели в течение многих тысяч лет громадные изменения. Легавая собака, например, и все домашние животные — это искусственное произведение, выведенное специально, как и кохинхинские куры.

Молодой человек встрепенулся: позвольте, так это же форменное вольтерьянство! В Священном Писании сказано: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся». А он какой-то немецкой эволюцией студентам головы морочит. Камушки показывает и утверждает, что это окаменевшие водоросли, которые во множестве разыскал в окрестностях Москвы. Так и я могу: возьму булыжник и стану утверждать, что это глаз китайского императора.

— Беспозвоночные ископаемые и окаменевшие водоросли, найденные мною в руслах рек, говорят, что раньше на месте Москвы плескалось море.

Молодой человек не мог дольше терпеть столь откровенного насмехательства над Книгой Бытия и пошел вон, удивляясь, как это Синод не одернет завравшегося лжеучителя. Ведь студенты ему верят, даже «браво!» кричат за то, что он своей наукой их души растлевает.

Но не только малограмотным обывателям претили слова и мысли Карла Францовича Рулье. Министр народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов, ознакомившись с двумястами двенадцатью страницами секретной переписки о его лекциях, отправил 18 января 1852 года циркулярное письмо попечителю Московского учебного округа В. И. Назимову, в котором требовал приостановить преподавательскую деятельность безбожного профессора. «Рулье, можно подумать, — иронизировал министр, — сам присутствовал при Творении — так уверенно излагает свою теорию».

Старое московское служилое дворянство, стоявшее на страже городского благочестия, страшилось науки, почитая ее за чернокнижие, и брезгливо морщилось: «Все это от немцев пошло». Оно не могло потерпеть утверждения, что у кошки тоже есть нервы, так как не находило их даже у мужика, считая сие привилегией своего сословия. Оно было возмущено требованием Рулье к Совету университета «сделать распоряжение о снабжении его, по крайней мере, одним трупом»; считало безнравственным, что на своей квартире профессор преподает акушерство особам женского пола; презирало его за то, что жил в неблагородной части города — возле постоялых дворов на Тверской-Ямской и, сидя на лавочке возле своего дома, курил и балагурил с мелкими торговцами. Но наступила вторая половина XIX века, и московские охранители нравов прошлого столетия более не могли сдерживать развитие естественных наук, от которых зависело благосостояние государства. Московскому университету необходимы были люди, подобные Рулье.

Родился Карл Францович 8 февраля 1814 года в Нижнем Новгороде, в семье француза-сапожника и его жены — повивальной бабки. Окончил Московское отделение Медико-хирургической академии и с 1833 по 1836 год служил лекарем в Рижском драгунском полку. В 1837 году, поселившись навсегда в Москве, он связал свою жизнь с преподавательской и научной работой.

Изложим по-студенчески, в виде краткого конспекта полезные начинания Рулье. Опубликовал более ста научных

трудов, в частности книгу «О животных Московской губернии, или О главных переменах в животных первозданных, исторических и ныне живущих, в Московской губернии замечаемых. С разрезом почв, обнаруженных в окрестностях столицы», 1845 год. Организовал издание первого в России естественно-научного журнала «Вестник естественных наук». Учредил Комитет акклиматизации животных и растений. Пропагандировал достижения русского скотоводства и передовых методов искусственного разведения пород. Воспитал множество талантливых учеников из питомцев Московского университета и Медико-хирургической академии. Участвовал в составлении Академического словаря русского языка. Написал любопытные примечания к «Запискам об ужении рыбы» своего друга С. Т. Аксакова.

В часы досуга Карл Францович посещал кофейню Печкина возле Охотного рада, где любил покутить и сразиться в бильярд с артистами Малого театра Д. Т. Ленским, П. С. Мочаловым, П. М. Садовским. Однажды, возвращавшегося из кофейни, его настиг апоплексический удар на Тверской, возле дома генерал-губернатора. Рулье было всего сорок четыре года. «Все, что есть в Москве уважающего ум, благородство души и знание, — сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», — собралось у гроба этого знаменитого профессора».

«Как могло случиться, — удивляется биограф знаменитого зоолога С. Р. Микулинский, — что ученый такого таланта и человек такой души, которым мы вправе гордиться, был в XX веке почти совсем забыт и память о нем начала восстанавливаться только в конце 40-х годов? Объяснить это можно, но мириться с этим нельзя. Будем надеяться, что случай с памятью о К. Ф. Рулье послужит нам и будущим поколениям уроком. Уроком того, что забывая прошлое, мы не столько пренебрегаем им, сколько духовно обедняем самих себя».

Гаргантюа на русский манер. Поэт Петр Васильевич Шумахер (1817–1891)

Москва знавала многих литераторов. Тем, кто поизвестнее, поставила памятники и основала музеи, менее значительных отметила мемориальными досками и сборниками сочинений в издательстве «Московский рабочий». Таких же, как Петр Васильевич Шумахер, вовсе позабыла.

В творчестве Шумахера можно отыскать несколько стихотворений, удивительных для XIX века по глубине иронии и сатирической смелости.

Народу объявлен Манифест об освобождении крестьян. Вся передовая интеллигенция России ликует. Даже вечный злопыхатель Герцен склоняет голову перед столь решительным деянием царя-освободителя. Только веселый и беззаботный Шумахер посмеивается:

Тятька, эвон что народу
Собралось у кабака:
Ждут каку-то все свободу,
Тятька, кто она така?
Цыц! Нишкни! Пущай гугорют,
Наше дело — сторона;
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она.

В 1877 году началась Русско-турецкая война. «В бой! За славян!» — несется со всех сторон. Студенты и чиновники записываются в добровольцы, купцы жертвуют миллионы, великие княгини щиплют корпию для лазаретов. Только полунищий неунывающий Шумахер язвит:

Невдалеке от Бологоя
Два встречных поезда свистят.
В одном быков шлют для убоя,
В другом — на бой везут солдат.

Сын датчанина и белорусски, Шумахер в 1835 году окончил Санкт-Петербургское коммерческое училище, прекрасно знал не

только физику и математику, но и древние языки, свободно владел немецким, английским, французским и итальянским языками. Несмотря на обширные знания, полученные в юные годы, в старости он вспоминал отнюдь не свои победы на поприще науки:

И только голые березы
Напоминают мне те лозы,
Что вызывали вопль и слезы
Лет шестьдесят тому назад.

Около двадцати лет Шумахер прослужил в Сибири, в канцелярии генерал-губернатора края и управляющим золотыми приисками, получая и проматывая солидное жалованье. Потом женился, попутешествовал за границей, пожил в Нижнем Новгороде и Петербурге, развелся. Наконец, оставшись без гроша и без угла, поселился в Москве, вернее, стал кочевать по городу, живя у друзей и получая 150 рублей жалованья в год, как артист Артистического кружка.

Я трясся в колеснице Феба
По трактам грязи и глуши,
И не нашел я корки хлеба
Для голодающей души!
Садилось солнце жизни бледной,
Когда вернулся я в Москву,
И вот я, немощный и бедный,
Склоняю гордую главу.

Всю жизнь Шумахер чудил, тратил деньги на женщин и кутежи, обпивался и объедался, потешал собутыльников полупристойными и вовсе непристойными шутками. Не изменил он себе и в Москве. За чудачества и веселый нрав его признали достопримечательностью города. Множество историй рассказывали о нем москвичи, им не приходилось даже привирать, до того колоритен был Шумахер сам по себе.

Водку он пил большими чайными стаканами. Со своими друзьями, фотографом Брюн де Сент Ипполитом и доктором Персиным, в один присест опорожнял четверть ведра. Притом пьяным он никогда не становился, а лишь расцветало его красноречие.

Съесть этот высокий толстый барин мог неимоверное количество еды, в чем с ним могли соперничать только немногие

московские купцы с бездонными желудками.

Плохой приятель медицины,
Я ем по случаю жары
Заместо пурганца и хины
Звено соленой осетрины
И с луком паюсной икры.

От всех болезней Шумахер считал лучшим лечением баню. В Сандуны он отправлялся обстоятельно — на весь день. На полке в парилке выпивал бутылку ледяного кваса и отдавал себя в руки двух самых выносливых банщиков, которые долго охаживали его вениками. Потом спал в предбаннике, положив веник под голову, и процедура лечения вновь повторялась.

Шумахер был большим циником, не стеснялся говорить непристойности в присутствии женщин. Он даже хотел вырезать на своем самоваре загадку: «У девушки, у сиротки, загорелося в середке, а у доброго молодца покапало с конца». Медник отказался исполнять столь скабрезную работу.

Даже в самые сильные морозы на улицу он выходил без шубы и пальто — в одном сюртуке. Весь же домашний костюм его состоял из длинной женской рубашки.

Шумахер очень любил врать. И если замечал, что его болтовне кто-то начинал верить, то одурачивал простака и поднимал его на смех.

Ссорился он часто как с приятелями, так и с малознакомыми людьми. Раз в гостях Афанасий Фет, любивший вкусно закусить, обиделся, что Шумахер съел всю бывшую на столе зернистую икру. Шумахер узнал об этом и написал на почтенного поэта несколько злых эпиграмм, после которых они оставались врагами до конца своих дней…

Но пора остановиться на изображении низменной жизни Шумахера. Что же было положительного в этом тучном бездельнике? Да именно то, что он не был бездельником! Большинство москвичей наблюдали жизнь Шумахера на виду, на людях. Другая, настоящая жизнь поэта проходила в комнате, где он жил и где всегда был идеальный порядок. Богатые друзья, в том числе К. Т. Солдатенков и П. И. Щукин, присылали ему целые ящики книг, Шумахер проглатывал их, делая многочисленные записи, и аккуратно возвращал. Среди его близких друзей, кроме двух уже названных, можно назвать писателя Тургенева, который издал за границей два томика стихотворений Шумахера, переводчика Шекспира Н. Х. Кетчера и московского гражданского губернатора В. С. Перфильева, у которых он подолгу квартировал,

историка И. Е. Забелина, доктора П. Л. Пикулина, автора замечательных юмористических рассказов И. Ф. Горбунова. Подружился Шумахер и с графом С. Д. Шереметевым и последние четыре года прожил в его Странноприимном доме у Сухаревой башни, наконец-то заимев собственное жилье.

Скончался Петр Васильевич 11 мая 1891 года на 74-м году жизни и был похоронен, согласно завещанию, в усадьбе Кусково, возле Оранжерейного флигеля, где проводил летние досуги последних лет. Большая часть его творчества так и осталась неизданной. Но Шумахер, кажется, не особенно горевал об этом. У каждого своя жизнь и свой взгляд на нее.

О пользе сценического искусства. Актер Малого театра Пров Михайлович Садовский (1818–1872)

По уверениям злых на язык острословов, две русские столицы в XIX веке постоянно соперничали друг с другом. Хотя о каком соперничестве может идти речь, когда эти две достопримечательности России ничем не похожи друг на друга? Петербург просыпается под барабанную дробь, Москва — под звон колоколов. У Петербурга душа на Западе, у Москвы — на Востоке. В Петербург едут решать кляузные дела, в Москву — тратить деньги. Петербург славится оперными певцами и балеринами, Москва — драматическими артистами…

Да разве возможно вообразить, чтобы в Петербурге родился и жил драматург Островский?! Или артист Садовский?!

Пров Михайлович Садовский и московский Малый театр — это были синонимы. Хотя знаменитый артист первые два десятка лет и не помышлял, что станет москвичом. Он родился в городе Ливны Орловской губернии, где в это время находился по служебным откупным делам его отец, рязанский уроженец. В девять лет Пров потерял отца, которого ему заменил дядя (брат матери) — певец провинциальных театров. Он и приохотил мальчика к сценическому искусству. Прову пришлось перепробовать на первых порах незавидные должности: переписчик ролей, разносчик афиш, декоратор, суфлер, статист… Театральный дебют четырнадцатилетнего паренька, который отцовскую фамилию Ермолаев сменил на дядину Садовский, состоялся на тульской сцене. Следом, как и у всех провинциальных артистов, настала пора скитаний по театрам — Калуга, Рязань, Елец, Воронеж и прочие, прочие, прочие губернские и уездные города. Как и большинству товарищей по ремеслу (или — искусству?), Прову досталась полуголодная бесприютная судьба. Но счастье все же улыбнулось — после шести лет бродячей актерской жизни он переселяется в Москву, и вскоре его принимают в труппу императорского Малого театра.

Русская сцена сороковых годов была бедна русскими комедиями. «Бригадир», «Недоросль», «Ревизор», на треть урезанное «Горе от ума» — вот и все. Шли главным образом французские и немецкие мелодрамы. И все же, по уверению писателя Е. Э. Дриянского, «Садовский — что хотите сделает и русским, и понятным на сцене, как бы оно ни было бездарно,

слабо и темно в книге».

Но вот появляется новый драматург с пьесой «Свои люди — сочтемся», и в пятидесятые годы творчество Островского в актерском истолковании Садовского почти полностью завладело сценой Малого театра. Попробовал было великий комик Михаил Щепкин тягаться с молодым дарованием в роли Любима Торцова из комедии «Бедность не порок», но не имел никакого успеха.

Первое выступление Садовского перед петербургской публикой описал в своем письме к Островскому от 27 апреля 1857 года Е. Н. Эдельсон: «Садовской дебютировал в «Бедности не порок» во вторник 23 апреля. Несмотря на дурную погоду в этот день, театр был почти полон, и, по замечанию здешних, публика была гораздо чище обыкновенной александрийской. Нетерпение видеть и приветствовать дорогого гостя было так сильно, что каждый раз, как отворялась дверь, и показывалось на сцену новое лицо, раздавались рукоплескания, которые, конечно, тотчас умолкали, как скоро публика замечала свою ошибку. Наконец, появился и Садовский… Минуты две или три публика не давала ему начать, и он оставался в дверях в своей монументальной позе, с поднятой рукой. Дальнейшая его игра была рядом торжеств… Впечатление, произведенное на всех незнакомой петербургской публике игрой Садовского, новость и неожиданность смысла, которые он придал знакомой всем роли, были так сильны, что сами актеры поддались этому обаянию и сделались тоже как будто публикой… Дамы, старики, гусары и проч. плакали без различия. Какой-то старик со звездой, кажется Греч, говорил во всеуслышание, что он в первый раз видит истинное и высокое исполнение этой роли. По окончании этой пьесы Садовский был вызываем неоднократно; об остальных актерах все как будто забыли».

Удивила Москва Петербург и в шестидесятые годы, когда увлеклась небывальщиной для русского зрителя — комедиями Шекспира и Мольера. Сделать невозможное возможным — заставить московскую публику восхищаться «Проделками Скапена», «Доктором поневоле» и «Укрощением строптивой» — опять же помог очаровательный и неподражаемый Садовский.

На сцене Пров Михайлович мог предстать шутом, «тешить черта», как выражались суровые старообрядцы, но в его доме царил патриархальный старомосковский порядок.

Повсюду висели иконы строгановского письма и перед ними день и ночь горели лампады. Все женщины, от кухарки до жены хозяина, степенно ходили по комнатам в черных платьях и косынках старого фасона. Строго соблюдались праздники и исполнялись посты, не допускалось употребление «басурманского

зелья» — табака.

Садовский надолго запомнился москвичам благодаря еще и тому, что его сценическое искусство не только развлекало, но и нередко приносило благочестивые плоды. Когда он преображался в Любима Торцова, то зритель видел на сцене не играющего роль артиста, а живого человека — пьяницу с чуткой любящей душой. Об этом говорит исповедь Садовскому одного из московских купцов, который решил круто изменить свою жизнь после того, как увидел комедию «Бедность не порок». Этот монолог дословно записал писатель Иван Горбунов:

— Верите, Пров Михайлыч, я плакал. Ей-богу, плакал! Как подумал я, что со всяким купцом это может случиться… Страсть! Много у нас по городу их таких ходит. Ну, подашь ему… А чтобы это жалеть… А вас я пожалел. Думаю: Господи, сам я этому привержен был. Ну, вдруг!.. Верьте Богу, страшно стало! Дом у меня теперь пустой, один в нем существую, как перст. И чудится мне, что я уж и на паперти стою, и руку протягиваю… Спасибо, голубчик! Многие, которые из наших, может, очувствуются. Я теперь, брат, ничего не пью — будет! Все выпил, что мне положено!.. Думаю так: богадельню открыть… Которые теперича старички — в Москве много их! — пущай греются…

О назначении искусства, в том числе сценического, умными и не очень умными людьми исписаны горы бумаги. Это и просвещение народа, и воспитание гуманизма, и приучение человека к самостоятельному мышлению, и… Короче, много всего умного и не очень умного написано. Но даже если искусство Садовского принесло пользу лишь в том, что посеяло зерно сострадания к ближнему в дюжине московских купцов, разве этого мало?..

Мясницкий меценат. Предприниматель и книгоиздатель Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818–1901)

Странный народ старообрядцы, которые сами себя называют староверами Рогожского кладбища, а официальные власти кличут их раскольниками и поповцами. В XIX веке ходили сплетни, что они до сих пор живут, как современники царя Ивана Васильевича Грозного, брезгуют общаться с иноверцами и отделились от мира, запершись в своих рогожских и замоскворецких домах с глухими заборами и цепными псами. Власти и в тюрьмы их сажали, и в Сибирь ссылали, и алтари их храмов запечатали… А они все упорствуют: крестятся двумя перстами, молитвы читают по дониконовским книгам, не признают икон современного письма, свои же, старинные, считают за грех ставить за стекло; брезгуют курить, пить чай, носить немецкое платье, слушать итальянское пение, любоваться европейской живописью, праздновать Новый год в январе…

Когда решительный Николай I извел всех их попов, несколько богатых выходцев с Рогожской слободы удумали посадить в Австрии привезенного из Константинополя своего митрополита, который посвящал по старинным канонам в сан епископа и священника новых раскольничьих попов. Одним из инициаторов и финансистов этого тайного предприятия, вызвавшего неописуемый гнев Николая I (царь даже пригрозил Австрии войной), был крупнейший российский торговец хлопчатобумажной пряжей Козьма Терентьевич Солдатёнков.

Он мало походил на упрямца, жаждавшего перенестись во времена Ивана Грозного, в нем легко уживались два человека — русский предприимчивый купец и европейский сибарит. В своем роскошном доме на Мясницкой по воскресным дням Козьма Терентьевич вместе с родственником, торговцем старопечатными церковными книгами Сергеем Тихоновичем Большаковым одевались в старинные кафтаны и шли бить поклоны в домашнюю молельню, уставленную иконами строгановского письма.

Разоблачившись после долгой искренней молитвы, Солдатёнков отправлялся в другие комнаты, поражавшие своим изыском, — «помпейскую», «византийскую», «античную», «мавританскую», «светелку», — где своего ненаглядного *Кузю* поджидала француженка Клеманс Карловна Дюпюи. Разговоры их

протекали с помощью мимики и жестов, так как *Кузя* не знал языков, кроме русского, на котором его *Клеманса* говорила с трудом. В кабинете Солдатёнкова висели картины П. А. Федотова «Вдовушка» и «Завтрак аристократа», в спальне над кроватью — «Мадонна» Плокгорста, в других комнатах — полотна А. А. Иванова, Н. Н. Ге, В. А. Тропинина, В. Г. Перова, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского.

В будни Козьма Терентьевич отправлялся на Ильинку, в помещение № 72 Гостиного двора, где в нижнем этаже за конторкой сидел управляющий И. И. Бырышев, подсчитывая миллионные барыши фирмы от торговли бумажной пряжей и дисконта (учета векселей) или пописывая под псевдонимом Мясницкий романы и статьи для газеты «Московский листок».

Сам глава фирмы Солдатёнков занимал верхний этаж. Здесь его посещали не только купцы, но и известные литераторы Тургенев, Белинский, Герцен, Некрасов. Он являлся не только крупным текстильным промышленником, пайщиком ряда мануфактур, банков, страховых обществ, железных дорог и прочего, но и самым известным книгоиздателем, впервые выпустившим «Народные русские сказки Афанасьева», «Отцы и дети» Тургенева, сборники стихотворений лучших русских поэтов. Он финансировал переводы зарубежных научных книг и роскошные издания памятников мировой литературы. При этом не был книгоиздателем в обыденном значении этого слова, а меценатом, старавшимся принести пользу науке и дать заработок писателям и переводчикам, несмотря на значительные для себя убытки. Кроме того, на его деньги в Москве были выстроены две богадельни, ремесленное училище, крупнейшая больница для бедных «без различия званий, сословий и религий» (носит ныне имя С. П. Боткина), а его знаменитые собрания книг и картин по духовному завещанию поступили в Румянцевский музей (ныне Российская государственная библиотека).

«Раскольник, западник, приятель Кокарева, желающий беспорядков и возмущения», — характеризовал Солдатёнкова генерал-губернатор Москвы граф А. А. Закревский. Писатель П. И. Мельников-Печерский называл его «раскольником в палевых перчатках». Москвичи же, знавшие Солдатёнкова получше, дали ему прозвища Мясницкий меценат и Русский Медичи.

В летние месяцы, если не уезжал с Клемансой Карловной попутешествовать по Европе, Козьма Терентьевич проводил время на даче в Кунцеве…

Москва-река, извивающаяся змейкой, почти взяла Кунцево в кольцо, и взору открываются великолепные картины сельской природы. Через овраги, болотца и пруды пробираешься на самый

верх — к солдатенковской усадьбе, с трех сторон окруженной садами, парками, оранжереями и липовой рощей. С четвертой стороны спускается к реке большой зеленый луг. С балкона влево видно село Крылатское, с куполом Троицкой церкви, прямо — белый храм села Хорошево, направо — военный лагерь Ходынского поля. Здесь у Солдатёнкова часто гостят переводчик Шекспира Н. Х. Кетчер, историк И. Е. Забелин, писатель и общественный деятель И. С. Аксаков, врач П. Л. Пикулин, художники И. Н. Крамской, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, Рицкони.

Кроме усадьбы и обширных земель Солдатёнкову в Кунцеве принадлежали школа на шестьдесят крестьянских детей и пятнадцать дач, которые он сдавал внаем актеру Щепкину, пекарю Филиппову, купцу Крестовникову и другим известным с хорошей стороны москвичам.

«К. Т. Солдатёнков жил в Кунцеве весело, — вспоминает П. И. Щукин. — Задавал лукулловские обеды и сжигал роскошные фейерверки с громадными щитами, снопами из ракет, бенгальскими огнями. Фейерверки эти привозились из артиллерийской лаборатории на нескольких возах в сопровождении солдат-фейерверкеров и пускались на берегу Москвы-реки напротив главного дома».

Выходил обычно из дома Мясницкий меценат и Русский Медичи в сером сюртуке, серой накидке и серой фетровой шляпе с большими полями. «Он был небольшого роста, — вспоминает дочь П. М. Третьякова Вера Павловна Зилоти, — широкий, с некрасивым, но умным выразительным лицом. Носил небольшую бородку и довольно длинные волосы, зачесанные назад. В нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев».

Эта *душевная сила* Солдатёнкова, Морозовых, Хлудовых и других выходцев из Рогожской слободы влекла их жертвовать значительные капиталы на просвещение, милосердие и технический прогресс. В молитве они, может быть, и были замкнутой группой раскольников, зато в жизни — всеотзывчивым сострадательным братством.

По регламенту и по жизни. Полицмейстер Николай Ильич Огарев (1820–1890)

Издавна полиция занималась не только обеспечением общественного порядка, но и принимала участие во всех делах города. Она, по регламенту Петра I, «споспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу… предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам и в домах, запрещает излишество в домовых расходах и все явные прегрешения, призирает нищих, бедных, больных, увечных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных, по заповедям Божиим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках. Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобства».

Как хорошо выглядят гуманные фразы на бумаге! Бумага, она все стерпит. Как, впрочем, и русский человек. Утрется рукавом после пьяной драки с городовым и поклонится ему в ноги. Подарит отрез на платье супруге пристава, чтобы не натравил на лавку санитарную комиссию. Отсчитает сотню рубликов благотворительному обществу, лишь бы не прикрыли петушиные бои в задней комнате трактира.

Стоит ли обижаться? У полиции заработок худой, а забот полон рот и власти много. Тут не регламенты — неписаные законы вступают в силу. Но не о взятках речь…

Около половины чиновников в России второй половины XIX века — это полицейский аппарат. Возглавляли его в уездах исправники, в губернских городах — полицмейстеры, в обеих столицах — обер-полицмейстеры. Каждый из главнокомандующих московским благочинием чем-нибудь да знаменит. Про Н. У. Арапова рассказывали, что как-то его шутя пожурил генерал-губернатор, что не заметил пролетевший накануне по небу метеорит. На следующий день в «Ведомостях московской городской полиции» появилось сообщение: «Его превосходительство обер-полицмейстер заметил, что чины полиции не донесли ему о пролете метеора по небосклону Москвы, вследствие чего предписывает экстренно,

заблаговременно доносить ему о всех воздушных необычных явлениях, могущих произойти на небосклоне Москвы, дабы его превосходительство заблаговременно мог принять соответствующие меры». «Пошел Козел через бульвар», — так говорили про холостого обер-полицмейстера А. А. Козлова, ходившего из своего дома через Тверской бульвар к даме сердца — фешенебельной портнихе Мамонтовой. А. С. Шульгина отмечали за неустрашимость и распорядительность на пожарах и за страсть к роскошным обедам.

Но обер-полицмейстеры были очень значительными особами, почти как директор Департамента полиции, об их жизни трудно было выудить подробности, да и видеть их приходилось не часто. Другое дело, трое полицмейстеров, между которыми была поделена вся территория города, эти были людьми попроще, в чине полковника и даже подполковника, о них можно посплетничать вдоволь и они всегда на виду. Более других среди них москвичам запомнился Николай Ильич Огарев, прослуживший несменно в должности московского полицмейстера сорок лет (с декабря 1849 по январь 1890 года).

Он был знаменит множеством чудачеств, к чему москвичи всегда испытывали любопытство и почтение. Свою квартиру, к примеру, сплошь заставил часами, «которые били на разные голоса непрерывно одни за другими». Стены же одной из комнат украсил карикатурами на полицию. «Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания». Но главной его страстью, по словам В. А. Гиляровского, были пожары и лошади. «Огарев сам ездил два раза в год по воронежским и тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по семнадцати пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок — и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям: каждая часть имела свою «рубашку» и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская — все желто-пегие битюги, Рогожская — вороно-пегие, Хамовническая — соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами, Сретенская — соловые с белыми хвостами и гривами, Пятницкая — вороные в белых чулках и с лысиной во весь лоб, Городская — белые без отметин, Якиманская — серые в яблоках, Таганская — чалые, Арбатская — гнедые, Сущевская — лимонно-золотистые, Мясницкая — рыжие и Лефортовская — караковые. Битюги — красота, силища!»

Из множества преданий об Огареве приведем одно из наиболее курьезных, изображающее не регламент, а истинный

быт московской полиции. Однажды Огарев издал приказ, чтобы в каждой полицейской будке лежала книга, в которой должны расписываться квартальные во время ночных обходов. Но не тут-то было, квартальные продолжали преспокойно спать по ночам, а утром будочники приносили им в околоток книги для подписи. Тогда Огарев приказал прикрепить книги особой печатью к столу в будке. И что же?.. По утрам можно было увидеть на улице будочника со столом на голове, который таким образом доставлял книгу для подписи выспавшемуся начальству.

И все же Огарева уважали и часть его приказов старались добросовестно исполнить, его плечистая высокая фигура, длинные ниспадающие усы, громоподобный голос вызывали почтительный страх. Особенно, когда выезжал на пролетке из своего дома в Староконюшенном переулке и стремглав мчался по улицам, зорко поглядывая по сторонам. А вдруг остановится, заметив какую-либо неблагопристойность?.. Тогда несдобровать!

Даже спустя тридцать лет после его кончины старики, мешая быль с вымыслом, вспоминали о неустрашимом Огареве — грозе нарушителей городского благонравия.

— Ты только взятки умеешь брать, — напустился генерал-губернатор на Огарева, — а за порядком не смотришь. Ты погляди, что делается в Александровском саду. Это не Александровский сад, а Хитровка.

Вот Огарев и помчался в сад. А хива распивает. Развернулся… ка-ак резанет!

— Вот, так-растак! Чтобы духу вашего тут не пахло! — и пошел щелкать, кого по шее, кого палкой вдоль спины.

— Для вас, — говорит, — еще люминацию надо делать… — Ну, это насчет фонарей, дескать, освещение. — Так у меня, — говорит, — для вашего брата огаревская люминация.

И наставил им фонари под глазами. Как звезданет — фонарь и загорится… Как двинут эти хиванцы из сада, аж пятки засверкали.

— Бежим, — говорят, — ребята! Осман-паша пришел!

Всех разогнал Огарев и приказал вычистить сад. Одного этого навозу вывезли сто возов. И сторожей с метлами приставили. Как идет какой квартирант, так его тычком в морду метлой, а то и по башке. А на воротах дощечки такие были вывешены — ну, вроде как бы таблички, объявление такое — дескать, в саду сквернословить не дозволяется…

Сколько правды, а сколько вымысла в народном предании, мог бы поведать только сам Николай Ильич Огарев, чей прах покоится на кладбище Алексеевского монастыря, ныне заасфальтированном. Но московские полицмейстеры

воспоминаний не писали, им и без того дел хватало, начиная от поимки грабителей и кончая чистотой мостовых.

Потомок нюрнбергских патрициев. Историк, дипломат, директор Московского главного архива Министерства иностранных дел барон Федор Андреевич Бюлер (Бюллер) (1821–1896)

В Москве в сентябре 1893 года торжественно отпраздновали полувековой юбилей государственной службы почетного опекуна Московского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии, управляющего московскими сиротскими заведениями, директора Московского главного архива Министерства иностранных дел, председателя Государственного древлехранилища и Комиссии печатания грамот и договоров, почетного члена Академии наук, Публичной библиотеки и нескольких десятков других научных обществ, прозаика, историка, действительного тайного советника барона Федора Андреевича Бюлера.

Чем же прославился потомок патрициев вольного города Нюрнберга, что москвичи, всегда недолюбливавшие немцев, усердно чествовали его в дни юбилея?..

Слова благодарности этому суровому с виду, но доброму сердцем человеку не раз слетали с уст как прославленных историков П. И. Бартенева, И. Е. Забелина, Н. И. Костомарова, М. П. Погодина, С. М. Соловьева, так и молодых ученых, живших в Москве или приехавших сюда за знаниями. Один из последних, Александр Кочубинский, когда весть о смерти Бюлера долетела до Одессы, воскликнул: «Да, кто из русских молодых и немолодых ученых, ученых заграничных, например румынских, мадьярских, съезжавшихся в течение последних двух десятков лет в Москву, в знаменитый Архив на Воздвиженке, не проронит слезы над свежей могилой на вид сухого, чопорного, но в душе добрейшего старика, который широко настежь во имя науки открыл двери Архива для всех, для малых и великих, для всех, жаждавших воды от источника, после того, как они раньше заботливо закупоривались!..»

Нынче в российских архивах нередко можно наблюдать, как архивные чиновники заботливо стараются отвадить исследователей от работы в подведомственных им учреждениях.

Документы не выдают ученым, ссылаясь на то, что они ветхие или не переплетены, что над ними сейчас работают служащие архива, что они заштабелированы и т. д. Или просто: прячут описи дел тех или иных фондов и недоуменно разводят руками — мол, не ведаем, куда затерялись. Поэтому нынче с завистью читаешь воспоминания историка литературы Дмитрия Языкова о главной стороне деятельности директора Московского главного архива Министерства иностранных дел:

«Нам пришлось заниматься в этом учреждении в первые годы после его переселения на Воздвиженку. При первом же шаге в Архив пишущий эти строки, только что окончивший курс в университете, был приятно поражен как общим радушием служащих, так, особенно, приветливым приемом со стороны самого директора. Затем, по мере того как шли наши дальнейшие занятия над архивными рукописями, барон, имевший обыкновение ежедневно обходить залы Архива, все более и более интересовался ходом работ, как у нас, так и у всех занимавшихся лиц. Он подходил к каждому из нас, расспрашивал об успехе занятий, ободрял, а иногда, не видя кого-либо из занимавшихся в течение нескольких дней, старался узнать о причине отсутствия и даже, как нам известно, посылал записки к отсутствующим лицам, справляясь, почему они не посещают Архива».

Швабский барон, послужив России как дипломат, став в 1873 году директором самого бесценного русского архива (ныне его фонды хранятся в Центральном государственном архиве древних актов), очень скоро на деле доказал свою бескорыстную любовь к русской старине и страсть к изучению русской истории. Он добился, что старинный архив переехал из тесного и темного помещения в глухом переулке за Покровкой, в специально приспособленное под древлехранилище здание на Воздвиженке. Сюда со временем Бюлер перевез рукописи и картины из сырых подвалов кремлевских теремов. Под его руководством начались научная каталогизация и публикация бесценных исторических документов. Две тысячи книжных томов и эстампов собственной библиотеки, сто семьдесят четыре старинные рукописи, богатейшую коллекцию автографов и четырнадцать томов собственного фамильного архива барон Бюлер принес в дар родному архиву. Среди них — черновики посольских речей прошедших веков, собственноручные записки Екатерины II, письма А. В. Суворова…

Бюлер напечатал множество собственных исторических статей в журналах «Русский вестник», «Древняя и новая Россия», «Русская старина», «Русский архив» и других. Не брезговал Федор Андреевич и «презренной прозой», напечатав в 1843 году в

журнале «Отечественные записки» изящную светскую повесть «Ничего».

Но москвичи — народ сметливый. Они не станут чествовать всем городом ученого человека, который всего-навсего занимается своим любимым делом, притом малопонятным большинству обывателей. «Нет, — говаривали старожилы, — ты прежде послужи обществу!» Под этим выражением подразумевались дела милосердия и благотворительности. И здесь Бюлер был одной из самых значительных фигур. Многие годы он с присущей ему скрупулезностью и терпением занимался улучшением быта малолетних сирот. Под его надзором и не без помощи его капиталов во многих московских училищах появились новые лазареты, капитально отремонтировали учебные помещения, была улучшена пища. По его настоянию городское общество помогло многим учебным заведениям обзавестись собственными храмами и часовнями. По собственному признанию Бюлера, несмотря на то, что его отец был лютеранин, окружавшая его московская жизнь сделала из него «ревностного православного христианина и вполне русского человека». «В Бога верую, — писал он, — не только потому, что в море ему маливался, но и бывал на войне, да и в мирное время спасаем был им не раз от смерти, бывшей у меня уже за плечами».

Воистину, мир в конце XIX века готов был вывернуться наизнанку. Многие русские интеллигенты пыжились изо всех сил, лишь бы сойти за немца или француза, лишь бы отыскать в своей родословной хоть захудалые, но иностранные корни. А прямой наследник рыцарей-баронов Бюлеров мечтал об обратном: «Давно уже воздаю благодарение Богу за то, что на мне выразилась вся сила ассимиляции, которою обладает наше дорогое отечество, и под влиянием коей обрусело так много именитых немецких родов… Горжусь только теми из наших предков, которые оказали существенные заслуги России. Особенно на тех окраинах, где Екатерина II и Николай I твердою рукой водружали русское знамя».

Тщедушен телом, но не умом. Издатель и директор лицея Павел Михайлович Леонтьев (1822–1875)

«Московские ведомости» в 1860—1880-х годах называли Катковской газетой, Лицей в память цесаревича Николая — Катковским лицеем. Но до 1875 года издателем «Московских ведомостей» был Павел Михайлович Леонтьев, ему же принадлежит первенство основания лицея.

Каткова вспоминают и в наши дни, но, к сожалению, не за благие дела. Его имя стало жупелом, как «апологет реакционного правительственного курса царской России». До недавнего времени его с усердием бичевали на своих лекциях профессора марксизма-ленинизма, следуя за брошенной Лениным фразой, что Катков «повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству».

Имя П. М. Леонтьева не встречается в работах главы Советского государства, поэтому и подлежало забвению. Да и не один Ленин тому виною, колоритная фигура Каткова, его яркая публицистика затмили деятельность тщедушного телом, горбатого друга.

Леонтьев же был первым директором Катковского лицея, именно ему надо поклониться за постройку нового великолепного училищного здания на Остоженке (ныне принадлежит Дипломатической академии). Да что говорить, даже катковское мировоззрение было в равной степени присуще обоим друзьям. «Семнадцать лет мы жили вместе, — вспоминал Михаил Никифорович, — почти не расставаясь, под одним кровом. Между нами не было никакой розни. Мысль, возникавшая в одном, непосредственно продолжала действовать и зреть в другом. Он был истинным хозяином моего дома, душой моей семьи. Все дети мои его крестники, и ничего у нас без его благословения и согласия не делалось».

Родился Леонтьев 18 августа 1822 года в Туле. Начальное обучение получил от матери и трех домашних учительниц, из которых одна была выпускницей Московского Екатерининского института, а остальные — иностранки. Дома было много книг и еще более — у прапрадеда по матери Андрея Тимофеевича Болотова, к которому мальчика возили каждый год до смерти почтенного старца в 1832 году.

В январе 1835 года Леонтьев поступил в четвертый класс

Дворянского института в Москве (бывший университетский Благородный пансион). В пятнадцать лет он стал студентом философского факультета Московского университета, по окончании которого в 1841 году служил в течение двух лет там же библиотекарем. В январе 1843 года на казенный счет отправлен за границу, где слушал лекции в Кенигсбергском, Лейпцигском и Берлинском университетах. По возвращении на родину с сентября 1847 года приступил к преподавательской работе в Московском университете, где читал лекции о государственном устройстве Древнего Рима, по истории древнего искусства и археологии.

Ученую известность принесли Леонтьеву диссертация «О поклонении Зевсу» и издание пяти томов «Пропилеи». Вместе с Катковым он издает с 1856 года «Русский вестник» и с 1863 года «Московские ведомости», в 1869 году участвует в ученом комитете Совета министров по выработке устава гимназий. И вся дальнейшая жизнь — в работе над учебной реформой, во славу открытого в 1866 году лицея.

«Если бы для пользы лицея потребовалось бы воздухоплавание, — писал в своих воспоминаниях инспектор Московского учебного округа Я. И. Вейнберг, — Павел Михайлович несомненно сделался бы аэронавтом, причем подробно изучил бы эту науку и высказал, вероятно, немало дельных замечаний».

Леонтьев находил время и преподавать, и руководить постройкой нового училищного здания, и заниматься административными делами, и редактировать газету и журнал, и следить за качеством пищи воспитанников. По свидетельству современников, он был человеком универсальных знаний. С архитекторами — архитектором, с инженерами — специалистом по вентиляции, с банкирами — бухгалтером. «Он был всем в заведении, — вспоминал Катков, — и замещал собою всякое отсутствие, восполнял всякий недостаток».

Всю ночь проработав в редакции «Московских ведомостей», после краткого отдыха мчится Леонтьев со Страстного бульвара на Остоженку, где уже выросли стены нового училищного здания и где его ждут подрядчики, поставщики, техники. Павел Михайлович спорит о водопроводе, ползает по чертежам вместе с архитектором, тут же делает математические расчеты, советует передвинуть одну из стен. Закончив неотложные дела, торопится в старое лицейское здание на Большую Дмитровку, углубившись в карете в проверку поданных счетов.

Но вот невысокого росточка директор, с худощавым лицом, острыми карими глазами, рыжеватой бородой и в очках в толстой

черепаховой оправе появляется на верхней площадке парадной лестницы. Он спешит налево — в приемную, где ждут родители. Садится рядом с матерью воспитанника — и уже все на свете забыто, кроме ее сына, его оценок, характера, будущего. Идет участливая задушевная беседа. Следующий разговор — с родителями, привезшими своего мальчика для помещения в лицей. Павел Михайлович зовет тутора (старшего воспитателя) младшего класса, и они вместе экзаменуют поступающего. «Все искусство этого экзамена, — наставлял директор коллег, — заключается в том, чтобы обнаружить не то, чего мальчик не знает, а то, что он знает».

Закончив с родителями, Леонтьев идет в «секретарскую» — к своим сотрудникам. Решив и здесь неотложные вопросы, отправляется с последним собеседником в столовую — первый раз за день перекусить. Затем, взяв из чуланчика под лестницей, носящего имя директорского кабинета, нужные книги, направляется в класс. «Не то важно, — говорил он, — что ученики узнают на уроке, а то, как узнают».

После урока, по просьбе училищного доктора, идет в больницу, где на равных со специалистами обсуждает план лечения заболевшего воспитанника. От кровати больного — в актовый зал на общую молитву, потом в свой кабинет под лестницей, где уже ждет эконом с хозяйственными книгами. Поздно вечером, когда классы пустеют и жизнь в здании замирает, садится за проверку ученических тетрадей, иногда засыпая, сидя за столом, на пятнадцать минут. А глубокой ночью вновь спешит в редакцию газеты. И эта круговерть изо дня в день, без передышки. Профессор Н.А. Любимов, преподававший в лицее физику, на одном из собраний шутливо заметил, что «Павел Михайлович может нанести ущерб преподаванию естествознания, стараясь доказать, вопреки основной астрономической истине, что в сутках более двадцати четырех часов».

Когда уже завершалось строительство нового здания лицея, Павел Михайлович умирал. Но и на смертном одре, за день до кончины, которая наступила 24 марта 1875 года, он продолжал трудиться — обсуждал проект устройства лицейской церкви.

Народный трибун. Поэт и общественный деятель Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886)

«Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее, — обращался к петербургскому дворянству император Николай I. — Вы — моя полиция!» И господа, млея от монаршего доверия и доброжелательства, восторженно кричали: «Ура-а-а!»

Но все настойчивее звучали иные голоса, и среди них голос Ивана Аксакова:

Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне:
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне.

Он говорил: надо научиться любить свой народ.

Ему возражали: нельзя полюбить тех, кто намного ниже тебя по разуму и культуре.

Он говорил: изучайте историю своего народа, поближе познакомьтесь с жизнью простолюдина и тогда поймете, что он больше достоин любви и уважения, чем мы с вами.

Его снисходительно одергивали: вы увлекаетесь, мыслите с узких позиций своей партии.

Он признавался: все мои мысли и стремления принадлежат партии, которую составляет весь угнетенный народ, глядя на бесчисленные страдания которого, никто из нас не имеет права оставаться равнодушным, бездеятельным, самовлюбленным.

Мы любим к пышному обеду
Прибавить мудрую беседу
Иль в поздней ужина поре
В роскошно убранной палате
Потолковать о бедном брате,
Погорячиться о добре!

Подобные иронические стихи оскорбляли и «борцов за демократию», и «охранителей порядка»: на *святое* посягнул — на нашу любовь к народу!

Аксаков предлагал: раз вы на словах души не чаете в мужике, докажите то же делом, поставьте свои подписи под проектом обращения дворянства к правительству, опубликованным мною в газете «День» 6 января 1862 года:

«Дворянство, убеждаясь, что отмена крепостного права непреложно-логически приводит к отмене всех искусственных разделений сословий, что распространение дворянских остающихся привилегий на прочие сословия вполне необходимо, считает своим долгом выразить правительству свое единодушное и решительное желание: чтобы дворянству было позволено торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя *как сословия*. Чтобы дворянские привилегии были видоизменены и распространены на все сословия России».

Тут уж «левые» и «правые» объединились, заполняя страницы газет обеих русских столиц гневными обличениями *несвоевременного филантропического* аксаковского проекта.

Лишь тверское дворянство не пошло на поводу у «любителей народа» и на общем собрании приняло решение об отказе от своих сословных привилегий.

«Любовь к России, любовь к своему народу, — писал Аксаков в передовой статье все той же газеты «День», — призывают нас к делу, требуют от нас не мужества воина, не энергии разрушения, не стойкости, презирающей смерть, а мужества гражданина и упорного деятельного труда, творящего и зиждущего».

Вся жизнь Ивана Аксакова была отрицанием бездействия и самоуспокоения, защитой прав угнетенных народов. Многие годы взоры мыслящих людей России были постоянно обращены к Москве, к газете Аксакова: что он скажет? О каждой его речи в Московском славянском комитете во все концы мира летели телеграммы, и по ним в Париже, Лондоне, Вене судили: что думает русский народ о тех или иных политических шагах своего правительства Слова «честен, как Аксаков» стали поговоркой. С ним можно было не соглашаться, но невозможно было не любить, не верить в его искренность и горячее желание принести пользу Отечеству.

За прямоту и откровенность его сажали под арест, отправляли в ссылку. Его газеты и журналы закрывали, запрещая впредь Аксакову заниматься редакторской деятельностью. Потом его пробовали «подкупить», предлагая редакторский пост в новой газете, но с непременным условием: «Чтобы *идея о* праве самобытности развития народностей, как славянских, так и иноплеменных, не имела места в газете и все, что относится до сего предмета, было бы из нее исключено».

Но Аксаков *нудил,* отказываясь от выгодной вакансии.

Он и служить-то начал оригинально: как только убедился, что его работа в Сенате всего лишь бездушная канцелярщина и лесенка для получения чинов, пренебрегая выгодами столичной службы и большими связями отца, стал проситься в провинцию, к живому многотрудному делу взамен бумажной волокиты. Его работа в Уголовных палатах Астраханской и Калужской губерний, служба в Ярославле, поездка для описания ярмарок на Украину, добровольное участие в Крымской войне — это попытка на деле проявить свою любовь к родине, защитить неимущий люд от вельможных притеснений, желание понять и искренне полюбить простолюдина, сблизившись с ним.

«Недавно сидел я вечером в избе, — признавался Аксаков родным, — где потолок был черен как уголь от проходящего в дыру дыма, где было жарко и молча сидело человек пять мужиков. Молодая хозяйка одна с грустным выражением лица беспрестанно поправляла лучинку, и все смотрели на нас как-то странно. Мне было и совестно, и тяжело. Это освещение в долгие зимние вечера, эта женщина, без всякой светлой радости проводящая рабочую жизнь, и мы, столь чуждые им… Право, есть на каждом шагу в жизни над чем призадуматься, если отвлечешь себя от нее».

«Он не знает отдыха», — удивлялись чиновники-коллеги его быстрой, четкой и неутомимой работе. «Он борется против воровства интендантов», — гордились ополченцы его честностью и заботой о солдате. «Он заставляет обливаться кровью наши сердца», — замечали слушатели его пламенных речей.

Но усердие по службе, если оно проявлено без позволения начальства, в России не поощрялось, и потому Иван Аксаков, по собственному заверению, «никаким награждениям знаками отличия не подвергался».

Но он не остался без наград. В книжных шкафах любителей русской словесности уже стояли рядком аккуратные томики сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова, отредактированные еще в рукописи сыном Иваном. Сотни статей и очерков Ивана Аксакова, помещенные в газетах «Парус», «День», «Москва», «Москвич», «Русь», читались всей грамотной Россией, а позже они были собраны в семитомном собрании сочинений. Его письма к родным и близким, бережно сохраненные адресатами, после издания в четырех томах стали своеобразным продолжением «Семейной хроники» отца. Болгары, сербы, черногорцы, другие угнетенные народы, жители российских окраин надолго сохранили память о защитнике их прав и достоинства — Иване Сергеевиче Аксакове.

Он не был ни выдающимся полководцем, ни популярным

министром, окончил служебную карьеру в скромном чине седьмого класса — надворный советник. Но он был любим народом. И когда на трибуну торопливой походкой поднимался среднего роста человек в золотых очках, с гладко зачесанными назад уже седеющими волосами и начинал свой страстный монолог, возбужденные слушатели перешептывались, кивая на оратора: «Поглядите на Ивана Сергеевича — у него сердце разрывается от переживаний за других».

Однажды оно разорвалось по-настоящему…

Очередное собрание 31 января 1886 года Общества истории и древностей российских началось скорбными словами историка В. О. Ключевского:

— Несколько часов тому назад мы проводили на вечный покой одного из наших сочленов, И. С. Аксакова. Да будет ему вечная память! Каждый из нас будет долго чувствовать всю тяжесть утраты, понесенной с его смертью славянским делом, русским обществом, русской литературой и особенно русской периодической печатью…

Говорили об Аксакове в тот день и многие другие. «Да будет ему вечная память!» — повторяли все.

Но в 1986 году столетие со дня смерти Ивана Аксакова было отмечено воистину гробовым молчанием.

Чтобы быть сильным, чтобы понять окружающий мир и жить дальше в надежде, что потомки поблагодарят нас за добрые дела, надо самим постоянно думать о прошлом, оберегать его камни, рукописи, предания, свято хранить память о достославных людях. Один среди них — Иван Аксаков.

Неопознанный гений. Издатель и публицист Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887)

Полусонная Коломна начала XIX века. Одноэтажные домики с палисадниками и огородами. Домашняя птица — хозяин городских улиц. Полуразрушенный древний кремль. Два десятка православных храмов…

Коломенский священник отец Петр Никитский получил фамилию по названию своего храма Никиты мученика, что на берегу Москвы-реки. Вся его родня как прежде, так и теперь — дьячки, дьяконы, священники. Старший сын Александр в духовной семинарии получил отличную от отцовской фамилию — Гиляров, что в переводе с латинского обозначает веселый. Стали Гиляровыми и средний сын Сергей, и младший Никита.

Бедна жизнь коломенского священника, ибо приход у него крестьянский и за требы (крестины, молебны, панихиды) верующие могут расплатиться только хлебом, яйцами да молоком. Дом священника — курная изба с дымом, режущим глаза. В холодном храме того хуже — зимой руки примерзают к кресту, губы — к потиру. Так было здесь и век, и три назад. И если не отцу Петру, то, может быть, его сыновьям представится возможность взломать лед многовекового однообразия.

«Духовенство же есть вообще особенный мир, — размышлял младший сын Никита, — а семья, среди которой я вырос, была и среди особенных особенная, она жила в семнадцатом веке, по крайней мере, на переходе к восемнадцатому». Жили исключительно интересами ближайшей округи, а про Москву только слышали, что она от Коломны за сто верст и приблизительно в той же стороне, где сходятся небо с землею.

Никита на удивление рано начал познавать окружающий мир. «Летний день в светелке, рядом с топлюшкой, окна открыты. За столом сидит несколько ребят, перед ними книги. Ближе к окну висит люлька, и в ней я сижу. Очень живо представляю себе эту люльку и набойку с заплатами, на нее натянутую, веревочки, привязанные к тому же, должно быть, крюку, на котором висит люлька. Я сижу, держа в руках веревочку, раскачиваюсь и распеваю «ла-ла-ла», изображая звон и воображая в себе звонаря. Когда это было?.. Мне не было еще четырех лет, во всяком случае».

В 1831–1838 годах Никита учился в Коломенском духовном

училище, постигая азы грамоты и Закона Божьего. Но более — уродливость провинциальной школы. «Один из учителей, Петр Михайлович… ставил на горох на колени, приказывал готовить дурацкие колпаки, надевал на подвергаемых наказанию и ставил несчастных во весь рост на задние парты, с предписанием притом держать руки распростертыми, а на руки велит положить на каждую по лексикону. Руки у несчастных опускаются под тяжестью. Но — горе! — сзади поставлены тоже приспешники с картузами в руках, обязанные бить изнемогавшего мальчика козырьком по голове при едва заметном понижении рук. Это было гадкое зрелище: шесть парт, по три на каждой стороне; мальчики сидят, и сзади их возвышаются подобные статуям по три, по четыре распятых с обеих сторон, и за ними приспешники. Да что! Бывало хуже. Велит кому-нибудь бить по щеке несчастного, плевать в лицо… И за что! За малоуспешность, за невыученный урок, может быть даже только по малоспособности».

Наконец первая ступень образования осталась позади. Родители собирают Никиту в Москву — в духовную семинарию. Из отцовской казинетовой рясы шьют ватную чуйку с плисовым воротником, перешивают семинарский сюртук старшего брата Александра, который уже служит дьяконом в московском Новодевичьем монастыре.

Многое в Москве в новинку. Никогда прежде Никита не видел, чтобы люди, здороваясь, пожимали друг другу руки, не видел трехэтажных каменных домов, разряженных в золото вельмож, осанистых верховых офицеров. Только храмы напоминают Коломну, хотя они, конечно, в Первопрестольной не в пример благолепнее, а служители — сытнее.

К концу учебы Никита все чаще задумывается о дальнейшей судьбе. Гражданская служба? Дьяконское место? Учительская работа? Кончив семинарию первым учеником, решает — поступать в Московскую духовную академию.

К Троице-Сергиеву монастырю он подъезжает 15 августа 1844 года. «Я почувствовал внезапно почтение и к зданию, и к тому, что, по предположению, в нем должно быть».

В Академии особая задушевная атмосфера. Все воспитанники — господа студенты. Старшие водят младших в гости к профессорам-землякам. Бакалавры — друзья студентов. Прислуга — хранители академических преданий. «Ахадемии же моя вечная признательность, что давала простор моей внутренней жизни. Она мне снисходила, даже баловала меня. На целые месяцы уезжал я в Москву в течение учебного курса, чтобы изучением писателей, которых не находил в академической библиотеке, заполнять оказавшиеся пробелы. В последний год студенчества

мне отведена была даже профессорская квартира, чтобы общежитие своим многолюдством не нарушало моего углубленного труда, напряжение которого с вечными муками умственного чадорождения начальству было даже малоизвестно».

Закончив академический курс в 1848 году, Никита, в виде особого отличия за исследование философии Гегеля, получил прибавку к фамилии в честь покойного московского митрополита Платона (Левшина) и стал Никитой Петровичем Гиляровым-Платоновым. Ему предложили должность бакалавра, и вплоть до 1855 года он преподавал в Академии историю ересей и расколов, герменевтику (толкование Библии), полемическое богословие.

«Он никогда не садился за кафедру и не читал по тетрадке, — вспоминал А. Владимиров, — но как только входил в аудиторию и раскланивался со студентами, то начинал ходить взад и вперед по аудитории и непрерывно говорить до самого звонка, имея в руке небольшой лоскуток бумаги, на котором было намечено, о чем говорить на этой лекции. И как только он говорил! Речь его была жива, блестяща, чарующа, обильным потоком лилась из его уст и не имела ни малейшего признака деланности, искусственности. Нужно ли говорить, что студенты обожали его?»

Увы, под давлением земляка, московского митрополита Филарета, недовольного его *вольнодумством,* Никита Петрович был отстранен от преподавания. Переселившись в Москву, он сблизился со славянофилами, стал своим в семье С. Т. Аксакова, оказался единственным человеком для А. С. Хомякова, с которым прославленный философ признавал свое полное согласие. Но и спорили они между собой чаще, чем с другими. «Первые славянофилы, — говорил при отпевании Гилярова-Платонова архимандрит Сергий, — устремились в недра православной церкви и богословской науки и, заимствуя от нее свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, сами привнесли в нее поток свежей глубокой мысли и чувства. Навстречу этому течению вышел Гиляров со свежей обильной струею мысли цельной, возвышенной, глубокой и прочувствованной и, заимствуя многое от них, сам немало привнес к ним, предохраняя их от философии по стихиям мира сего, а не Христа».

Никита Петрович участвует в работе журнала «Русский вестник», других славянофильских изданий. В 1856 году новые друзья помогли ему устроиться в Московский цензурный комитет, где за шесть лет службы он получил с десяток строгих выговоров, но зато дал разрешение на издание многих полезных русских книг, которые без его смелости так бы и остались в рукописях.

«Вы меня считаете честным человеком, благодарю вас, тысячу

раз благодарю, — отвечал Гиляров-Платонов на письмо одного знакомого литератора. — Нужно побыть честному человеку хоть несколько в шкуре цензора, чтобы понять, как много значит это простое признание, как трудно, почти сверхъестественно его дождаться».

Каков он был цензор, поясняет случай, когда учитель одной из губернских гимназий пришел к нему на квартиру справиться о своей посланной в цензурный комитет издательством рукописи.

— Я вас давно жду, и уже хотел сам отправляться отыскивать, — ласково оглядев бедно одетого провинциала, начал разговор московский цензор. — Ваше сочинение я, можно сказать, проглотил. Я подписываю дозволение на его печатание, хотя должен буду ждать за это увольнения.

Приключилась пикантная ситуация — цензор настаивал на издании книги, автор же объявил, что никогда не допустит, чтобы из-за его сочинения семейный человек потерял место.

В 1862 году Гилярова-Платонова все-таки уволили за благосклонность к журнальным статьям об ускоренном проведении в жизнь крестьянской реформы. Чтобы вовсе не лишить заработка бывшего цензора, Министерство народного просвещения отправило его на несколько месяцев за границу для изучения образования евреев, в первую очередь в раввинских училищах.

Вскоре при содействии митрополита Филарета, несмотря на вольнодумство Гилярова-Платонова продолжавшего чувствовать к нему личную приязнь, Никита Петрович становится управляющим московской Синодальной типографией. О своей деятельности на новом поприще в течение 1863–1867 годов он писал К. П. Победоносцеву: «Параллельные места Библии, поверхностно составленные, искаженные опечатками и переставшие давать какое-нибудь руководство при чтении Священного Писания, вынудили меня исходатайствовать учреждение комиссии из духовно-ученых лиц для выверки параллельных мест и новой их редакции. Не я виноват, что дело осталось без последствий, и Филарет был взят от земного служения, а я от типографии».

Девятнадцатилетней преподавательской и служебной деятельностью Гиляров-Платонов доказал, что он малопригодный чиновник из-за своей щепетильной добросовестности, честности и убежденности, что обязан *растолковывать правительству истину*. Пришлось с чином статского советника выйти в отставку.

Вся последующая его двадцатилетняя жизнь — служение созданной им при финансовой поддержке Ф. В. Чижова газете «Современные известия». Приступив 1 декабря 1867 года к

выпуску ежедневной дешевой газеты, Гиляров-Платонов более всего опасался, что не сумеет соблюсти *известную меру пошлости,* необходимую для массового периодического издания. Свое кредо журналиста и издателя он высказал в передовой статье «Современных известий» от 2 января 1869 года: «Публицист, не уважающий истории и преданий своего народа и коренных основ общественной жизни, которой он живет, столь же недостоин своего призвания, как поклонник суеверий и диких инстинктов массы или нахальный льстец властей».

«Гиляров-Платонов и в звании журналиста остался тем же человеком бескорыстной идеи и убеждения, каким мы его видели в звании бакалавра и на должности цензора, — утверждал Ф. П. Еленев. — Он и туг часто рисковал существованием своей газеты, увлекаясь любимыми идеями, и своим горячим, часто даже несдержанным словом. Его выгораживали из беды только его, ведомые цензурным властям честность и беззаветная любовь к отечеству».

О любви Гилярова-Платонова к своей газете и уважении к ее сотрудникам и авторам ходило множество как достоверных историй, так и легенд. Однажды его вместе с репортером П. А. Сбруевым, писавшим злые фельетоны за подписью Берендей, вызвали к генерал-губернатору. С неохотой надел редактор непривычный фрак, и поутру они отправились в генерал-губернаторский дом на Тверской.

Князь В. А. Долгоруков принял их попросту, даже без парика, что с ним случалось редко.

— Это Берендей? — кивнул он на Сбруева.

— Он самый, ваше сиятельство, — спокойно отвечал Гиляров-Платонов. — Прошу любить и жаловать.

— Зачем вы?.. — Князь задумался, не зная, как сформулировать свою мысль. — Зачем вы пишете?

— Смею спросить, ваше сиятельство, — вспыхнул Сбруев, — зачем вы кушаете?

Князь улыбнулся — он был сегодня в духе.

— Это не ответ. Если вы нуждаетесь… Вот я вам дам сегодня же хорошее место, но с условием, чтобы Берендей умер… Поняли? — обратился князь к обоим собеседникам.

— Понял, — ответил Сбруев. — Берендей умрет.

— И пора. Будет с него. Надоел!

Аудиенция закончилась.

— Что ж, батенька, — рассмеялся Никита Петрович, когда они вышли от генерал-губернатора. — Помирайте, как приказано, и продолжайте-ка *с того света.*

Следующий фельетон появился за подписью *Берендея с того*

света. Генерал-губернатор тоже выполнил свое обещание, устроив Сбруева чиновником особых поручений при обер-полицмейстере, благодаря чему Берендей стал располагать дополнительной информацией. Когда «Современные известия» приостанавливались властями за резкую критику правительства, сотрудники и другие служащие, включая сидевших без дела наборщиков, в отличие от других газет, продолжали получать жалованье. Если в кассе было пусто, Гиляров-Платонов делал заем. «Были случаи, — вспоминала М. С. Сковронская, что, жалея его, лица, имевшие возможность зарабатывать чем-нибудь себе на содержание, отказывались получать жалованье во время приостановки газеты».

В «Современных известиях» не было и следов коммерческого духа. Про свою редакторскую работу Гиляров-Платонов, опубликовавший в «Современных известиях» около двух тысяч статей по самым разным вопросам, начиная от существа православия и задач славянства и кончая проблемой скалывания льда с улиц, говорил: «Я каторжник, прикованный к тачке».

По воскресеньям в доме на углу Знаменки и Антипьевского переулка, где размещалась и редакция газеты, собирались друзья и соратники: знаток древних рукописей и фольклорист Е. В. Барсов, славист П. А. Бессонов, археолог и этнограф П. Н. Батюшков, философ и общественный деятель Ю. Ф. Самарин, историки Д. И. Иловайский и М. П. Погодин, сотрудник «Московских ведомостей» П. К. Щебальский, театральный деятель и публицист С. А. Юрьев, сотрудники «Современных известий» Ф. А. Гиляров, П. А. Сбруев, Н. И. Пастухов и многие другие. Захаживал время от времени и писатель Л. Н. Толстой, пока не обиделся на Никиту Петровича за критический разбор своей «Исповеди».

Чтобы поддержать газету, к середине восьмидесятых годов Гиляров-Платонов распродал с аукциона свое имущество, переселился из большой квартиры в меблированные комнаты напротив Румянцевского музея, которые еле-еле отапливались керосиновой печкой. Работал он, по привычке, полулежа на диване, иногда не снимая шубы. Высокий, крепко сложенный и немного сутуловатый, с чисто русским широким и бородатым лицом, он поражал посетителей высоким лбом и карими глазами, смотрящими упорно и выразительно. Многим были непонятны его мысли под конец жизни: «Вся моя жизнь неудачна от моего совершенно одинокого самовоспитания, от той боязни подпасть авторитетам, которой я вооружился с семнадцатилетнего возраста». Зато, зная его, друзья понимали другие слова, что «труд есть долг, а не средство своекорыстия» и «жизнь есть

подвиг, а не наслаждение».

Последняя его попытка выправить жизнь — поездка в Петербург за разрешение после недавней смерти М. Н. Каткова стать арендатором «Московских ведомостей». Увы, отказ. Потрясенный, Никита Петрович 13 октября 1887 года внезапно скончался в петербургской гостинице. Похоронили его на кладбище московского Новодевичьего монастыря. Его любили и ставили рядом с А. С. Хомяковым «за русскую душу, русский взгляд на вещи». Гиляров-Платонов оставил после себя множество трудов по православному богословию, истории религиозного раскола, русской и славянской филологии, русской политической экономии. Часть из них была издана уже после смерти автора: «Основные начала экономии» (М., 1889), «Сборник сочинений» (т. 1–2, М, 1899), «Университетский вопрос» (СПб., 1903), «Экскурсии в русскую грамматику» (М., 1904), «Вопросы веры и церкви» (т. 1–2, М., 1905–1906), «Еврейский вопрос в России» (СПб., 1906). По словам В. В. Розанова, в Гилярове-Платонове «открывался чрезвычайный ум, показывался глубокий мыслитель, которого Россия не успела заметить у себя». Один из его посмертных сборников статей и писем друзья назвали: «Неопознанный гений».

В суде, на чердаках и в дальних странах. Юрист, историк искусства и коллекционер Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895)

В Москву со всех сторон света везли не только товары, но и арестантов, которые, пройдя через пересыльную тюрьму на Воробьевых горах, отправлялись по многострадальной Владимирской дороге в Сибирь на поселение или в каторгу.

Тюрьма не располагает к веселости — холодные каменные стены, темные, как глазницы черепа, окна, выкрашенные черной краской двери с маленькими окошками, повсюду запоры, решетки, штыки сторожей. Но московскую тюрьму середины XIX века арестанты предпочитали любой другой.

«Удобством наши темницы не отличались, — писал в научном труде «Русские народные картинки» Д. А. Ровинский, — было в них и тесно, и душно, точно так же, как тесно и душно в куриной избе бедняка крестьянина. Но при каждой тюрьме был непременно двор, окруженный частоколом, на этом дворе заключенные проводили большую часть дня. Знаменитый Говард, осмотревший тюрьмы чуть ли не всего света, отзывался о московской тюрьме очень сочувственно. Лица у арестантов, по его словам, были полные и здоровые, и не было и в помине признаков так называемой тюремной лихорадки, которая распространена в западных тюрьмах».

Конечно, не только относительная свобода тюремного порядка ценилась арестантами в Москве. Они ожидали встретить здесь христолюбивого доктора Гааза, который похлопочет перед начальством за облегчение их злой судьбы, и получить милосердную помощь сердобольных обывателей, столь обильную, что ее хватало на весь долгий путь до Сибири.

«Что народ смотрит с состраданием на преступника, уже наказанного плетьми и осужденного на каторгу и ссылку, и, забывая все сделанное им зло, несет ему щедрые подаяния вещами и деньгами — это правда, — писал в официальной «Записке по устройству уголовного суда» Д. А. Ровинский. — Что народ жалеет подсудимых, просиживающих на основании теории улик и доказательств, в явное разорение своего семейства и государственной казны, — и это правда. За это сострадание

следовало бы скорее признать за народом глубокое нравственное достоинство, нежели обвинять его в недостатке юридического развития».

Кого только нет в русском остроге — доме плача и скорби! Седовласые старцы-староверы, прозванные властью *раскольниками,* опрятно одетые *аристократы* — воришки, крадущие только бумажники по театрам и храмам; угрюмые мокрушники — осужденные за убийство с пролитием крови злодеи. Более других — привыкших к тюремным нарам бродяг, не унывающих в своих серых армяках. Сидя *в мешке,* как на блатном жаргоне называют острог, большинство уже попробовали *благодетеля* — кнута или хлыста, стали *крещеными* и теперь мечтают о *прохладе* — пройти медленным шагом по Москве, собирая подаяние под заунывное пение «Милосердной».

По примеру Федора Петровича Гааза и прокурор Дмитрий Александрович Ровинский в сопровождении стряпчих и секретарей каждую субботу обходил пересыльную тюрьму и Бутырский тюремный замок, стараясь удовлетворить жалобы осужденных и ускорить разбор дел, находящихся под следствием.

«Большая часть из вас, господа, только что окончила образование, — наставлял Д. А. Ровинский молодых следователей. — Вы еще неопытны в деле. Но нам дорога ваша неопытность. Вы не привыкли еще видеть в арестанте немую цифру, которую чиновники с таким старанием сбывают друг другу. Для вас *всякое* дело еще так ново и полно жизни. Опытности вам научиться недолго, если вы решитесь вполне отдаться вашему делу. С вами поделятся ею те из ваших товарищей, которые уже знакомы со службой. Вы же, в свою очередь, поделитесь с ними тем первым и дорогим жаром молодости, с которым так спорится всякая работа. Помогайте друг другу, господа, наблюдайте друг за другом, не дайте упасть только что начатому делу, будьте людьми, господа, а не чиновниками! Опирайтесь на закон, но объясняйте его разумно, с целью сделать добро и принести пользу. Домогайтесь одной награды: доброго мнения общества, которое всегда отличит и оценит труд и способности».

Дмитрий Александрович Ровинский был выдающимся деятелем по подготовке и проведению в жизнь судебной реформы 1860-х годов, решительный противник телесных наказаний и инициатор суда присяжных. Его служение Закону можно назвать династическим. Отец, Александр Павлович, смоленский дворянин, с назначением после Отечественной войны 1812 года в Москву военным генерал-губернатором графа А. П. Тормасова, стал в Первопрестольной вторым полицмейстером, помощником

А. С. Шульгина, вместе с которым устроил прославленную пожарную команду. В Москве он женился на дочери лейб-медика Екатерины II И. И. Мессинга. Анна Ивановна принесла за собой богатое приданое и 16 августа 1824 года родила сына.

В 1837 году тринадцатилетний Дмитрий поступил в петербургское Училище правоведения. «Жил он со всеми мирно и тихо, — вспоминал старший товарищ Ровинского по училищу В. В. Стасов, — учился хорошо и исправно, как тоже множество других товарищей, и отличался разве тем, что вздумал участвовать в училищных концертах, которых тогда бывало у нас много… Стал учиться играть на контрабасе. Играл на контрабасе также и другой наш товарищ — князь Д. А. Оболенский, впоследствии член Государственного совета и статс-секретарь. Они у нас на концертах стояли на эстраде рядом: один — большой [князь Д. А. Оболенский], другой — маленький, один — черный, другой — рыженький и курчавенький… Но, выйдя из училища, каждый из них двух положил свой толстый смычок в сторону и больше до него во всю жизнь уже и не дотрагивался».

Ровинский закончил училище в 1844 году по первому разряду и с чином титулярного советника был направлен в родную Москву помощником секретаря седьмого департамента Сената. В 1848 году его назначили губернским казенных дел стряпчим, в 1850-м — товарищем председателя Уголовной палаты, в 1853-м — московским губернским прокурором, в 1870-м — сенатором уголовного кассационного департамента Сената, и в последней должности он оставался вплоть до кончины.

Ровинский осуществлял в городе надзор за порядком судебного производства и охрану интересов частных лиц. «Он не вступал в служебные пререкания, — вспоминал управляющий канцелярией министра юстиции Д. Е. Бер, — но сильные и могущественные лица г. Москвы и московского генерал-губернаторства охотно, а иногда и весьма неохотно подчинялись его требованиям, заявляемым в самой мягкой, но твердой и законной форме».

Когда 26 мая 1894 года торжественно отмечали пятьдесят лет государственной службы на благо российского судопроизводства тайного советника Ровинского, больше всего говорили о второй стороне его жизни, посвященной собиранию и изучению живописных портретов, гравюр, икон, лубков. Ведь даже его первая появившаяся в печати статья касалась вопросов искусства — разбор сочинения И. Е. Забелина «О металлическом художественном производстве в древней Руси» (журнал «Отечественные записки», 1853 г.). Следом длинной чередой пошли книги: «Русский гравер Чемесов», «Одиннадцать гравюр И.

В. Берсенева», «Подробный словарь русских гравированных портретов» (4 тома), «Подробный словарь русских граверов XVI–XIX веков» (2 тома), «Полное собрание гравюр Рембрандта» (4 тома), «Николай Иванович Уткин, его жизнь и произведения», «Федор Иванович Иордан», «Русские народные картинки» (5 томов), «Достоверные портреты московских государей», «Виды Соловецкого монастыря», «Полное собрание гравюр учеников Рембрандта и мастеров, работавших в его манере», «Материалы для русской иконографии» (12 томов), «Собрание сатирических картинок»…

О своем издании десяти тысяч русских гравированных портретов Ровинский писал: «Мне все равно — гений ты или замечательный шут, великан или карлик, разбойник, ученый, самодур, самоучка, сделал ты что значительное в жизни или просто промытарил ее. Есть с тебя гравированный портрет — ну и ступай в мой словарь и ложись там под свою букву».

Об этом издании, не утратившем своего научного значения и по сей день, знаменитый юрист А. Ф. Кони писал Ровинскому: «С жадностью принялся я за рассмотрение Вашего ценного во всех отношениях подарка и был приведен просто в восхищение. Какой это труд! Я уже не говорю о его специальном значении, объеме и содержании — его характеристики, которые рассыпаны в нем, его исторические и бытовые справки, которыми он переполнен, уже сами по себе представляют своего рода сокровище, поражающее разнообразием сведений, объективностью и изяществом простоты».

Известный гравер и коллекционер Н. С. Мосолов благодарил Ровинского за присылку четырехтомника гравюр великого голландского живописца XVII века: «Сегодня получил Вашего Рембрандта. Я целый день рассматривал это изумительное издание! Ничего подобного не было, вероятно никогда не будет на земном шаре! Честь вам и слава, что воздвигнули такой памятник Рембрандту!»

«Невысокого роста, с вьющимися седыми волосами, он носил на голове черную «мюц» и видом походил на какого-нибудь французского архивариуса, — вспоминал о Ровинском книгоиздатель М. В. Сабашников. — Он приходил к нам в Жуковку запросто, всегда пешком. Охотно рассказывал про свои многочисленные путешествия и про разные забавные случаи его коллекционерской деятельности. Так, например, когда он собирал офорты Рембрандта, то встретился с серьезным затруднением в проникновении на чердаки старых домов в Генте, Антверпене, Брюсселе и других городов, где надо было искать забытые офорты, а при случае можно было наткнуться на старые

доски [гравюры на дереве]. Постороннего человека зря пускать на чердак ни у кого охоты не было. Объяснить же всем цель поисков было и затруднительно, и нежелательно. Ровинский сошелся с предпринимателем, скупавшим чердаки для очистки от голубиного помета, представляющего, как известно, великолепное удобрение. По соглашению с предпринимателем, Ровинский имел право выбрать на купленном чердаке то, что его интересовало, после чего уже очистка чердака переходила в руки предпринимателя».

Не меньше труда, чем на коллекцию гравюр, Дмитрий Александрович положил на собрание лубков. Для решения вопроса о происхождении той или иной русской народной картинки он разыскивал подобные ей старинные немецкие, французские и английские лубки, предпринял с той же целью несколько путешествий в Египет, Китай, Индию и Японию. Этот подвижнический труд был сродни собиранию народных слов В. И. Далем, песен П. В. Киреевским, сказок А. Н. Афанасьевым.

Но портрет страстного защитника справедливого суда, почетного члена Академии наук и Академии художеств будет неполным, если не сказать, что он был москвичом во всей глубине этого славного звания. В московском доме его матери, что стоял напротив церкви Успения на Могильцах, частыми гостями были К. П. Победоносцев, Я. П. Полонский, Д. В. Григорович, Е. И. Маковский, Б. Н. Чичерин и другие просвещенные люди, которые вели здесь долгие беседы об искусстве.

Ровинский, несмотря на большой достаток, предпочитал карете пешие переходы. С парой сапог, повешенных на плечо, с братом Николаем, историком И. Е. Забелиным или писателем Н. Д. Ахшарумовым они исходили самые глухие окрестности Первопрестольной, иногда удаляясь от нее на несколько сот верст. Путешественники называли себя в шутку *Обществом утаптывания дорог и гранения тротуаров* и с каждого похода приносили множество скопированных со старинных могильных памятников надписей, рисунков приходских храмов и монастырей, археологические находки из раскопанных ими древних городищ и курганов. Один раз пеший переход продолжался четырнадцать дней, и за все это время путешественникам удалось пообедать лишь четыре раза, в остальное время приходилось питаться черным хлебом, зеленым луком и деревенским квасом «Выдери глаз».

«Наши странствования, — вспоминал И. Е. Забелин, — вызывались, сколько желанием поизучать на месте разнородные памятники старины, столько же, если не больше, страстью к

путешествиям и вообще любовью к природе. В разговорах во время этих прогулок мы часто останавливались на мысли, как было бы хорошо сесть на землю [выделено И. Е. Забелиным], иметь свою собственную небольшую землицу и обрабатывать ее по-крестьянски, разводя и пашню, и садоводство, и огородничество. Деревенское житье нам очень нравилось».

В середине 1850-х годов Ровинский купил возле села Спас-Сетунь землю и устроил превосходную усадьбу, где в какой-то степени обрели плоть мечты путешественников. Многие даже полузнакомые люди приезжали полюбоваться его прекрасными розами и затейливыми кирпичными гротами с фонтанами при них.

В любимой подмосковной усадьбе, возле северной стены церкви Спаса Нерукотворного образа (ныне Рябиновая ул., 18) 21 июня 1895 года его и похоронили. Все свои коллекции, имущество и капитал Ровинский завещал музеям, библиотекам и учебным заведениям.

В борьбе со своим сословием. Общественный и государственный деятель князь Владимир Александрович Черкасский (1824–1878)

Если верить энциклопедическим словарям, то славянофилы — «представители одного из направлений русской общественной мысли середины XIX века, выступали за принципиально отличный от западноевропейского путь развития России на основе ее мнимой самобытности (патриархальность, консерватизм, православие), противостояли западникам». Но тогда не с создания московского кружка А. С. Хомякова и братьев Киреевских пошло это *направление,* а с обритая первой бороды в петровские времена, и даже еще раньше — с никоновского церковного раскола. Славянофилами, если следовать определениям, которыми пичкают читателей составители современных словарей и учебников, следует называть Аввакума и его духовных чад, уморенных голодом в монастырях и сожженных в *земляных тюрьмах* попами и боярами царя Алексея Михайловича; царевича Алексея и стрельцов, тайно растерзанных в казематах или прилюдно повешенных на площадях *потешниками* Петра I; партию князей Долгоруких при Петре II; Ломоносова; Суворова и многих иных выдающихся людей XVIII века. Они, как впоследствии и А. С. Хомяков, плакали над Россией, когда остальное *просвещенное* общество потешалось над нею. Увы, истинные ревнители Отечества всегда в России оставались в меньшинстве. К тому же каждый из них имел свое особое мнение обо всем, и ссоры между самими славянофилами зачастую были гораздо более глубокими, чем их разногласия с западниками.

К примеру, рядом с именем Константина Аксакова нередко в ученых статьях и словарях ставят имя князя Владимира Черкасского, ссылаясь на их «общие воззрения на российскую действительность». Подобное расхожее мнение — несомненная ошибка, ведь к известному западнику Т. Н. Грановскому Константин Аксаков относился куда более лояльно, чем к славянофилу князю Черкасскому. К последнему, подготовлявшему крестьянскую реформу 1861 года, он писал в 1859 году: «Вы — враг общины и, следовательно, по моему

убеждению — враг народа… Между нами открытая война». Или еще похлеще: «Вы распинаете теперь русский народ и не думаете, конечно, что имена ваши [В. А. Черкасского и Ю. Ф. Самарина] станут бранным словом и что поношение ляжет на память вашу».

Попробуем хотя бы отчасти прояснить, какой личностью был потомок славного, но раздробленного и обедневшего рода князь Владимир Александрович Черкасский, и следует ли его причислять к кружку славянофилов середины XIX века.

Родился В. А. Черкасский 2 февраля 1824 года в деревне Журавлевке Чернского уезда Тульской губернии. Его отец числился в Преображенском полку, затем по Министерству иностранных дел, но службой тяготился и покинул ее, женившись на Варваре Семеновне Окуневой и поселившись в Москве в собственном доме на углу Фуркасовского переулка и Мясницкой улицы. Кроме самого младшего Владимира, у него росли еще три сына, Константин, Евгений и Ипполит, и дочь Софья.

Получив домашнее образование, Владимир в 1840 году поступил на юридический факультет Московского университета. «В числе товарищей моих, — вспоминал он о студенческих годах, — не могу не назвать Соловьева и Леонтьева, ныне профессоров; Новосильцева, скромного епифанского помещика; Фета и Полонского, Елагина, Ушинского, бывшего впоследствии профессором Демидовского лицея. Наконец из студентов, бывших при мне на младших курсах, — Горчакова и Морнгейма».

Черкасский окончил университет в 1844 году. В этом же году умер его отец, а мать переехала на постоянное жительство в свою тульскую деревню Горбатовку. Молодому князю было не до юриспруденции — надо было заботиться о тех немногих землях, которые составляли благосостояние матери и ее детей. Черкасский поселился в меблированных комнатах и принялся изучать сельское хозяйство, посещая публичные лекции профессора Линовского в Московском университете. В дешевом, но всегда опрятном вицмундире, в очках, с гордой осанкой, он поражал всех своим неприступным и ученым видом. В разговоре держался несколько архаичного стиля, постоянно вставляя церковно-славянские обороты.

Вскоре он переехал в провинцию и в 1847 году принял участие в кружке из девяти тульских помещиков, собиравшихся у тульского губернатора Н. Н. Муравьева (впоследствии знаменитого графа Муравьева-Амурского) для выработки проекта постепенного освобождения крестьян с землей.

В 1850 году, женившись на Е. А. Васильчиковой, Черкасский возвращается в Москву. Денежные дела Васильчиковых были в большом расстройстве, и новому члену их семьи приходится

часто разъезжать, пытаясь наладить хозяйство в их рязанском, нижегородском, саратовском и херсонском имениях. Когда же возвращался в Москву, князь часто посещал А. С. Хомякова в его доме на Собачьей площадке. Сошелся также с И. В. Киреевским, в доме которого у церкви Трех Святителей они сражались в шахматы. Стал своим человеком и в салоне матери Киреевского — А. П. Елагиной, что жила возле Красных ворот. И все же Черкасский томился бездействием, ему хотелось служить государству, а не только своим близким. Он начинает писать статьи для журналов «Русская беседа» и «Сельское благоустройство», работает в губернских комитетах по подготовке освобождения крестьян. После появления Манифеста об освобождении крестьян Черкасский занял скромную должность мирового посредника в Веневском уезде Тульской губернии. Благодаря выдающемуся практическому уму, он умело гасил разногласия между помещиками и их бывшими крепостными крестьянами, помогал теперь уже свободным землепашцам отстаивать свои новые права собственника.

В 1863 году Черкасского назначили на государственную службу в Царство Польское. Прежде чем отправиться в путь, он прочитал множество книг и статей по сложному польскому вопросу. После двух лет службы в этом самом западном крае Российской империи он оказался уже на посту министра внутренних дел Польши или, как официально именовалась эта должность, главного директора комиссии внутренних и духовных дел. Высшему обществу, особенно польскому, Черкасский был ненавистен за то, что наделял польских крестьян землей, притесняя панство и лишая его возможности бесцеремонно управлять землепашцами (холопами). Генерал-полицмейстер Польши называл деятельность князя не иначе как «красным либерализмом». Но защитника крестьян побаивались многие, включая наместника Царства Польского графа Берга, знавшего о его связях при высочайшем дворе. И все же за «красный либерализм» князя вынудили покинуть государственную службу, и в конце 1866 года он вернулся в Москву.

В Первопрестольной его вскоре выбрали членом Думы, а в 1869 году московским городским головой. Проработав на этой хлопотной должности два года, Черкасский особое внимание уделял развитию начального и профессионального обучения детей простолюдинов, улучшению городского водоснабжения, требовал от петербургских министерств представления больших прав московскому самоуправлению и «простора мнению и печатному слову, без которых никнет дух народный и нет места искренности и правде в его отношениях к власти».

В начале Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Черкасский назначается в действующую армию уполномоченным Центрального управления Красного Креста, а чуть позже на вторую должность — заведующим гражданской частью в занятых русскими землях. Здесь, в Болгарии, освобожденной от многовекового турецкого владычества, он трудится над проектом будущей жизни этого теперь самостоятельного государства. «Дела гибель, не успеваешь за ним, — пишет Черкасский брату Евгению 31 января 1878 года. — Истомился страшно, состарился и похудел. Думаю: когда Господь сжалится надо мною и даст мне увидеть свою семью и свой дом».

Увы, Москву увидеть ему больше не довелось. В день подписания русско-турецкого мирного договора и в семнадцатую годовщину появления Манифеста об освобождении крестьян (19 февраля 1878 года) князь Владимир Александрович Черкасский скончался. Скончался в пригороде Константинополя Сан-Стефано, где и был подписан долгожданный мир. Еще за сутки до рокового часа, несмотря на болезнь, он докладывал главнокомандующему русскими войсками великому князю Николаю Николаевичу о том, как нужно обустроить завоеванные земли.

Похоронили В. А. Черкасского на московском Даниловом кладбище, рядом с могилами Н. В. Гоголя, А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина. Здесь он точно уж попал в кружок славянофилов.

Газета «Болгарин» писала о В. А. Черкасском: «Этот великий для нас человек и столь способный администратор, имя которого будет навеки памятно в летописях болгарского освобождения, умер в тот самый момент, когда все мы с нетерпением ожидали его назначения постоянным комиссаром в Болгарии».

Иван Аксаков в заседании Славянского благотворительного комитета с удивлением воскликнул: «Странное, замечательное, совершенно оригинальное явление представлял собой в России князь Черкасский… Он был человеком государственным, но не принадлежал к сонму царедворцев и сановников, не проходил иерархической лестницы. Он всегда вольно и невольно сохранял за собой характер как бы представителя или делегата от общества на государственном деле, хотя бы он был и главным его руководителем».

Добрые речи говорили о своем бывшем сотоварище члены Московской городской думы в своем заседании от 2 марта 1878 года.

Городской голова С. М. Третьяков: «Кто может достойно оценить теперь как его последнюю деятельность, так и другие труды, понесенные им в продолжение своей жизни на пользу государства и человечества? История, потомство воздадут ему за

все должное. Но мы не можем не вспомнить в настоящую тяжелую для нас минуту о любви покойным своей родной Москвы, о его трудах для нее, о горячих заботах о ней».

Князь А. А. Щербатов: «Москва может гордиться тем, что в числе главнейших двигателей по делу освобождения крестьян состояли двое из лучших ее сынов — Ю. Ф. Самарин и князь В. А. Черкасский».

Ю. Ф. Самарин: «Кончина князя Владимира Александровича глубокой скорбью отозвалась в каждом из нас. Москва почувствовала, что лишилась одного из лучших своих граждан, который так томился жаждой посвятить жизнь свою на пользу своему Отечеству».

Несмотря на все эти восторженные слова, современники часто задумывались: а любил ли кого-нибудь, кроме родных, князь Черкасский? Лишь одна Е. И. Раевская поведала о неслыханном — о веселом и жизнерадостном характере Черкасского. «Долгие прогулки, — пишет она, — затевали мы всем обществом по окрестным полям и пригоркам, карабкаясь по крутым берегам нашего тихого Дона, пролезая по чащам лесков. Ревнивый и строгий общественный деятель превращался тогда в резвого школьника, изобретателя разных шалостей, а смеху его вторили хором наши молодые веселые голоса. Мы всей душой ему сочувствовали и часто удивлялись, почему его так боятся в великосветском обществе».

Все остальные мемуаристы сходились на том, что Черкасскому была чужда открытость, броня хладнокровия и наружный блеск ограждали его от множества врагов. Худощавый, с чуть приподнятой головой, с тонкими бакенбардами на бледном лице, всегда в плотно застегнутом сюртуке со стоячим воротником, он не давал себе ни малейшего послабления, не позволял вялости. Легкая и решительная походка, низкий ясный голос, красноречив, остроумен, находчив в споре. Но никто не слышал в обществе его смеха. Кое-кто говорил, что он смеется только глазами.

Грустное письмо написал пятидесятилетний князь за три года до смерти Ю. Ф. Самарину, которому оставалось жить и того меньше. «Как бы то ни было, я убедился и ежедневно убеждаюсь более и более, что я для света отяжелел, — признавался Черкасский своему другу, — что в мире людская память меня покинула, даже в кругу моих прежних присных; что сам я утратил способность и случай сближения с более молодым поколением. Остается примириться с этим положением, научиться оставаться чуждым тому движению — разумному или неразумному, — которое совершается вокруг тебя, и доживать свой век как можно

скорее».

И все же, разуверившись буквально во всем, Черкасский не стал лежебокой, не прожигал жизни зазря, как большинство родовитых особ, а до своего последнего земного часа продолжал служить Отечеству. И что любопытно: всю свою сознательную жизнь князь провел в борьбе со своим сословием во имя блага крестьян. Может быть, в этом и заключается славянофильство?..

Дворянин в длиннополом сюртуке. Предприниматель Петр Ионович Губонин (ок. 1828–1894)

С середины XIX века главным московским жителем становится купец. Он хоть и ходит как мужик в бороде и сапогах, но живет в бывших дворянских особняках, ездит учиться за границу и ворочает миллионными капиталами. Ох и досталось же купцу от литераторов-разночинцев! Губернатора в фельетоне высмеять боязно, мастерового — зазорно, а вот московский негоциант — сущий подарок для доморощенных любителей насмехаться. В «Будильнике», «Развлечении», других сатирических журналах и в газетах бесчисленное множество карикатур на одну и ту же тему: купец, толстый, с короткими ножками и бычьей шеей, подстриженный в кружок, хлещет по трактирам водку и говорит глупые речи. Рядышком пустят пару анекдотов о патриотизме купца и любви его супруги к каше и гусю. Не обойдется и без юмористического стишка о купеческой благотворительности ради медали или членства в обществе, возглавляемом вельможной особой.

Сколько злых завистливых слов потрачено литераторами, издали завидовавшими быстрому богатению вчерашних крестьянских пареньков. Спрашивается, кто же вам мешает научиться торговать, развести герань на окошке и строить богадельни?.. Нет, не легкое это дело, здесь мужицкая сноровка и труд с рассвета до заката нужны. Куда легче, как Моська на слона, лаяться на богатого купца. Так, В. Михневич в своей книге «Наши знакомые» (СПб., 1884) полил грязью всех, о ком только вспомнил. Вот его *наблюдение* о самом богатом московском промышленнике П.И. Губонине: «Один из богатырей железнодорожного эпоса. Предтеча Разуваевых и Колупаевых и, подобно им, начал карьеру в черном теле и «вышел в люди» чуть ли не из-за стойки питейного заведения… В последнее время г. Губонин разлакомился было на постройку железных дорог в Болгарии и, желая при этом оттереть иностранных конкурентов, старался огорошить «братушек» патриотизмом и дипломатическим отождествлением своего личного карманного гешефта с интересами России и славянства, но, кажется, «полифтика» эта не выгорела».

Попробуем набросать портрет того же человека, но без литературных завитушек и снобистского взгляда на тех, кто

вышел в люди «из-за стойки питейного заведения».

Петр Ионович Губонин родился в 1828 году в крепостной крестьянской семье в деревне Борисово Коломенского уезда Московской губернии и с малых лет был «под рукой» у отца, служившего подрядчиком по каменным работам. В 1845 году поступил десятником к купцу Русанову, работавшему на сооружении Брестского шоссе. С 1848 года начинает самостоятельную деятельность по постройке каменных мостов Московско-Курской железной дороги. Обратив на себя внимание отличным знанием дела, он во время железнодорожной горячки 1860-х годов добросовестно выполняет подряды по строительству Орловско-Витебской, Грязе-Царицынской, Лозово-Севастопольской, Уральской, Горнозаводской, Прибалтийской железных дорог. Огромные средства, нажитые постройкой железных дорог (около 20 миллионов рублей), толкнули предприимчивого купца вложить их в другие предприятия. Он — один из основателей Брянского и Коломенского машиностроительных заводов, учредитель Волжско-Камского коммерческого банка, «Северного страхового общества», Бакинского общества по разработке нефти. Занимаясь в обширных размерах соляным делом, явился инициатором постройки Баскунчакской железной дороги. Приобрел колоссальные угольные копи в Голубкове Екатеринославской губернии и громадные каменоломни близ Подольска.

«Глядя на Губонина, — вспоминал К. Скальковский, — с его красивой, чисто русской наружностью, красивыми оборотами русской речи «себе на уме» и мягкими манерами, мне становилось ясно, как бояре или дьяки московской России XVI и XVII столетий без малейшего образования, кроме грамотности, заимствованной у пономаря или из чтения рукописных переводов нескольких книг византийских церковных писателей, решали с успехом важнейшие государственные дела, искусно вели дипломатические переговоры и лицом в грязь не ударяли даже при утонченном дворе Людовика XIV».

А как же обстояли дела с «личным карманным гешефтом», на который намекает В. Михневич?

В Крыму Губонин приобрел имение Гурзуф, где выстроил шесть гостиниц для лечебных целей, великолепный храм (ныне уничтожен) и где положил начало русскому виноделию (ныне приходит в упадок).

В Херсонесе, близ Севастополя, соорудил грандиозный храм над купелью апостола русской земли, святого князя Владимира.

В Петербурге, состоя старостой Петропавловского и Казанского соборов, богато украсил их изнутри, обновил

иконостасы и церковную утварь.

В Москве положил начало Комиссаровскому техническому училищу, постоянно делал богатые вклады в свой приходской храм святой Параскевы, что на Пятницкой улице (ныне на его месте вестибюль станции метро «Новокузнецкая»), соорудил гранитные лестницы вокруг храма Христа Спасителя, террасы, спускающиеся к Москве-реке, и набережную.

Он являлся одним из крупнейших жертвователей общества Красного Креста, казначеем Арбатского попечительства о бедных, состоял членом десятков других благотворительных обществ. Молодые образованные люди, приезжавшие в Москву «искать места», находили в нем своего ходатая и наставника.

Как предоброго человека характеризует Губонина князь Д. Д. Оболенский, вспоминая, как тот неоднократно помогал людям, служившим у него. Так, одного приказчика, растратившего чуть ли не десять тысяч его денег, Губонин велел оставить без преследования, говоря: «Бог с ним, я ему обязан. Когда я женился, он мне жилетку взаймы дал — нечего было надеть к свадьбе».

В 1870-х годах имя Губонина гремело по всей России, особенно в Москве. Говорили, что Первопрестольный град стоит на трех китах: административном в лице генерал-губернатора князя В. Долгорукова, артистическом — виртуозного пианиста Н. Рубинштейна и денежном — действительного тайного советника П. Губонина. Богатство последнего повлекло за собой чины и звания, потомственное дворянство, почет. Но Губонин продолжал ходить «в картузе и сапогах бутылками, а звезду надевал на длиннополый сюртук». Русская одежда не мешала ему с уважением относиться к европейскому прогрессу и, побывав за границей, на вопрос, что более всего его поразило в западных краях, он ответил: «Как богато живут там мужики».

Всю свою жизнь он работал не покладая рук в надежде, что и в России простолюдин, трудясь плодотворно и профессионально, будет жить богато.

Исследователи древностей. Археологи и коллекционеры граф Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884) и графиня Прасковья Сергеевна Уварова (1840–1925)

Да будет потомкам явлено…

Летописец XVII века

Чем должен увлекаться богатый граф, у которого только в одном имении Поречье Можайского уезда живет 16 тысяч крестьян? Если следовать общепринятому шаблону, то балами, званными обедами, картами, путешествиями «на воды». Ну а если у него к тому же и отец, и дед были известными министрами, обласканными царями? Службой в гвардейских полках или другой привилегированной деятельностью, позволяющей ежедневно находиться среди своих — постоянно толкущихся при императорском Дворе, что позволяло быстро скакать вверх по служебной лестнице.

Граф А. С. Уваров, закончив в 1845 году историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, так и поступил. Он более десяти лет прослужил чиновником при Кабинетах их величеств императоров Николая I и Александра II, но карьеры, как ни странно, так и не сделал. С 1857 года он поселился в Москве, назначенный на должность помощника попечителя Московского учебного округа. Чем же таким *крамольным* занимался граф, что при своем богатстве и обширнейших связях с *сильными мира сего* не сумел «выбиться в люди», то есть дослужиться до генерал-адъютанта или, на худой конец, до посла в одном из просвещенных европейских государств?

«Для Уварова, по его происхождению, связям и общественному положению, — утверждал директор училищ Смоленской губернии Д. А. Корсаков, — открывалась широкая дорога высокого служебного положения, высочайших почестей и отличий. Но он выбрал узкую — изучение российских древностей».

Граф, его сиятельство, чей род был внесен в пятую часть дворянских родословных книг, стал археологом, человеком

низкой профессии уже потому, что ее представителей в России звали простонародными словами древники, старинщики, ветховщики, ветухи. Зародилась археология в России, как и в других странах, благодаря энергии, знаниям и любви к древностям отдельных лиц, собиравших и сохранявших для потомков старинные монеты, церковные ценности, древние орудия охоты и труда. Но большинство их соотечественников, по недомыслию, а иногда и по злобе к просвещению, бросали в печку старинные манускрипты и предметы быта своих предков, замалевывали церковные стены с древнейшими фресками, переделывали старинные палаты и храмы в соответствии со вкусом своего времени. Лишь 13 февраля 1718 года император Петр I издал указ о назначении вознаграждения за «старые вещи», найденные «в земле или воде». Их должны были помещать в Петербурге в Кунсткамеру или Академию наук, а в Москве — в Оружейную палату, на Конюшенный и Казенный дворы, в Мастерскую палату. Но еще долго правительство из «старых вещей» привлекали главным образом лишь серебро и золото, которые можно было переплавить в новые деньги.

Далеко не сразу жаждущих личного обогащения кладоискателей, которых на просторах нашего Отечества было хоть пруд пруди, сменили профессиональные исследователи древностей, одним из первых среди которых был граф Алексей Сергеевич. В 1846 году он становится одним из учредителей Археолого-Нумизматического общества (позже — Императорское Русское археологическое общество). В 1840—1850-е годы он за свой счет ведет раскопки в Крыму и пишет научный труд «Исследования о древностях Южной России и берегов Черного моря» (два тома, вышедшие в Москве в 1851 и 1856 годах). За 1851–1854 годы граф исследовал в окрестностях Суздаля и Ростова Великого 7729 курганов и рассказал о своей увлекательной, хоть и изнурительной работе в книге «Меряне и их быт по курганным раскопкам» (издана в Москве в 1869 году).

Продолжая увлечение отца, он собирает старинные книги и рукописи, создает собственный музей древностей. Создает его не для того, чтобы бахвалиться им при равнодушном к его работе императорском Дворе и чтобы, как Скупой рыцарь, чахнуть над своими коллекциями, а для того, чтобы они стали достоянием других исследователей древностей. Он с радостью предоставляет собранные старинные рукописи и печатные труды в пользование ученым М. П. Погодину, Ф. И. Буслаеву, Н. С. Тихонравову, В. О. Ключевскому.

Граф Алексей Сергеевич видел острую необходимость объединения всех российских исследователей древностей, для

чего и основал Московское археологическое общество и до своей кончины был его бессменным председателем. «Как редко пытались спросить у самой земли, — сетовал он на первом заседании Общества 3 ноября 1864 года, — решение таких вопросов, которые остаются темными в наших летописях… Мы так мало дорожим нашим прошедшим, что походим на народ, начавший жить только с прошлого столетия». Уваров понимал и пытался заставить понять русское общество, какое великое значение имеет археология как особый отдел исторической науки. Ведь возраст человечества равен примерно 2,6 миллиона лет, и, значит, дописьменная история составляет 99,998 % нашего прошлого.

Сначала заседания Московского археологического общества проходили в доме Уварова, а с 1870 года в собственном здании палат Аверкия Кириллова на Берсеньевке. Здесь часто можно было встретить таких известных знатоков российской старины, как С. М. Соловьев, А. Н. Афанасьев, Д. И. Иловайский, И. Е. Забелин.

В том же 1870 году граф Алексей Сергеевич создал Комиссию по сохранению древних памятников, спасшую от уничтожения и переделки многие московские храмы и старинные светские постройки. Он был и меценатом, и серьезным ученым, и общественным деятелем, пекущимся о том, чтобы русский народ, как нынешний, так и будущий, не погряз в беспамятстве о прошлом, не превратился в Иванов, не помнящих родства.

В память своего отца, графа С. С. Уварова — президента Академии наук и министра народного образования, сын учреждает с 1857 года Уваровские премии, с целью, по его же словам, «поощрить русских писателей к занятиям русской и славянской историей в обширном значении слова». Секретарь Академии наук К. С. Веселовский с восторгом говорил об этом блестящем начинании, просуществовавшем шестьдесят лет и ставшем самой дорогой наградой для русских историков: «Соединяя сыновнюю горячность с высокой патриотической мыслью и желая связать неразрывно память о знаменитом своем родителе с существованием Академии, он возымел счастливую мысль воздвигнуть ему памятник «нетленный, вечный», и с этой целью часть своего наследия [наследства] употребил на учреждение на вечные времена премий, которые, вызывая благородные соревнования, дали бы новое оживление тем именно литературным трудам, в которых наиболее выражается народное самосознание».

До графа Алексея Сергеевича московской археологией в основном занимались энтузиасты, у которых и на хлеб-то не

всегда находились деньги. Таким был, к примеру, З. Я. Ходаковский, который в 1821 году «издержал последний рубль из щедрот правительства» на раскопках возле Великого Новгорода и переехал в Москву. Живя в долг, он ходил по улицам в серой куртке, серых шароварах и суконном колпаке, заглядывая на попадавшиеся по пути рынки и расспрашивая крестьян об окрестных курганах: не приходилось ли им рыться в них и что-нибудь находить? Мужики частенько принимали столь странную личность за подозрительную и тащили выспрашивавшего их о каких-то костях и окаменелостях чудака на съезжую. Но Ходаковский был упрям. Пренебрегая заработком, он побывал во многих подмосковных городах, на что уходили последние гроши, и на своих планах отметил древние городища. И хотя его самого забыли еще при жизни, памятливый А. С. Пушкин способствовал спасению его архива и в стихах сравнивал себя с этим нищим любителем древностей.

…Новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
Об отдаленной старине.

Граф А. С. Уваров — тоже «новый Ходаковский», обладавший, как и его нищий предшественник, неисчерпаемым упорством в достижении своей цели — сохранить для потомков память о прошлом, и к тому же уже был не одиночкой-энтузиастом, а профессиональным исследователем, сплотившим вокруг себя лучших знатоков российских древностей. «Я не знаю ни одного из всех разнообразных отделов археологической науки, — утверждал товарищ председателя Московского археологического общества В. Е. Румянцев, — где бы нельзя было встретить имени графа Уварова. В областях древностей первобытных, курганных, языческих, христианских первых веков, византийских, русских, в области памятников быта, зодчества, каменного и деревянного, иконографии и других изобразительных искусств и художеств, — везде является наш ученый и неутомимый изыскатель, то открывающий новые, доселе неизвестные памятники, то объясняющий уже открытые и разгадывающий их значение и смысл».

Но, увы, археология не относилась к числу привилегированных наук, как, скажем, составление родословной династии Романовых или история гвардейских полков, или особенностей царских церемониалов. На своем поприще граф Уваров не мог ожидать ни генеральского мундира с золотым

шитьем, ни высших императорских орденов. Многие высокородные дворяне с презрением говорили, что он выбрал себе отнюдь *не графское занятие*. Правда, у них появилась надежда, что чудака образумит женитьба в 1859 году на богатой княжне Прасковье Сергеевне Щербатовой, чей род идет от Рюриковичей. Ее портрет, по заверению современников, довольно точно передал Лев Толстой в образе Кити Щербатовой в романе «Анна Каренина». Но случилось наоборот — жена заразилась от мужа любовью к археологии, стала кочевать вместе с ним с одних раскопок на другие, писать собственные научные статьи (всего за 65 лет занятий археологией ею было опубликовано 170 научных статей). «Граф не любил и не находил желательным работать в одиночестве, — пишет графиня Уварова в автобиографии, — он привлекал и призывал всех к общей дружной работе, и потому, призывая всех, возбуждая дремлющие силы по уезду [здесь находилось его любимое имение Поречье, где он подолгу жил и где хранил свои коллекции древностей] и губернии, он не мог не найти нужной помощи у себя дома и не привлечь к своей постоянной напряженной работе, как ученой, так и гражданской, свою жену, которая таким образом и стала рука об руку заниматься и древностями, и искусством, и земством, и школами, а впоследствии и интересами основанного графом Московского археологического общества и Всероссийскими археологическими съездами». В предисловии к своему многотомному сочинению «Каменный период в России» (М., 1881), посвящая его жене, граф Алексей Сергеевич писал: «Многое в этом труде тебе уже наперед известно, так как ты всегда участвовала во всех моих путешествиях и постоянно содействовала мне в моих изысканиях. Не могу не напомнить тебе, как часто я пополнял из твоего дневника те пробелы, которые оказывались в моих отметках, или вносил в мою книгу те подробности, которые сперва мне казались излишними, но которые, между тем, ты не пропускала без внимания».

Москва и вся Россия должны быть благодарны графу Алексею Сергеевичу не только за множество научных изысканий, заботу по охране памятников старины и щедрые пожертвования на развитие исторической науки. Он задумал основать в Первопрестольной всероссийское древлехранилище. Московская городская дума, где заседали главным образом денежные тузы, оставила на втором плане свои заботы о торговых рядах и магазинах и решила пожертвовать под начинание графа Уварова лучшую находившуюся в ее распоряжении землю — на Красной площади. Алексей Сергеевич сам следил за строительством, составил устав будущего музея, разыскал для него коллекции древностей. «В это

дело положил он, — вспоминал секретарь Общества истории и древностей российских Е. В. Барсов, — всю свою душу и принес в жертву все свои силы. Его задушевной мыслью было сделать именно этот музей не местом праздного любопытства, но живым рассадником серьезного исторического знания, московской академией историко-архео-логических наук».

Летом 1883 года Исторический музей открыл свои двери для публики. Спустя полтора года его основателя не стало. Протопресвитер Н. А. Сергиевский при погребении графа Уварова на кладбище Новодевичьего монастыря сказал: «Создание Исторического музея есть венчальный акт доброго подвига графа — служения его исторической науке».

Дело мужа продолжила вдова, продолжила не только в науке, но и на посту председателя Московского археологического общества. В 1886 году с дочерью и сыном она объездила верхом на лошади всю Черноморскую губернию, производя по пути множество раскопок. Немало времени она провела на Кавказе, в Кутаиси, Гелатском монастыре, Абас-Тумане, Батуме и многих других древних легендарных местах. В результате появились несколько выпусков ее научного труда «Материалы по археологии Кавказа» и три тома «Путевых заметок по Кавказу».

Графиня, опять же продолжая дело мужа, организует работу Всероссийских археологических съездов, заботится о сохранении древнейших московских зданий, обогащает Исторический музей новыми коллекциями, содействует благоустройству российских архивов, добивается запрещения вывоза памятников российской старины за границу. В 1909 году она становится первым председателем общества «Старая Москва», благодаря работе которого еще не все московские реликвии успели уничтожить или распродать бездумные «чиновники от культуры». Даже в 1919 году, когда графине с детьми пришлось навсегда покинуть свой разоренный дом в Леонтьевском переулке и бежать на юг, в Майкоп, она еще в течение целого года, уже не богатая дворянка, а полунищая беженка, занималась раскопками местных могильников и дольменов. Когда большевики принялись обстреливать город, она сумела добраться до Новороссийска и попасть на корабль, который навсегда увез ее из, как она тогда выразилась, «несчастной России».

Муж и жена Уваровы несказанно любили Россию, были увлечены изучением ее седой старины, их неутомимая деятельность стала примером для подражания многочисленных учеников и последователей, даже тех, кто никогда не видел их в глаза, но знал про бескорыстный подвиг труда высокородных археологов.

Граф А. К. Толстой, весьма близко знавший графа Алексея Сергеевича, по утверждению современников, под впечатлением его характера написал строки:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

Богатый граф Уваров думал не об умножении денежного капитала, что свойственно большинству людей, живущих среди звона золота, а о более дорогом и более важном для России деле: «Русская археология действительно не сложилась еще в стройную правильную науку, не имеет строгой научной формы. Но должно сознаться, что это происходит не от недостатка материалов, как некоторые полагают, а от совершенно другой причины: *от какого-то векового равнодушия к отечественным древностям.* Не только мы, но и наши предки не умели ценить важности родных памятников и без всякого сознания, с полным равнодушием безобразно исправляли старинные знания или восстанавливали их сызнова. Они не понимали, что каждый раз вырывали страницу из народной летописи. Такое равнодушие и доселе часто проявляется в русской жизни и вредит, к несчастью, не одной археологии».

Прасковья Сергеевна призывала следовать завету мужа: «Уничтожить равнодушие к отечественным древностям, научить дорожить родными памятниками, ценить всякий остаток старины, всякое здание, воздвигнутое нашими предками, сохранить и защитить их от всякого разрушения».

Ныне история Древней Руси и ее Первопрестольной немыслима без археологических изысканий. Как, впрочем, был бы немыслим и живой исследовательский дух современных археологов, не будь у них таких замечательных предшественников и наставников, как супруги Уваровы.

Верный своей фамилии. Председатель Совета присяжных поверенных Михаил Иванович Доброхотов (1826–1869)

В стародавние времена в Москве, возле трех церквей — Параскевы Пятницы в Охотном Раду, Георгия на Всполье и Троицы на берегу Неглинной — устраивали судебные поединки. Спорящие колотили дубинками друг друга, перетягивались за волосы через канаву или просто дрались до крови, а то и до смерти. Победитель, само собой, считался правым в споре. В 1556 году судебные поединки заменили крестное целование и божбу в своей правоте, которые проходили на Никольском крестце или возле церкви Святителя Николая, что у Большого Креста.

Но ни удары по голове друг другу, ни страх перед Богом далеко не всегда удовлетворяли обе спорящие стороны. В XVIII веке для победы в суде стали нанимать специальных людей — стряпчих, весь день крутившихся у Иверских ворот, предлагая свои услуги. Эти дельцы не подставляли свою голову под удары противника, а использовали ее на новый манер — шевелили имевшимися в ней мозгами, чтобы поискуснее составить прошение и другие бумаги. Они умело сражались на словесных ристалищах и получали за хлопоты хорошую мзду от желавшего выиграть судебный иск. Проигрывал теперь чаще всего тот, кто оказывался беднее и не мог нанять стряпчего.

До 1860-х годов суд считал своей главной задачей добиться собственного признания обвиняемого и свои заседания проводил в его отсутствие. Предварительное же следствие всецело предоставлялось полицейским чинам, за чьей деятельностью не существовало никакого надзора. Лишь после судебной реформы, первый шаг которой был положен законодательным актом от 20 ноября 1864 года, появились адвокаты, чаще в то время называвшиеся присяжными поверенными, которые взялись охранять права подсудимых.

Но закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло. Кроме указов и постановлений в новом суде нужны были опытные профессиональные судебные работники, притом честные, уважаемые в городе, трудолюбивые. И такие нашлись…

Михаил Иванович Доброхотов родился 4 ноября 1826 года в уездном городке Вязники Владимирской губернии, в семье чиновника средней руки. По окончании в 1835 году Суздальского

училища был награжден похвальным листом «за успехи, прилежание и добрую нравственность». Хвалили его и во Владимирской губернской гимназии, и на юридическом факультете Московского университета. В феврале 1849 года Михаил Иванович поступил на службу в Московскую уголовную палату, где за восемь лет прошел путь от помощника столоначальника до важного поста секретаря суда. Когда в 1866 году в Москве открылись новые судебные учреждения, Доброхотов был внесен в список присяжных поверенных под первым номером и до своей кончины не только по списку, но и по делам был первым среди сословия адвокатов. Он был одним из основателей Московского юридического общества и бессменным председателем Совета присяжных поверенных. Многих он защищал на суде безвозмездно, отказываясь одновременно, по недостатку времени, от прибыльных дел.

— Вот, батюшка, — говорил Доброхотов коллеге, показывая на посетительницу — старушку в заячьем тулупе, — совсем ее ограбили родственники, последние четыреста рублей отняли. А она насилу ходит, приплелась сюда из Вологды, а обратно возвращаться не на что… — Потом, обернувшись к старушке, наставлял ее, вручив двадцать пять рублей: — Езжайте, матушка, домой, ждать окончания дела долго, я с ним и без вас справлюсь, а деньги перешлю по почте.

Можно было быть уверенным, что Доброхотов сдержит слово, данное старушке, оправдает свою фамилию — хотящий добра.

Выслушав исповедь подсудимого, он часто говорил: «Подумайте хорошенько, не найдете ли сказать еще чего в свою пользу и оправдание».

«В качестве председателя Совета, — вспоминал знаменитый присяжный поверенный Ф. Н. Плевако, — Михаил Иванович всегда старался и умел проводить в молодое сословие начала высокоэтического и щепетильного отношения адвоката к своим профессиональным обязанностям. Так, в отношении гонорара, даже по гражданским делам, он считал единственным основанием для исчисления его размера труд и время адвоката, а отнюдь не тот или иной исход порученного ему дела».

Доброхотов часто отклонял вознаграждения, говоря: «Это дело того не стоит». И уж, конечно, никогда не брался за судебный процесс ради популярности или когда понимал, что дело здесь нечистое.

Друзья признавали в нем «светлый ум, склонность к добродушному веселому юмору, переходящему иногда в едкую, язвительную, полновесную насмешку». Но никто, даже домашние, никогда не видел его рассерженным!

«Своим спокойствием и простотой он производил более впечатления на судей и присяжных, чем иные с помощью бойкой речи и адвокатских фокусов».

Жил первый присяжный поверенный Москвы с женой и двумя дочками в доме на Остоженке, возле Первой гимназии, где и умер 21 ноября 1869 года от сердечного приступа. Хоронили на Дорогомиловском кладбище, было громадное стечение публики. Про него говорили: «Кажется, нет в Москве человека, который бы его не любил».

Где они, русские самоучки? Печник Дмитрий Емельянович Гнусин (1826—после 1873)

Можно по пальцам пересчитать народных умельцев России, оставшихся в памяти потомков. Каждому из них надо было преодолеть сопротивление равнодушного правительства, надо было научиться кланяться дурню чиновнику самого распоследнего класса, каждому надо было умудриться выкарабкаться из рабства, то бишь крепостной неволи.

Хорошо, когда повезет, как знаменитому актеру Михаилу Щепкину, которого друзья выкупили у хозяина за восемь тысяч рублей (землепашцы в то время ценились от ста до двухсот рублей). А когда нет?.. Как рабу-композитору С. Дегтерскому, автору знаменитой оратории «Освобождение Москвы, или Минин и Пожарский», которого добродушный граф Шереметев никак не хотел отпускать от себя. «Он жаждал, просил только свободы, — вспоминает современник Дегтерского, — но, не получая ее, стал в вине искать забвения страданий. Он пил много и часто, подвергался оскорбительным наказаниям, снова пил и наконец умер, сочиняя трогательные молитвы для хора».

Ни природный талант, ни вера в свое дарование, ни терпение, настойчивость, трудолюбие не могли стать гарантией возможности полезной деятельности на благо Отечеству. Народному самородку ко всему прочему должно было здорово подфартить. На необозримых просторах России его должен был отыскать какой-нибудь просвещенный меценат, или сам Мастер должен был изобрести удивительную небылицу, которая привлекла бы внимание сначала соседа-купца, затем городничего, губернатора, министра и, наконец, — чем черт не шутит! — самого императора. Вот тогда бы!.. Иначе…

Эх, да что тут гадать, когда даже трудолюбивый дворянин Пушкин иной раз приходил в отчаяние от того, что правительство не желает использовать его дарований с пользой для государства. «Что мне в России делать?» — жалуется он Плетневу. «…Зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием…» — печалится он Вяземскому.

А каково тогда было московскому крестьянину-мыслителю Посошкову?.. Арзамасскому мещанину-иконописцу Ступину?.. Курскому астроному-самоучке Семенову?.. Каково ж тогда гениальным плотникам, каменщикам, литейщикам, гончарам,

певцам, чьи имена крепко-накрепко забыты потомками?..

Нехитрой жизни одного из них — печного мастера Дмитрия Емельяновича Гнусина — посвящен дальнейший рассказ.

Родился Гнусин в 1826 году в Ярославской губернии, в селе Городище, что стоит на Волге. Русской грамоте четырехлетний мальчишка обучился от старшей сестры; в латинском и греческом языках, а также других науках его наставлял втайне от семьи местный священник.

Когда Диме исполнилось десять лет, его вытребовал в Москву отец и приставил обучаться наследственному ремеслу — класть печи. На первых порах мальчик носил глину и кирпич, бегал по всему городу с поручениями, за каждую оплошность получая колотушки. Спустя год ему разрешили попробовать сложить свою первую печь, а еще через несколько лет он наконец овладел ремеслом в совершенстве.

По смерти отца Дмитрий Емельянович взялся класть печи по собственным чертежам. Большой Кремлевский дворец, Большой и Малый театры, многие московские дома согревались красивыми, прочными и экономичными печами Гнусина.

Но Мастеру все чаще хотелось делать новое, делать лучше, чем вчера. Он изобрел переносные печи, затем печи для железнодорожных вагонов, и наперебой приглашался для самых ответственных работ. А тем временем хитрый архитектор Левенстем опубликовал статью о его печах, как о своих, и получил на них привилегию (это означало, что только с согласия Левенстема теперь можно класть печи гнусинской конструкции). Гнусин погоревал малость, но вскоре, сообразуясь с русской пословицей: плетью обуха не перешибешь, снова принялся за работу.

Он изобрел новые печи и установил их в доме московского генерал-губернатора П. Тучкова, в Хамовнических казармах и Петербургском воспитательном доме. Но теперь Мастер держал в секрете свои чертежи и лишь давал десятилетнюю гарантию на работу печей без ремонта. По свидетельству архитектора Тона, паровентиляционные печи Гнусина съедали в шесть раз меньше дров, чем обыкновенные, которыми пользовалась вся Россия. В воспитательном доме вместо обычных двухсот сажень швырковых дров за зиму сожгли всего двадцать восемь сажень один аршин и два вершка!

После смерти Старого мастера у него не нашли ни денежных сбережений, ни чертежей. Лишь множество аккуратно сколотых между собой официальных свидетельств, что его печи дают значительную экономию топлива, держат постоянную температуру, надежны в эксплуатации и не чадят.

Где же вы, печи системы Гнусина?..
Доволен ли ты своей судьбой, их создатель?..

Садовод со знанием французского языка. Преподаватель французского языка Алексей Петрович Гемилиан (1826–1897)

Н. Н. Бантыш-Каменский отмечал: «После чумы (1771 г.) на Москву напала другая зараза — французолюбие. Много французов и француженок наехало с разных сторон, и нет сомнения, что в числе их были очень вредные».

Под вредными известный московский архивист подразумевал потрясателей основ государства, то есть тех, кто вольно рассуждал об императорах и королях. Но их были считанные единицы. В основном же — модистки, парикмахеры, гувернеры. А после французской революции 1789 года — опальные приверженцы монархии.

Француза русский народ издавна любил за почти русскую беспечность и незлобие. «Французик — веселая голова, — говаривали прибаутками, — живет спустя рукава, дымом греется, шилом бреется, сыт крупицей, пьян водицей». Одного из них вывел Пушкин в «Капитанской дочке» под именем «мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла».

1812 год несколько охладил любовь к этой веселой нации. Но ненадолго. Опять вошли в моду французские романы, платья и вина.

Но кроме множества беспечных представителей французской нации в Москве селились и истинные труженики. Среди последних Алексей Петрович Гемилиан, получивший в 1851 году свидетельство на звание учителя французского языка и начавшего преподавать сначала в Первой (1851–1854 гг.), потом Третьей (1854–1866 гг.) мужских гимназиях, а с февраля 1863 года в течение почти 35 лет, до своей кончины, в Московском университете. Среди его трудов известны «Хрестоматия» (1864 и 1865 гг.), «Учебник французского языка» (ч. 1–5, 1869–1870 гг.), «Французская передвижная азбука» (1874 г.) и «Международный корнеслов французского языка» (1881 г.).

Но, оказывается, основной профессией не ограничивалось творчество Гемилиана. Он написал брошюру «Собрание древесных пород русских и заграничных» (1872 г.), составил «Садовый календарь» (1885 г.) и «Справочную садовую книгу» (1887 г.), сочинил детские книжки «Афоня-богатырь» (1873 г.) и

«Холера 1830 года» (1875 г.), опубликовал множество научных статей в «Газете А. Гатцука».

Последние десять лет жизни Алексей Петрович жил, по преимуществу, на даче под Москвой, где имел большой образцовый сад. Ухаживал за своими многочисленными цветами, плодовыми деревьями и кустами, изучал современные европейские журналы по садоводству и огородничеству и издавал еженедельную газету «Русское садоводство». Только за последний год жизни он опубликовал в своей газете, распространявшейся по всей России, множество собственных статей, среди них: «О некоторых весенних ягодах», «Дички и черенки роз», «О персике», «О вредных насекомых», «Кое-что о тепличках», «Полезные защитники сада», «Об электрической культуре». От сельских хозяев получал он множество писем, начинавшихся со слов: «Милостивый государь Алексей Петрович! В своем саду я…» И далее шел рассказ об удачах и проблемах земледельца. Гемилиан отвечал своим корреспондентам, когда начинать календарные работы в оранжереях и теплицах, какие есть способы борьбы с вредителями, как выращивать пальмы и орхидеи. «Он пробудил в русском обществе, — вспоминал калужский помещик П. Можайкин, — любовь к садоводству, заснувшую было в 1860-х годах, и доказал необходимость, возможность и прибыльность его в России».

Но ведь недаром же народ говорит, что француз «живет спустя рукава»…

«Московский университет, в уважение к трудам покойного и ввиду недостаточного его состояния, принял на себя участие в расходах по погребению заслуженного лектора».

На 2-й Тверской-Ямской. Ямщик Иван Ильич Новиков (1828–1909)

Каждое сословие оставляло по себе память в лице своих знаменитых соотечественников. В XVIII веке более других прославились дворяне, командовавшие войсками, строившие богатые усадьбы и окружавшие себя многочисленной дворней. С середины XIX столетия на первый план выходят купцы-миллионщики, собиравшие коллекции произведений искусства, возводившие благолепные храмы и обширные больницы. Просвещенный люд, кроме того, прославлял талантливых ученых, писателей и актеров. Крестьяне — юродивых и удачливых разбойников. Были знаменитости также в среде ремесленников и мещан — каменотесов, сапожников, ямщиков…

С давних пор, когда Москва еще ютилась в Кремле и Китай-городе, в Тверской-Ямской слободе поселились ямщики, исполнявшие государеву службу — почтовую гоньбу. Им в вечное владение были пожалованы близлежащие земли и покосы. Со временем в слободе вырос величественный храм Василия Кесарийского, старостой которого с 1864 года состоял ямщик Иван Ильич Новиков, чьим усердием и иждивением святое здание постоянно благоукрашалось и ремонтировалось.

Новиков родился в 1828 году в доме на 2-й Тверской-Ямской улице, где и умер спустя 81 год. В 1865 году он представил в городскую управу проект указа, запрещавший ямщикам распродавать за бесценок свои земли, расположенные кольцом вокруг Москвы, на которые вдруг польстились многие купцы. Лишь по Тверскому-Ямскому обществу состоялось запрещение, благодаря чему его члены к концу XIX века стали весьма состоятельными людьми, сдавая с каждым днем все дорожающую землю в аренду.

К следующим проектам дальновидного ямщика отнеслись с большим вниманием и городские власти, и земские учреждения. Например, к предложению ввести в сельских школах Московского уезда практические занятия по добыче торфа, чтобы дать возможность крестьянам собственными силами разрабатывать окрестные торфяные болота. Встретило одобрение и другое его предложение — об устройстве в ближайших к Москве волостях общественных кирпичных заводов, что способствовало не только улучшению крестьянского быта, но и сохранению подмосковных лесов — главного строительного материала города.

В 1881 году на Петербургском шоссе, возле Тверской заставы,

Новиков на свои средства выстроил и содержал Ямские училища на триста детей, богадельню и при ней Крестовоздвиженский храм.

Увы, *ямщицкую* церковь Василия Кесарийского уничтожили в 1934 году, примерно в то же время разрушили здания училищ, богадельни и Крестовоздвиженский храм. Ни в камне, ни в народной молве не дошла до нашего времени память о ямщике, потомственном почетном гражданине Москвы, кавалере нескольких орденов мещанине Иване Ильиче Новикове. Так и уходят в небытие многие москвичи, более достойные памяти, чем московские вельможи, о чудачествах которых и по сей день издаются книги.

Первый почетный гражданин. Городской голова князь Александр Алексеевич Щербатов (1829–1902)

Московское домоуправление, то есть благоустройство города, сбор местных налогов и установление правил торговли, до конца XVII века было сосредоточено в руках «приказных и иных чиновных людей». В 1699 году для этих целей учредили Бурмистрову палату, вскоре переименовав ее в ратушу, в которую избирали бурмистров из среды городских жителей. В 1785 году городское общество стало юридическим лицом, и 15 января 1786 года в присутствии губернатора Лопухина и первого городского головы Сотникова состоялось заседание нового учреждения — думы. В конце года Общая дума подвела неутешительные итоги московского самоуправления: «Требования Шестигласной Думы приемлются без надлежащего уважения, а по недавнему учреждению едва только и считается ли Городская Дума в числе прочих в Москве присутственных мест».

Новое положение о городском самоуправлении появилось в 1862 году, когда постановили иметь в Общей думе по тридцать пять гласных от каждого сословия: потомственных дворян, личных дворян, купцов, мещан и ремесленников. В большом зале Дворянского собрания, хоры которого были переполнены зрителями, 16 марта 1863 года по ста выборщиков от каждого из пяти сословий избирали городского голову. Избирательными шарами голосовали «за» или «против» каждого из пяти кандидатов (по одному от каждого сословия). У И. В. Селиванова оказалось «за» 82 шара, А. И. Кошелева — 156, И. А. Лямина — 199, Г. И. Хлудова — 278, князя А. А. Щербатова — 338.

Гвардии поручик князь Александр Алексеевич Щербатов стал первым городским головой новой думы, основанной на началах истинного самоуправления и всесословности.

Городской голова вел свою родословную от Рюриковичей — князей Черниговских. Среди его предков особой известностью пользовался историограф XVIII столетия князь Михаил Михайлович Щербатов; его отец, Алексей Григорьевич, с 1844 по 1848 год занимал пост московского военного генерал-губернатора, а мать, Софья Степановна, в течение более пятидесяти лет состояла председателем Дамского попечительства о бедных.

Родился Александр Алексеевич 12 февраля 1829 года на

Тверском бульваре в доме Голохвастова, получил высшее образование, участвовал в Крымской войне, служил в Варшаве. В 1858 году он купил в Москве дом на Никитской улице и поселился в нем вместе с молодой женой Марией Павловной, в девичестве Мухановой.

Шесть лет прослужил князь московским городским головою, трудясь на благо Первопрестольной. «Все мы, все без исключения, — вспоминал он, — были люди новые на том поприще, на котором были призваны действовать».

Общая дума и ее исполнительный орган — Распорядительная дума ведали образованием, общественным призрением, освещением, водопроводом и санитарным состоянием города, арендой земли и множеством других дел. При А. А. Щербатове город самостоятельно выстроил Бородинский мост и начал перестройки всех остальных деревянных мостов, превратил полуразрушенные Титовские казармы в больницу (позже получила имя Щербатовской городской больницы), отстроил заново Хамовнические казармы, соорудил на городских окраинах бойни, устроил дополнительный водопровод из Ходынских ключей, ввел газовое освещение, определил точные границы Москвы. Особое внимание городской голова уделял начальному образованию, открыв в 1867 году пять городских училищ для девочек в наиболее отдаленных и бедных районах, и врачебной помощи населению, соорудив, в частности, на средства, пожертвованные фон Дервизом, первую детскую больницу святого Владимира.

В торжественном заседании Общей думы 5 марта 1866 года гласные во внимание «к неутомимым тяжелым трудам на пользу столицы» просили А. А. Щербатова принять звание почетного гражданина Москвы.

В своей прощальной речи 18 февраля 1869 года, уходя с должности городского головы, князь подчеркнул значение объединения всех городских сословий ради общего дела — процветания Москвы. «На мою долю, — подводя итоги шести лет работы думы, говорил он, — выпало счастье быть первым городским головою со времени преобразования в Москве городского управления на новых, более прочных и разумных началах. Я глубоко сочувствовал возрождению нашей общественной жизни… и старался трудом и любовью к делу восполнить в себе недостаток опыта и умения. Успех в нашем общественном начинании требовал прежде всего, чтобы разрозненные элементы городского общества действительно сплотились в одно целое для совокупного служения общественному делу. Мы можем, кажется, сказать без

самохвальства, что эта цель достигнута».

Именно во времена А. А. Щербатова зарождались славные традиции Московской думы. «Князь Щербатов, — вспоминал председатель Московского биржевого комитета Н. А. Найденов, — сумел сразу установить полнейшее слияние всех представляемых в Думе сословий. К возможности возникновения какого-либо антагонизма на сословной почве никогда не встречалось повода».

О благотворной деятельности князя много говорили его преемники по должности городского головы. Например, князь В. М. Голицын: «Многие из москвичей помнят его рослую, грузную фигуру настоящего барина-москвича, его неизменно благодушную улыбку, его приветливость и его искреннее увлечение всеми «вопросами дня», всеми проявлениями и перипетиями нашей общественности, сохранившиеся в нем до конца его жизни. Избрание его городским головой возложило на него трудную задачу — преобразовать отжившее, в буквальном смысле допотопное городское управление в такой организм, который согласовался бы с потребностями и запросами нового времени и который отвечал бы принципам и идеалам действительного общественного самоуправления. И с этой задачей он справился с полным успехом. Многое из того, что в течение шестилетнего его управления было им заслужено, улучшено, развито, сохранилось и до позднейшего времени и осязалось, так сказать, последовательными его преемниками… Впоследствии, когда князь Щербатов долгие годы прожил без активного участия в муниципальной деятельности, он явил собою живой пример той магнетической силы, которая, по-видимому, присуща городскому делу и специально московскому».

А. А. Щербатов был гласным думы еще около пятнадцати лет после ухода с командного поста, продолжал жить на широкую ногу, принимая у себя чуть ли не весь город, и оставался одним из немногих представителей московского старинного барства в его лучшем воплощении. «Уже глубоким старцем, — вспоминал многолетний секретарь, а потом и городской голова Московской думы Н. И. Астров, — опираясь на неизменную палку-костыль, князь Щербатов изредка появлялся в новом здании Думы на Воскресенской площади… Новые поколения почтительно расступались перед ним, узнавая в нем первого московского голову и первого почетного гражданина города Москвы».

После кончины в 1885 году матери Александр Алексеевич исполнил ее заветную мечту — учредил приют для неизлечимо больных детей, для которого пожертвовал ее дом на Садовой (Софийская детская больница). С открытием в 1894 году участковых попечительств о бедных князь возглавил

попечительство Первого Пресненского участка, участвуя своим капиталом и инициативой в устройстве богадельни, яслей и дешевых квартир для беднейшего населения Пресни.

Скончался А. А. Щербатов 5 января 1902 года в своем доме на Никитской улице, где прожил почти сорок пять лет, и был похоронен рядом с родителями в Донском монастыре.

В дореволюционные годы имя А. А. Щербатова носили три созданных по его инициативе женских училища (на Пресне, в Рогожке и Лефортове) и построенные думой особое Щербатовское училище и Дом дешевых квартир имени Щербатова в Пресненской части города.

В советские годы на Пресне увековечены имена десятков революционеров, превративших ее в Красную. Имя же первого почетного гражданина Москвы исчезло.

Умудренный жизнью. Чаеторговец Петр Петрович Боткин (1831–1907)

В 1638 году посольство царя Михаила Федоровича во главе с Василием Старковым вернулось из Монголии с подарком от Алтын-хана — тремя пудами чая, развешенного в двести бумажных пакетов. Хоть и опасался царского гнева, но Старков все же вручил государю странную траву. Но настоянный на ней горячий напиток при царском дворе понравился, его стали применять в лечебных целях, и постепенно он вошел в моду. По прошествии ста лет чай уже получил важное значение в торговле России с Китаем.

Переселившийся в начале XIX века в Москву зажиточный крестьянин Псковской губернии Петр Кононович Боткин (1781–1853) быстро смекнул, что здесь во главе всех напитков стоит чай. Чаем, а отнюдь не шампанским, большинство обывателей вспрыскивали удачную покупку или сделку. Его пили с солью, малиной, сливками, душистыми травами и кислыми яблоками. У большинства москвичей самовар весь день не сходил со стола, его даже брали с собой на загородные гулянья. Появилась специальная терминология: «чаи гонять» (подолгу сидеть за самоваром), «растопить пятиалтынный» (пить чай в трактире), «подносный чай» (презрительное название плохонького чая на светских вечерах).

Петр Кононович вместе с братом Дмитрием основал одну из первых чайных фирм. Они вели дела непосредственно с Китаем, поставляя туда в обмен сукно. Дело шло в гору и было продолжено после смерти братьев товариществом «Петра Боткина сыновья».

Все девять сыновей и пять дочерей Петра Кононовича жили на удивление дружно. «Семья поражала своей редкой сплоченностью, — вспоминал Н. А. Белоголовый, — тесным единодушием. На фамильных обедах нередко за стол садилось более тридцати человек домочадцев».

Поражали братья Боткины и своими талантами: Василий (1811–1869) — участник кружка Станкевича, автор «Писем об Италии» и свыше восьмидесяти статей по вопросам торговли, философии и искусства; Дмитрий (1829–1889) — председатель Московского общества любителей художеств, владелец великолепной картинной галереи западноевропейской живописи; Сергей (1832–1889) — знаменитый врач, ученый и общественный деятель; Михаил (1839–1914) — академик живописи, автор книги

«А. А. Иванов, его жизнь и переписка», коллекционер произведений античного и средневекового искусства. Их имена часто мелькают в исторических исследованиях, посвященных истории русской науки и искусства второй половины XIX века, в энциклопедических словарях. А вот Петра упоминают гораздо реже братьев, вернее, почти вовсе нигде не встретишь его имени. Такова судьба многих русских людей, не проявивших своих талантов на ниве науки или искусства, но взваливших на свои плечи многочисленные заботы о близких, родных и даже о вовсе не знакомых людях.

Петр Петрович Боткин родился в 1831 году и после смерти отца сначала с братом Дмитрием, а после и его смерти с племянником Петром Дмитриевичем и зятьями Н. И. Гучковым и И. С. Остроумовым управлял товариществом чайной торговли «Петра Боткина сыновья».

К Петру Петровичу от отца перешла знаменитая усадьба Боткиных по Петроверигскому переулку, где подолгу жили или часто бывали в гостях В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, Т. Н. Грановский, А. А. Фет, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. В. Гоголь, М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, А. В. Кольцов, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой.

Коммерции советник Петр Петрович Боткин был основой благосостояния как своих трех дочерей (Анны, Надежды и Веры), так и семей большинства братьев. Например, после смерти Сергея он взял на свое попечение его вдову и семерых детей.

Петр Петрович имел представителей своей чайной фирмы в Кяхте, а в Москве три магазина для розничной торговли чаем: на Тверской, Кузнецком Мосту и на Ильинке. Он основал самостоятельное сахарное предприятие и завел свекловодческие плантации. Был гласным Московской думы в 1870—1880-х годах, членом Московской купеческой управы и Московского биржевого комитета.

Двадцать три года Петр Петрович состоял старостой Косма-Дамианского храма на Покровке и постоянно благоукрашал его за свой счет. Многие другие храмы России получали его доброхотные пожертвования. Его стараниями были возведены православные храмы даже там, где он ни разу не бывал — в Польше, Японии, Америке, Палестине. Каждый день Петра Петровича — это усердные труды по купеческим, семейным и благотворительным делам.

Что еще добавить?.. Скончался на семьдесят седьмом году жизни и похоронен на кладбище Покровского монастыря.

Кем он был?.. По словам художника М. В. Нестерова, практиком, умудренным опытами жизни. И если память о нем

где-то и сохранилась, то лишь у потомства некогда знаменитой семьи Боткиных.

Газетчик. Издатель и репортер Николай Иванович Пастухов (1831–1911)

В Москве в конце XIX века газету можно было выбрать по своему вкусу. Официальные «Московские ведомости» читали особы, приближенные к генерал-губернатору. Либеральные «Русские ведомости» — интеллигенты-разночинцы. Скучноватое «Русское слово» — профессора Московского университета. Была любимая газета и у простого люда — торговцев, ремесленников, мелких служащих — «Московский листок».

«В жилу попал, — завистливо говорили о ее редакторе и издателе Н. И. Пастухове купцы, — миллионное состояние газетой нажил». И тут же боязливо разворачивали «Московский листок» на рубрике «Советы и ответы»: «Не прохватил ли меня? Не дай-то Бог, а то вся коммерция нарушится».

Газета имела самое большое количество подписчиков, всегда выходила в срок, издавалось множество иллюстрированных приложений, выполненных на самом высоком полиграфическом уровне.

«Заслуга Пастухова огромная — он выучил Москву читать, — вспоминал известный репортер «Московского листка» Владимир Гиляровский. — Это самый яркий из всех чисто московских типов за последние полстолетия».

Родился Николай Иванович Пастухов в 1831 году в городе Гжатске Смоленской губернии в бедной семье и получил самое элементарное, поверхностное образование. Несмотря на это, он пристрастился к чтению и даже делал робкие попытки сам писать. С юных лет вынужденный зарабатывать на жизнь, он служил сидельцем в винной лавке, рассыльным на московском почтамте, выступал фокусником в балаганах за Пресненской Заставой. В своих стихах он признавался:

Скучно, братцы, в службе этой
Путешествовать с сумой
И в сторонке беспросветной
Собеседовать с бедой.

Его неукротимый нрав жаждал бурной деятельности, большого дела. Но Пастухов пошел не по торговой части, где быстро можно было заработать большие барыши, а выбрал одну

из самых безденежных профессий — репортер. «Русские ведомости» и «Современные известия» с удовольствием публиковали его корреспонденции, в которых было главное — любопытный факт, точность, краткость, оперативность. Подрабатывал и для «Петербургского листка». Его редактор А. А. Соколов вспоминал:

«По приезде в Петербург Пастухов зашел ко мне в редакцию и предложил свои услуги.

— Если только вы ограничитесь передачей фактов, я буду печатать с удовольствием.

— Да уж философствовать не буду.

— В таком случае пишите. Гонорар у нас — три копейки».

И он писал, перебивался случайными заработками.

С квартиры выгнали, в другую не пускают,
Все говорят, что малый я пустой.
Срок паспорта прошел, в полицию таскают,
Отсрочки не дают без денег никакой.

Была у Пастухова заветная мечта — начать издавать свою газету. Его поднимали на смех: «Да кто ты такой, чтобы тебе разрешили?! Да где ты денег достанешь?!» И никто не мог поверить своим глазам, когда 1 августа 1881 года появился первый номер пастуховского «Московского листка». О новой газете, как и о жизни ее редактора, ходило множество рассказов и легенд, в которых действительность перемешана с вымыслом.

Рассказывали, что генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков часто выезжал на пожары и бойкий репортер Пастухов, всегда первым оказывавшийся там, старался попасться ему на глаза, а потом в «Русских ведомостях» писал: «Тушением пожара лично руководил его сиятельство, господин московский генерал-губернатор, благодаря энергичной и умелой распорядительности которого скоро удалось обуздать разбушевавшуюся огненную стихию».

Князь стал замечать льстившего его самолюбию репортера и даже удостоил его разговором. Вот тогда-то в ответ Пастухов бухнулся в ноги:

— Ваше сиятельство! Помогите! Явите божескую милость.

Смущенный князь попросил его встать, выслушал мечты о газете, ласково потрепал по плечу, пообещал помочь и помог.

Другие предания связывают появление газеты с министром внутренних дел, с которым подружился Пастухов в Нижнем Новгороде на ярмарке, с иными высокопоставленными чиновниками.

Газета сразу же стала любимицей москвичей. Она была как никакая другая насыщена городскими новостями, слухами, разносными статьями о взяточничестве, спекуляции, оскорблениях простого люда. Редактор учел даже то, что после прочтения газета будет использована курильщиками, и выпускал ее на специально пригодной для самокруток бумаге. Два раза в неделю стали появляться главы лубочного романа Пастухова «Разбойник Чуркин» — о русском Робин Гуде. Чуркин для московских обывателей, еще вчера презиравших чтение, стал любимым героем, и они с нетерпением ждали следующих приключений. Но тут автора нашумевшего романа вызвал к себе редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков, у которого Пастухов служил одно время репортером и до сих пор благоговел перед маститым издателем и публицистом.

— Какие ты там у себя безобразия печатаешь? Говорят, всю Москву всполошил. Детишки в Чуркина играют. Ты это брось!

— Помилуйте, Михаил Никифорович, да это же мой кормилец.

— И все-таки брось. Нехорошо.

— Из-за него газета пошла.

— Ты своим Чуркиным потакаешь дурным инстинктам. Брось!

— Да как же на середине бросать?

— Где сейчас твой разбойник?

— Его полиция схватила, а он отбился — и в лес.

— Вот и отлично. Придави его деревом, и конец!

В ближайшем номере «Московского листка» удрученный автор придавил своего любимца могучим деревом. Тираж газеты сразу резко упал. Но ее редактор нашел выход. Он пригласил к сотрудничеству своего давнего друга адвоката-златоуста Ф. Н. Плевако, историка Е. В. Барсова, публициста Ф. А. Гилярова. Он не жалел денег для талантливых репортеров и фельетонистов И. Горбунова, Н. Лейкина, В. Гиляровского, В. Дорошевича, А. Пазухина. У газеты появились собственные корреспонденты не только в больших российских городах, но и за границей.

Сотрудники «Московского листка» были для Пастухова самыми близкими людьми. Они могли всегда попросить у него аванс в несколько сот рублей, помочь выкарабкаться из щекотливого положения, поговорить по душам. Да и сам редактор, хоть уже ворочал миллионами рублей, имел в друзьях все московское начальство и даже сиживал за одним столом в Париже с президентом французской республики, продолжал писать репортажи под псевдонимами Дедушка с Арбата, Старый Знакомый и Философ с Откоса. Посылая корреспонденции с

Нижегородской ярмарки, он потом, как и другие газетчики, в гонорарный день являлся в контору, получал построчную плату и кряхтел — жаловался, что на старости лет стал мало зарабатывать. Ему до конца дней приятно было ощущать себя обыкновенным репортером, который за заметкой в пять-шесть строк может отшагать по Москве десять — пятнадцать верст. Не брезговал он, конечно, и другими жанрами, издав несколько книг собственного сочинения, и среди них замечательную о быте старой Москвы — «Очерки и рассказы Старого Знакомого» (1879 г.).

28 июля 1911 года, не дожив трех дней до тридцатилетия «Московского листка», восьмидесятилетний легендарный московский газетчик умер. О нем написали несколько прочувственных некрологов и постепенно стали забывать. Увы, такова участь большинства из тех, кто работает на потребу дня. Но именно благодаря их любви к своему делу в начале XX века Россия могла похвастаться множеством первоклассных по мировым меркам газет. И не только в столицах, но и в провинции.

… Когда в квартире Пастухова (она помещалась в том же здании, где и редакция газеты) случился пожар, его не было дома. Прибыв наконец на место происшествия, он первым делом заглянул в редакцию и осведомился:

— Не опоздаем из-за пожара с номером?

И лишь получив отрицательный ответ, бросился в свою догоравшую квартиру.

В царстве, похожем на рай. Главный садовник Ботанического сада Московского университета Густав Федорович Вобст (1831–1895)

Москвичи любили природу и перекраивали ее на свой лад, для пользы тела и души. Уже в XIV веке сады становятся гордостью и ощутимой ценностью юного Московского княжества. Святитель Алексий, митрополит Московский, в своей духовной упомянул: «А садец мой подольный[8] святому Михаилу»[9]. Уже в начале XV века Кремль был окружен садами, в которых произрастали яблони, кедры, орешник. В XVI веке вся Москва утопала в садах, и в «Домострой» были включены правила, «как огород и сад водити». Сад в воображении старомосковских жителей представлял собой «некий рай»; его многоликость, тишина и разноцветная живописность вызывали душевный восторг, преклонение перед величием и мудростью природы. Москвичи, как и жители Древнего Египта или средневековой Европы, населяли сады мифическими героями и колдунами, сочиняли романтические легенды о якобы случавшихся здесь происшествиях.

К концу XVI века на Боровицком холме появились аптекарские огороды (ботанические сады), где, кроме традиционных для Москвы фруктовых деревьев и ягодных кустов, произрастали арбузы, дыни, финики, грецкий орех, лекарственные травы, пряности. В 1706 году по указу Петра I для военного госпиталя в Лефортове был основан аптекарский огород к северу от Москвы. В 1805 году он перешел в ведение Московского университета и стал называться Ботаническим садом. Ныне его официально именуют филиалом Ботанического сада МГУ (проспект Мира, 26). Своей славой, которая в XIX веке разнеслась не только по России, но и по Европе, он обязан ученым-садоводам Т. Герберу, Ф. Стефану, Г. Гофману, Д. Григорьеву, Н. Кауфману, И. Чистякову, И. Горожанкину, а также богатым дворянам и купцам, делившимся с университетским садом редкими растениями своих усадебных оранжерей. Сад — не дикая природа, он — творение человеческого ума, души и рук. Поэтому в нем часто, как в зеркале, отражаются характеры его создателей. Расскажем об одном из них, четверть века занимавшем должность главного садовника Ботанического сада.

Густав Федорович Вобст родился в имении Гейда, близ

города Вурцена в Саксонии. В четырнадцать лет он поступил учиться в садовое заведение Ф. Шумана под Лейпцигом, где пробыл пять лет. Потом еще три года учился в садовом училище К. Вагнера в Лейпциге. Усвоив премудрости садового искусства, Вобст два года провел в садовом питомнике Э. Либиха в Дрездене, после чего в конце 1855 года уехал в Санкт-Петербург заведовать оранжереями графа К. В. Нессельроде. С 1857 года он стал заведовать садовым хозяйством великой княгини Елены Павловны. Но свое постоянное пристанище Вобст обрел в 1865 году в Москве, когда был приглашен преподавать в недавно открывшуюся Петровскую сельскохозяйственную и лесную академию (ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). С ноября 1870 года до дня своей кончины 2 октября 1895 года он прослужил в Ботаническом саду Московского университета.

Удивительное впечатление производила лютеранская церковь Петра и Павла 5 октября 1895 года. Предалтарная часть храма была превращена в роскошный тропический сад. Сам же гроб Вобста утопал в роскошных венках, возложенных его учениками и коллегами. Особенно часто встречались орхидеи — любимые цветы университетского садовника. Многие жалели, что из-за сурового московского климата их нельзя высадить на могиле покойного, которого похоронили на кладбище Введенских гор. Вся его жизнь прошла в разноцветном царстве деревьев, трав и цветов. Он, можно сказать, *не вылезал* из теплиц и оранжерей, превратив университетский сад в райские кущи растений всех широт и поясов мира. Вобст выписывал диковинные семена и саженцы из заграницы, приобретал их у российских садоводов, занимался учеными исследованиями, пытаясь разнообразить флору московских окрестностей. Постоянно живя в мире красоты, он всегда был добр, любезен и отзывчив к окружавшим его людям, бескорыстно делился с ними своими знаниями и опытом. Перечислять его повседневные труды — чистка прудов, дренирование почвы, устройство обходных дорог и тропинок и т. п. — дело скучное. Зато, когда представишь, что он был ежедневно окружен царством орхидей, агав, олеандров, пальм, что он жил в феерическом мире, созданном дружеским соучастием природы и человека, становится завидно.

Сад посреди Москвы —
как сбывшееся чудо,
не устремленный ввысь,
но распростертый вдаль.
И в нас опять шумят реликтовые чувства —

надежда и любовь,
отрада и печаль.

Владимир Костров «Ботанический сад МГУ»

По своей неразумности нынче мы завидуем людям денежных суетных профессий — министрам и депутатам, ловчилам нефтяного и газового бизнеса. А те из них, кто поумней и не страдает ненасытной жадностью личного обогащения, наверное, с безысходной грустью завидуют профессии Густава Федоровича Вобста.

Скромная жизнь и громкая слава. Директор Московского учительского института Александр Федорович Малинин (1834–1888)

До XVIII века занятия русских людей математикой не выходили за рамки арифметического счисления во время торговых сделок и начаток геометрии для нужд земледелия. Лишь в 1701 году государство впервые решило всерьез заняться изучением точных наук, учредив для сего дела в Москве специальную школу. Спустя два года появился и первый учебник — «Арифметика, сиречь наука числительная» Магницкого. Но даже в середине XIX века, когда Россия уже могла гордиться такими замечательными математиками, как Н. И. Лобачевский и П. Л. Чебышев, учебники Буссе и Погорельского, по которым изучали арифметику и геометрию, заставляли желать лучшего. Тригонометрию и вовсе не по чему было учить, оставалось только записывать за учителем.

В 1860-х годах наступил переворот в народном просвещении — переход к более живому преподаванию учебных предметов. Но как быть с одной из самых строгих наук — математикой? Как добиться в ее изложении ясности мысли и простоты слога? Чиновникам Министерства народного просвещения недолго пришлось ломать голову над этой проблемой — скоро стали появляться учебники А. Ф. Малинина, и проблема отпала сама собой. Его книги «Руководство арифметики», «Руководство тригонометрии», «Собрание арифметических задач» и еще целый ряд, благодаря ясности изложения и общедоступности, вьщержали каждая не менее десяти изданий, стали примером и источником для учебных пособий XX века.

Их автор Александр Федорович Малинин родился в 1834 году в здании Третьего московского уездного училища у Красных Ворот, где служил смотрителем и квартировал его отец. Сын поступил во Вторую гимназию на Разгуляе, а по смерти отца был переведен на полный пансион в Первую гимназию, которую и окончил с золотой медалью. Золотой медали удостоил его и Московский университет по окончании в двадцатилетнем возрасте физико-математического факультета. Шестнадцать лет преподавал Александр Федорович в гимназиях, пока не был в 1872 году назначен директором Московского учительского института, располагавшегося в тихом Замоскворечье и

готовившего из детей провинциальных мещан, крестьян и мелких чиновников народных учителей. Жил Малинин неподалеку, в собственном доме на Полянке, в приходе Спасской, что в Наливках, церкви, все свободное время посвящая сочинению новых и усовершенствованию уже изданных своих учебников. Так и закончилась скромная его жизнь за работой над очередной книгой 24 февраля 1888 года. Она не была богата внешними событиями, но много ли наберется людей, о которых после смерти скажут гордые слова: «Вся грамотная Россия училась и учится по всем отраслям математики в низших и средних учебных заведениях по его учебникам»?

Запоздалый некролог. Купец Николай Александрович Найденов (1834–1905)

Даже умирать надо — и то вовремя. Когда 28 ноября 1905 года Н. А. Найденов покинул бренную землю, большинству друзей было не до него — по всей России расползались самосуды, убийства, грабежи помещичьих усадеб. В Москве бастовали официанты, почтово-телеграфные служащие, фабричные рабочие. Горели подмосковные дачи, Ф. И. Шаляпин исполнял на концертах «Дубинушку», новый генерал-губернатор Ф. С. Дубасов каждодневно арестовывал по нескольку десятков человек. Лишь в две-три строчки появилась в газетах информация о кончине «одного из главных представителей торгово-промышленной Москвы». Статей же о нем с изложением биографии и характеристики деятельности, как полагалось для людей подобного ранга, не появилось вовсе. Придется спустя почти сто лет восполнить этот пробел в истории московского купечества и составить некролог, достойный памяти известного негоцианта.

Фамилия Найденовых произошла от прозвища Найден, его предки были крепостными крестьянами, занимаясь хлебопашеством в селе Батыево Суздальского уезда Владимирской губернии. Дед Николая Александровича, Егор Иванович, родился в 1745 году и в 1764 году пришел в Москву, где основал благосостояние своей семьи. Он заимел собственную красильню и в 1816 году был записан в московское купечество по третьей гильдии. Отец, Александр Егорович, родился в 1787 году, а в 1828 году вступил в брак с Марией Никитичной, урожденной Дерягиной. Николай, появившийся на свет 7 декабря 1834 года, был третьим ребенком в семье и имел старших брата Виктора и сестру Анну и младших Александра и Ольгу.

Жили Найденовы в собственном доме с садом на берегу Яузы, в Сыромятниках, недалеко от храмов Ильи Пророка и Святой Троицы. Сначала Николая обучала мать, а 15 апреля 1844 года его отдали в лютеранское училище при церкви апостолов Петра и Павла (Космодемьянский переулок), куда двумя годами раньше поступил его старший брат. Половину учеников составляли московские немцы-лютеране, половину — православные русские. «Я принадлежал там, — вспоминал Николай Александрович, — к числу самых смирных учеников и не подвергался никогда никаким наказаниям». Его обучали немецкому, французскому и

английскому языкам, истории, географии и точным наукам, рисованию, физике и «купеческой арифметике», то есть торговому ремеслу.

Окончив училище 27 августа 1848 года, Николай Александрович стал помогать отцу в красильне, женился 12 января 1864 года на В. Ф. Росторгуевой, и в этом же году 7 декабря, пережив жену на десять лет, умер его отец. С тех пор Николай Александрович становится главой текстильной фирмы «А. Найденов и сыновья» и начинает заниматься сословной деятельностью. С 1865 года он — гильдейский староста в Московской купеческой управе, с 1866-го — гласный Московской думы от купеческого сословия и член Московского отделения Коммерческого совета, в 1870-м стал выборным Московского биржевого общества, в 1871-м — одним из учредителей и председателем Московского торгового банка, почетным мировым судьей, в 1872-м — членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, возведен в потомственное почетное гражданство, в 1874-м получает звание коммерции советника, в 1877-м избран председателем Московского биржевого комитета, в 1881-м — председателем Московского отделения торговли и мануфактур, в 1883-м — председателем попечительского совета основанного им Александровского коммерческого училища, почетным членом Археологического института, в 1896-м— членом Совета по учебным делам при Министерстве финансов.

В 1895 году, когда исполнилось двадцатипятилетие биржевой службы Н. А. Найденова, его поздравил император Николай II, отметив, что «состоя под вашим председательством в течение столь долгого времени, биржевой комитет первопрестольной столицы, этого главного средоточия русской торговли, был верным выразителем той заботливости о преуспеянии отечественной промышленности, которая всегда отличала московское купечество».

Свои досуги, отдыхая от коммерческой деятельности, Николай Александрович посвящал археографической и литературной деятельности. Им издано двенадцать томов сборников «Москва. Актовые книги XVIII столетия» и четырнадцать томов «Материалов для истории московского купечества», написаны историческое исследование «Московская биржа. 1839–1889» и два тома мемуаров «Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном»…

«Жило в нем большое московское купеческое самосознание, но без классового эгоизма, — вспоминал В. П. Рябушинский. — Выросло оно на почве любви к родному городу, к его истории, традициям, быту. Очень поучительно читать у Забелина, как

молодой гласный Мос. гор. Думы Н. А. Найденов отстаивал ассигновки на издание материалов для истории Москвы. Что-то общее чувствуется в мелком канцеляристе Забелине, будущем докторе русской истории, и купеческом сыне Найденове, будущем главе московского купечества».

Большинство дел и книг главы московского купечества ныне прочно забыто. Но остались так называемые «найденовские листы» — четырнадцать альбомов с 680 гравюрами и фотографиями, изображающими старую Москву. «Цель настоящего издания, — писал в предисловии к альбому фотографий приходских церквей и монастырей Н. А. Найденов, — состоит в сохранении на память будущему вида существующих в Москве храмов, не касаясь при этом нисколько того, какое значение последние имеют в отношении историческом, археологическом или архитектурном». В этом блестящем труде запечатлены навеки многие памятники каменной летописи Москвы, стертые с лица земли в немилосердном XX веке. «Не думаю, что в каком-либо другом городе мира, — писал П. А. Бурышкин, — были собрания такой же ценности исторических документов».

Похоронен Николай Александрович был в Покровском монастыре, на кладбище, которое, как бы в насмешку над предками, летом превращают ныне в гульбище, а зимой — в каток. И все же не пропала даром деятельность знаменитого московского купца, без его «найденовских листов», то есть фотографий храмов, торговых зданий, приютов и богаделен, не обходится ни одно иллюстрированное издание, посвященное истории Первопрестольной.

Служба колдовским ароматам. Парфюмер Генрих Афанасьевич Брокар (1836–1900)

Одним из культурных явлений XIX века считается развитие парфюмерии — производства мыла, помады, духов, одеколона, пудры. И если раньше все эти предметы роскоши поступали на Русь из заграницы, то теперь и в городах Российской империи появились люди, прозванные странным для русского уха французским словом «парфюмер». Пытались заменить его на «душмяник», но не прижилось, потому что благовония везли из заграницы. Из далекого Парижа поступали румяна для лица, тесто для рук, мозговая помада для рощения волос, вода для полоскания рта и другие подобные изделия, которые мужик и задаром бы не взял. Потихоньку и отечественные фабриканты осмелели, стали производить нечто похожее, но конкуренции с европейцами не выдерживали, несмотря на дешевизну своей продукции.

Первый, кто научил москвичей не брезговать отечественными благовониями и гигиеническими средствами, был обосновавшийся в 1862 году в городе главный лаборант парфюмерной фабрики Гике Генрих Афанасьевич Брокар. Женившись вскоре на Шарлотте Равэ, дочери бельгийского подданного, державшего на Никитской улице магазин хирургических инструментов, он стал подумывать, что пора ему, потомственному парфюмеру, открыть и собственное заведение. Пришлось съездить в Париж, чтобы там продать свое изобретение — способ изготовления консервированных духов. На вырученные деньги в 1864 году Генрих Афанасьевич открыл в Теплом переулке маленькую мастерскую. В ней, кроме хозяина, трудились всего двое — мыловар Алексей Бурдоков и рабочий Герасим. Весь инвентарь на первых порах состоял из каменной ступки, плиты и трех кастрюль, с помощью которых удавалось приготовить около ста кусков мыла в день.

Дело пошло, закупщикам мыло нравилось, и вскоре Брокар смог снять более обширное помещение на Зубовском бульваре, а осенью 1864 года переехать в собственный дом за Серпуховскими воротами, на углу Арсеньевского переулка и Мытной улицы. Здесь ставшая со временем знаменитой и громадной по площади фабрика товарищества «Брокар и К^0» просуществовала до 1922 года, когда ее помещения отдали «Гознаку».

Генрих Брокар почти ежегодно ездил во Францию узнавать новости парфюмерного дела и использовать их на своем производстве. Благодаря его обширным знаниям, таланту и любви к избранной профессии фабрика с каждым годом получала все больший доход. Мыло «Детское», «Народное», «Огурец», благодаря изумительному качеству и дешевизне, стало популярным по всей России. Для розничной продажи Генрих Афанасьевич открывает магазины в домах Бостанжогло на Никольской улице и Троицкого подворья на Биржевой площади.

Но что значит хороший товар, когда нет рекламы! Брокар выпускает парфюмерные наборы в красивых коробках, снабжает флаконы духов и одеколона красочными ярлыками с рисунками на темы русской жизни, а когда разразилась Русско-турецкая война 1877–1878 годов, начинает выпуск мыла и помады под названием «Букет Плевны». Денег, чтобы привлечь внимание обывателей к своей продукции, он не жалел и на Всероссийской промышленной выставке в Москве 1882 года даже соорудил фонтан из одеколона «Цветочный», где каждый желающий мог надушить бесплатно не только свое лицо, но и платье или пиджак. Благодаря постоянному поиску новых запахов, качественному сырью и неутомимой работе сотен мастеров товарищество «Брокар и К^0» получает золотые медали за свою продукцию на всемирных выставках в Париже, Бостоне, Антверпене, становится поставщиком Двора испанского короля, награждается высшей наградой России за производство отечественных товаров — правом изображать на своей продукции Государственный герб.

Покинул Генрих Афанасьевич бренный мир 3 декабря 1900 года, оставив детям и компаньонам фабрику, приносящую до двух миллионов рублей ежегодного дохода. Его уникальную коллекцию картин, фарфора, бронзы, мебели, старинных книг вдова превратила в постоянный московский музей. Не только иностранная и демократическая пресса поместила некрологи о нем, но даже консерваторы, недолюбливавшие все иностранное, сожалели на страницах газет о кончине предприимчивого француза.

«Вчера во Франции в Каннах состоялись похороны москвича Г. А. Брокара, — писал репортер «Московского листка». — Я не без умысла употребляю слово «москвич». Француз по происхождению, пришлый гость Москвы, покойный Брокар был тем не менее москвичом… У этого человека, пользовавшегося у нас в Москве широкой и хорошей популярностью, были три основные свойства: твердый промышленный ум, искренняя любовь к искусству и живая доброта души».

Незабвенный учитель. Директор гимназии Лев Иванович Поливанов (1839–1899)

О прошлом мы узнаем главным образом по книгам и архивным документам. Судим о людях минувших веков по их письмам, воспоминаниям современников. И еще — по делам. Более других нам понятны сочинители, отобразившие в прозе и стихах глубины своей души. Внутренний мир представителей иных профессий мы чувствуем меньше, если вообще понимаем. Увы, сухой перечень их дел, будь они даже грандиозны, как, например, открытие нового вещества или постройка грандиозного завода, не в силах воссоздать образ человека. Но нельзя же писать об одних только писателях! (Льстивые жизнеописания государственных деятелей здесь не в счет, они, как правило, легендарны и похожи одно на другое, как две капли воды.) Попробуем нарисовать портрет представителя скромной, но исключительно важной профессии — педагога.

Если перечислять литературные труды Льва Ивановича Поливанова, получится изрядный, но довольно обычный для интеллигента второй половины XIX века список. Хрестоматии для народных училищ, «Начальная книжка для обучения русскому языку», учебники «Русская и церковно-славянская этимология», «Русский синтаксис», прокомментированные для гимназистов сочинения А. С. Пушкина в пяти томах, тоже прокомментированные издания Державина, Карамзина, русских былин, биография В. А. Жуковского, критический разбор поэтической книги Я. П. Полонского, переводы Расина и Мольера, педагогические статьи в журналах и сборниках. Если судить по этим сочинениям, то перед нами предстает тип незаурядного труженика на ниве народного просвещения. Но Поливанов был не тип, а своеобразная, неповторимая личность.

По всей Москве почти полвека начиная с 1870-х годов, когда говорили об образовании, не сходили с уст слова: Поливановская гимназия. Здесь, в доме Пегова на углу Пречистенки и Малого Левшинского переулка, учились митрополит Трифон (князь Борис Туркестанов) и поэт Валерий Брюсов, математик граф Михаил Олсуфьев и философ Лев Лопатин, чемпион мира по шахматам Александр Алехин и три сына Льва Толстого…

«Поливановскую гимназию, — говорил ее воспитанник писатель Андрей Белый, — я считаю безо всяких иллюзий лучшей

московской гимназией своего времени».

Другой поливановец, философ и поэт Владимир Соловьев, утверждал, что лавры гимназии стяжал ее директор: «Он вложил в свою школу живую душу, поднял и удержал эту школу выше обычной казенности и умел зажигать в своих воспитанниках искры того огня, который горел в нем самом».

Жизненный путь столь обожаемого учителя не блещет ни эксцентричными поступками, ни легендарными происшествиями. Родился он 27 февраля 1838 года в семье артиллерии поручика Ивана Гавриловича Поливанова в сельце Загарине Нижегородской губернии. В 1844 году, после смерти матери, семья переселилась в Москву. Здесь будущий педагог окончил Четвертую гимназию и историко-философский факультет Московского университета. С 1861 года преподает русскую словесность в женском Мариинско-Ермоловском училище и в 1-м кадетском корпусе, с 1864-го — в Третьей и Четвертой гимназиях. В 1868 году вместе с другими сотрудниками открывает частную гимназию и заведует ею до своего смертного часа, который настал 11 февраля 1899 года. Состоял членом Общества любителей российской словесности, Психологического общества, Комитета грамотности при Московском обществе сельского хозяйства, Московского кружка преподавателей древних языков, Православного братства во имя Пресвятой Богородицы.

В России, особенно в Петербурге, найдется несколько тысяч чиновников с куда более яркими биографиями и внушительным числом титулов. Но о них говорят разве что в кругу сослуживцев. Поливанова же знала и любила вся Москва. Родители, отдавая своих детей в его гимназию, верили, что воспитание в ней пойдет рука об руку с семейным, что при соблюдении общей гимназической программы здесь будут употреблены все старания, дабы приохотить воспитанника к осмысленной работе.

Изучали в Поливановке то же, что и везде: Закон Божий, русскую словесность, французский, немецкий, латинский и греческий языки (последний необязателен для тех, кто не готовился к университету), математику, физику, историю, географию, естественную историю, рисование, чистописание, черчение, хоровое пение, гимнастику. Но…

— Лев, Лев идет! — предупреждает товарищей взволнованный гимназист, одетый, как и все, в черную блузу с кожаным поясом.

Лев не входит — влетает в класс. С седой гривой волос, ниспадающей на плечи, высокий и сутулый, в кургузой курточке, с предлинными, вечно находящимися в движении, если не сцеплены за спиной в замок, руками. Сел… Вернее, развалился на

стуле совсем не по-учительски, блеснул глазами и — полилась живая увлекательная речь. Ученикам передалось его возбуждение, его азарт, они даже не замечают, что прозвенел звонок о конце урока.

— Лев, Лев идет! — раздается в другом классе.

Лев зачитывает отрывок из книги С. Т. Аксакова: «Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей водяной или водоплавающей птицы. Белый как снег, с блестящими прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными лапами, с длинною, гибкою и красивою шеей, он невыразимо прекрасен, когда спокойно плавает между зеленых камышей по темно-синей гладкой поверхности воды».

— А теперь, строго придерживаясь формы Аксакова, опишите лошадь. Так вы сумеете понять стиль писателя и сами побываете на его месте.

Ученик третьего класса Ермолов старательно выводит строчку за строчкой: «Лошадь за свою красоту, силу, ум, выносливость и услуги давно и справедливо сделалась любимицей человека между всеми животными. Легкая как ветер, с умными выразительными глазами, длинной и гибкой шеей, с тонкими ногами, пышной гривой — она невыразимо прекрасна, когда носится на воле».

Лев умел интуитивно внушить воспитанникам уверенность, что не исполнить его требования невозможно. А если учитель может это, он всесилен в классе.

Но ему мало классных уроков, он почти не спит, за многое берется и всегда доводит дело до конца.

Десять лет Поливанов руководил Шекспировским кружком, подавляющее большинство участников которого составляли его выпускники. На сцене Немчиновского театра они поставили шестнадцать пьес английского гения и всегда выступали в битком набитом зале. На премьере «Генриха IV» присутствовали два Ивана, Тургенев и Аксаков, на своем веку повидавшие множество первоклассных артистов, но и они, не кривя душой, назвали постановку первоклассной.

В 1880 году Поливанов провел гигантскую работу по организации празднеств по случаю открытия памятника Пушкину на Тверском бульваре и созданию уникальной пушкинской выставки.

Он постоянно хотел кому-то помочь. К нему обращались начинающие литераторы, провинциальные артисты и, конечно же, выпускники Поливановской гимназии. Встретившись, они обязательно вспоминали о своем Льве:

— Идеальный русский человек.

— Изумительное художественное чутье.

— Дружил и с князьями, и с литаврщиком Большого театра, и с бывшим отцовским денщиком.

— Жестоко нападал на любого за малейшую, самую ничтожную фальшь.

— Умел каждого человека приохотить к делу, заставить хоть малость сделать хорошего на общую пользу.

— Взявшись за дело, отдавался ему весь.

— Во всем был безукоризненно добросовестен.

— Удивительно соединялись в одном человеке духовный аристократизм и широкое просвещение.

— Часто задевал самолюбие подростков, но никогда не оскорблял их чувство достоинства.

— Его следует назвать романтиком в старинном и хорошем значении этого слова.

— Он был педагог-художник и педагог-мыслитель.

— Осиротела Москва, — вздыхали, похоронив его на Новодевичьем кладбище.

Но Поливанов продолжал жить в делах своих учеников, до гробовой доски гордо называвших себя поливановцами.

…В 1925 году Андрей Белый встретил в гостях у Бориса Пильняка артиста Лужского.

— А вы поливановец? — спросил Лужский Андрея Белого.

— Да! — гордо ответил тот.

— Я тоже одно время учился у Льва.

И разговор перешел на любимого незабвенного учителя…

Король русских мукомолов. Предприниматель Антон Максимович Эрлангер (1839–1910)

Хлеб — всему голова! Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска — и стол доска. Бог на стене, хлеб на столе.

Издавна в русском слове прославлен народ-землепашец, взрастивший хлеб. Но мельница вызывала странные чувства, там — домовые, черти, волшебство, да и сам мельник напоминал нелюдимого колдуна. Правда, в чем ему не откажешь — умеет работать, мельник — не бездельник, хоть дела нет, а из рук топор нейдет.

Отечество наше вплоть до середины XIX века было страной почти исключительно земледелия, хлебопашества. Хлебные зерна превращали в муку простым домашним способом — с помощью ручных жерновов, о чем сохранилась пословица: «Что келья — то мельня». Со временем предприимчивые люди стали устраивать общественные мельницы — водяные, ветряные, на конной тяге и наконец со второй половины XIX века — паровые. От отца к сыну передавалось искусство мукомольного дела, требующего большой сноровки, опыта и честности. Мельницы в крупных городах к началу XX века мало чем напоминали деревянные ветряки, с которыми сражался неутомимый Дон Кихот. Это были каменные дома, достигающие пяти — семи этажей, напичканные паровыми машинами, другой современной техникой и вечным гулом цилиндрических валов, перемалывающих зерно.

Впервые автоматическую мельницу построил в Москве Антон Максимович Эрлангер, привезший из Европы, куда ездил изучать новейшие заводы, вальцовые станки. За полвека неутомимого труда он возвел в России около тысячи мощных мельниц, превратившись из небогатого обывателя в одного из самых крупных промышленных тузов. Его называли не иначе, как королем русских мукомолов.

«Мельник не торгуется за нужный ему камень», — помнил Антон Максимович старинную русскую поговорку и не жалел денег на новую иностранную технику, пока не наладили ее выпуск московские заводы братьев Бромлей и Гоппера. И в то же время он понял, что в России нельзя насаждать заграничный размол, что в каждой местности выращивают зерно со своими особенностями и мельницы должны подстраиваться под них. Оттого и работников по размолу он выбирал особо тщательно,

обращая главное внимание на врожденное дарование мельника, профессиональные секреты. И это вовсе не означало, что Эрлангер презирал образование, надеясь только на дедовские заповеди. На свои средства в 1892 году он открыл первую в России школу мукомолов, каждый год выпускавшую несколько десятков прекрасных техников. В том же 1892 году начал издавать первый в России профессиональный журнал по мукомольному делу и хлебной торговле.

Небольшого роста, сухощавый, седой уже к пятидесяти годам король русских мукомолов всю жизнь любил трудиться и требовал того же от своих родных и подчиненных. Человек к тридцати годам, считал он, должен быть умен, к сорока — женат, а к пятидесяти — богат. Антон Максимович не терпел возражений после того, как все сам продумает и решит. Он схватывал все на лету, моментально распознавал человека и либо сразу же соглашался на предложение, либо сразу же отказывал, не уставая повторять любимую фразу: «Многое можно сделать, если только не откладывать». Если потеряны деньги, считал он, еще ничего не потеряно, если же потеряна энергия, желание быстро и хорошо работать — значит, потеряно все.

Однажды к нему в контору на Мясницкой улице вошел незнакомец — громадный малоросс с черными пушистыми усами, одетый в поношенный сюртук, манишку с атласным галстуком, пестрый жилет и широчайшие шаровары, заправленные в голенища высоких сапог.

— К вам, Антон Максимович! — сказал гость, неуклюже поклонившись.

— Здравствуйте. Что скажете?

— Да мельницу хочу строить.

— Доброе дело. — Прищуренные, со стальным блеском глаза Эрлангера внимательно изучали посетителя. — Прошу садиться.

— Покорно благодарю.

— Большую мельницу?

— Четвертей на двести пятьдесят.

— А денег у вас много?

— То-то и дело, что мало.

— В таком случае, как же вы хотите строить?.. Притом большую.

— Потому и хочу, что денег мало. Нажить желаю.

— А если последнее проживете? — еле сдерживая смех и удивление, спросил Антон Максимович.

— Наживал их и проживал… Волков бояться — в лес не ходить.

— А вы знаете, сколько будет стоить такая мельница?

— Много, тысяч сто.

— Прибавьте еще пятьдесят тысяч рублей. А у вас?

— Только на корпус, дай бог, чтобы хватило. Крышу, колодезь — это в кредит.

— Прекрасно… То есть плохо, — улыбнулся Антон Максимович. — Позвольте узнать, кто вы и где намерены строить?

— Хвамилия Зозуля. На хлебной торговле два раза наживал большие деньги, но в первый раз пожар разорил, во второй баржи затонули. С этого и запил, а теперь хочу разбогатеть.

— Разбогатеть?

— Да как же не разбогатеть — место такое.

Антон Максимович выспросил у Зозули все: есть ли рядом железная дорога, живут ли у них богатые люди и чем занимаются, сколько будет стоить подвоз зерна на мельницу, почему рядом нет других паровых мельниц и т. д.

— А если дело не пойдет, опять пить будете?

— Да что я, сдурел? Год не пойдет, на другой пойдет.

— Хорошо, строим! Сию минуту прикажу составить смету. Зайдите после полудня.

Через полчаса в кабинет короля русских мукомолов зашел его брат Альфред Максимович:

— Ты открываешь этому хохлу большой кредит?

— Да. Симпатичный заказчик. Откровенно, без фокусов говорит: денег нет и не будет, если не пойдет дело. А дело пойдет, место прекрасное, а он — дельный. Кто два раза проживался и вновь наживал, сумеет и в третий раз нажить.

Эрлангер со временем распространил свою деятельность не только на Россию, но и соседние государства Азии. И продолжал жить весьма скромно, не разрешая ни себе, ни родным бездельничать и сорить деньгами. Не чужд был Антон Максимович и благотворительности, щедро жертвуя на строительство костелов (он был католиком, а вся его семья — православная), устроил в Москве Дом для отдохновения престарелых артистов, подарил Борисоглебску громадную красивую школу. Часто помогал молодым людям, учившимся на мукомолов, посылая их на свой счет стажироваться за границу. Но главное — он неустанно расширял и совершенствовал мукомольное производство.

Старик Савельич, испокон веку работавший на мельницах, удивлялся прогрессу:

— Теперича мельницы, например, пошли антиллигентные, на аглицких машинах и усяких хвокусах. Сама зерно тащит молоть, сама муку у мешки зашивает, сама деньги считает. А скоро,

толкуют, сама зерно покупать зачнет.

Большая заслуга в распространении по России «антиллигентных» мельниц принадлежит королю русских мукомолов Эрлангеру. За полвека неустанной деятельности он добился расцвета своей образцовой фирмы и продолжал призывать своих собратьев по профессии: «Вперед! Нельзя останавливаться!»

Классик лесоводства. Профессор Петровской земледельческой и лесной академии Митрофан Кузьмич Турский (1840–1899)

В Петровско-Разумовском, расположенном на трех невысоких холмах с пологими склонами, с вековым парком и большими прудами, 21 ноября 1865 года была открыта Петровская земледельческая и лесная академия — средоточие русской агрономической науки. При приеме сюда не требовалось ни аттестатов об окончании средней школы, ни вступительных экзаменов — учиться мог всякий, пожелавший посвятить свою жизнь науке о земле, лесе, воде. Первая статья устава об академии гласила: «Имеет целью распространение сведений по сельскому хозяйству и лесоводству и есть заведение открытое».

В воскресенье 29 июля 1912 года в сквере возле кафедры лесоводства, после заупокойного богослужения в институтской церкви (уничтожена в 1930-х годах), стал собираться народ — представители Лесного департамента, Корпуса лесничих, студенты и преподаватели академии, переименованной к этому времени в сельскохозяйственный институт, ревизоры лесоустройства, лесничий и просто московские обыватели. Всем бесплатно раздавалась брошюра «Памяти профессора лесоводства М. К. Турского». Наконец настал торжественный момент и председатель Московского лесного общества профессор Н. С. Нестеров перерезал зеленую ленту. Завеса, скрывавшая новоустроенный памятник, упала.

На высоком мраморном постаменте собравшиеся увидели поясной бронзовый бюст, изображавший ученого во время чтения лекции. На лицевой стороне постамента сверкала золоченая надпись: «М. К. Турскому. 1840–1899». На тыльной стороне другая: «Славному сеятелю на ниве лесной — лесная Россия».

Памятник окропили святой водой и оркестр Александровского военного училища заиграл народный гимн. Затем к почитателям таланта Турского обратился со словом его ученик Н. С. Нестеров:

— Милостивые государыни и государи! В изваянии из бронзы встал перед нами величавый образ дорогого труженика леса. Для русского общества в нем дорог и редкой души человек, и незабвенный педагог, и талантливый ученый. Выдающимися чертами этой самобытной натуры были необыкновенная энергия,

беззаветная любовь к делу, независимость и твердость убеждений, безграничная благожелательность к людям и необычайная простота, чуждая всякой фальши и всего показного… Здесь, около храма научного знания, посвященного великому делу служения земледелию России, этот памятник будет напоминать о том, что в разумном сочетании полеводства и лесоводства — залог процветания народного хозяйства, красоты и мощи России.

Нестерова сменил профессор Г. Ф. Морозов:

— Что заставило учеников и почитателей поставить ему памятник? Прежде всего замечательный его нравственный облик, его исконная доброта, чуткость и любовь к людям, его удивительная правдивость… Он был теоретиком и практиком, одним из первых самобытных лесоводов, философом лесоводства. Его сочинения должны быть полностью изданы с комментариями учеников. Его литературная деятельность, как отражение его дум и практической деятельности, должна стать одним из источников лесоводственного образования. Классики не стареют — они вечно юны.

Последним выступил вице-директор Лесного департамента С. П. Троицкий, закончивший свою речь словами:

— Что же скажу в честь незабвенного своего учителя я как один из старейших его учеников, а не как представитель казенного Лесного управления?.. Прости, дорогой учитель. Говорить тебе я больше ничего не стану. Пришел сюда я на склоне своих лет для того, чтобы благоговейно склонить свою седую голову перед светлым твоим образом.

К этим проникновенным словам, после которых возложили венки и все вместе пропели «Гаудеамус», можно добавить немного. Митрофан Кузьмич Турский не совершал в своей жизни экстравагантных поступков, не бил зеркал в «Яре», не слыл блаженным, он даже не увлекался театром и не коллекционировал картин. Его судьба внешне мало чем привлекательна, но именно благодаря таким личностям русская наука еще что-то значит в мире и страну еще не до конца разворовали.

Он родился в ту пору, когда в России впервые робко заговорили о вреде уменьшения лесов. Конечно, большинство обывателей, живших среди невиданных по богатству лесных угодий, только удивлялись (если не потешались), читая в «Московских ведомостях» (10 октября 1842 г.): «Вместе с успехами образованности и умножением народонаселения в городах деревья лишились священного уважения, какое люди имели к ним в первые времена гражданских обществ… Воды

Волги и Двины, Рейна и По уменьшились от того, что вырублены леса, находившиеся некогда в равнинах, по которым текут эти реки». Но благодаря таким людям, как Е. Ф. Зябловский, автор старейшего учебника «Начальные основания лесоводства», и В. Е. Графф, посадивший в степи целый лес, началось научное изучение лесных угодий.

Турский, окончив духовную семинарию (где учился и дружил с Помяловским, будущим автором нашумевших «Очерков бурсы») и физико-математический факультет Петербургского университета, вдруг неожиданно изменил свое решение заняться педагогической деятельностью и поступил на офицерские курсы при Лесном институте. Получив чин поручика, служил в Корпусе лесничих, работал по лесоустройству в Пермской и Нижегородской губерниях, преподавал в Лисинском егерском училище под Петербургом. Ездил в командировки в Баварию, Саксонию, Северную Германию для знакомства с тамошним лесным хозяйством. Наконец в 1876 году назначен профессором Петровской академии, где и трудился около четверти века, вплоть до своей кончины.

Турскому принадлежит инициатива посадки леса на опытной даче академии. Этот вековой лес, посаженный им вместе со студентами, частично сохранился до сих пор. Им написаны десятки книг, сотни журнальных статей о древесных саженцах, разведении деревьев, лесоводственных инструментах и т. д. Он был бессменным председателем Московского лесного общества со дня его основания, редактором его изданий. В «Лесном журнале», в некрологе на его смерть, отмечалось, что «это был лесовод-педагог, воспитавший целую школу лесоводов, работающих теперь на пользу русского леса в различных уголках нашего Отечества». «От его бесед, — подчеркивалось в другом некрологе, — веяло умиротворяющей эпической простотой лесов, его лекции носили на себе печать ясности и бодрости лесной природы, в его практических занятиях олицетворялась сама лесная жизнь с ее несложностью и определенностью».

Турский видел в лесе целый мир, полный гармонии и контрастов, и работал на пользу тех, кто будет жить спустя десятилетия после него, ведь могучее дерево растет дольше, чем длится жизнь человека.

Что же сделали мы? Мы превратили результаты трудов отечественных лесоводов в ничто, уничтожив или захламив лесные угодья. Настанет ли пора возрождения памяти об их благородной деятельности на благо России? Настанет ли пора возрождения русского леса?

Неподражаемый адвокат. Адвокат Федор Никифорович Плевако (1842–1908)

Главной задачей русского суда на протяжении многих веков было добиться собственного признания подсудимого в виновности, и лишь 20 ноября 1864 года законодательный акт дал возможность обвиняемому иметь своего защитника, не государственного чиновника, привыкшего исполнять приказы начальства, а независимого адвоката.

Русская адвокатура быстро организовалась в сословие присяжных поверенных, обзавелась своими обычаями и преданиями и со временем, подражая Западу, превратилась в касту высокообразованных, хорошо обеспеченных дельцов, противопоставляющих себя государственному судебному аппарату. Как правило, это были интеллигентные люди, либералы, излюбленной темой разговоров которых было поносить правительство. Охрану личности человека они ставили выше закона и справедливости. Их переполняла «святая ненависть», особо блестящими были их речи, когда можно было найти в судебном деле зацепочку, чтобы обрушиться с талантливым негодованием на государственные учреждения. В крайнем случае, злость можно было выпустить на одного из свидетелей, на любого человека, лишь бы он не состоял под их защитой.

Но на первых порах среди русских адвокатов оказалось несколько нетипичных личностей и самая яркая из них — Федор Никифорович Плевако. В отличие от большинства своих коллег он никогда ни о ком из своих товарищей по профессии не отзывался с осуждением или ядовитой усмешкой. Даже государственный строй не ругал! Он умел приходить на помощь людям искренне, *по* свободному влечению, при этом смущался и предупреждал благодарность фразой: «Отработаете чем-нибудь, родной мой».

Плевако был глубоко религиозен (несколько лет даже состоял ктитором Успенского собора), ярый поклонник судебной реформы эпохи императора Александра II, искренне любил вымирающий и осмеянный разночинцами тип патриархального купца, дружил с людьми противоположных политических взглядов.

«Он долго останется какой-то загадкой, — считал другой выдающийся адвокат В, Маклаков, — чем-то единственным,

чуждым нам по душевному складу, но и бесконечно дорогим».

Плевако, приехавший учиться в Москву из Оренбургской губернии с пустым карманом и полным отсутствием влиятельных знакомств, лишь благодаря своему таланту стал знаменитым адвокатом и состоятельным человеком. Его судебные речи никогда не походили одна на другую, в них не встретишь ни однообразия, ни позерства, ни злости. «Не с ненавистью, а с любовью судите» — высечено на его памятнике.

Федор Никифорович был джентльменом в приемах судебного спора, относясь без предубеждения к прокурору и снисходительно к свидетелям. «Подсудимый и прокурор, — говорил он, — вот разные стороны, противники. Себя же я считаю тринадцатым присяжным с совещательным голосом и говорю не от имени подсудимого, а как судья должен делать и говорить на моем месте».

Защита обвиняемого у него никогда не превращалась в защиту преступления. Обладая врожденным чувством чести и уважения к своей профессии, он никогда не врал в суде. Так, в конце речи в защиту Максименко, обвинявшейся в умышленном отравлении мужа, он сказал:

— Если вы спросите меня, убежден ли я в ее невиновности, я не скажу: да, убежден. Я лгать не хочу. Я и не говорю о вине или невиновности, я говорю о неизвестности ответа на роковой вопрос дела… Когда надо выбирать между жизнью и смертью, то все сомнения должны решаться в пользу жизни. Таково веление закона и такова моя просьба.

При почти полном отсутствии полемики с обвинителем Плевако побеждал своим артистизмом, ораторским талантом, точным психологическим анализом происшествия. Главная сила его речей — воздействие на чувства слушателей.

Адвокат Н. К. Воскресенский вспоминал, как в начале 1870-х годов впервые слушал Плевако, защищавшего двух братьев Б., обвиняемых в избиении Г., пытавшегося соблазнить молоденькую жену одного из братьев.

«И нужно было слышать Федора Никифоровича, эти глубокие тона его бархатного голоса и наблюдать игру его подвижной физиономии, когда он свободными художественными штрихами рисовал картину обстановки богатого дома Б. в надвигающиеся зимние сумерки. До ясности непосредственного наблюдения слушатели видели позу Г. за креслом юной хозяйки, у топящегося камина, когда Г., по выражению Федора Никифоровича, начинал разговоры на тему неопределенных переживаний, какие свойственно навевать юному воображению сумерками в связи с причудливой игрой светотеней от горящего угля и смутными

запросами человеческой души.

Картина обольщения выходила такой правдивой, возможные последствия его так вероятны, что последующая грубая расправа представлялась делом самообороны. Братья Б. были оправданы, а публика удалена из зала из-за слишком восторженных оваций по адресу Федора Никифоровича».

Его любовь к фразе многие коллеги считали крупным недостатком, уверяя, что Плевако гонится за внешними эффектами и банальной риторикой. Но именно он лучше других мог аргументировать свою речь. Пафос, ирония, зримые художественные образы, ссылки на Судебные уставы, цитаты из Библии и римского права были лишь аранжировкой его глубокой убежденности в правоте своей мысли, его прозорливого понимания жизни. Он поднял еще незапятнанное юное знамя русского адвоката на недосягаемую высоту, его речи побуждали людей и за стенами суда к милосердию и справедливости.

Когда он вставал перед присяжными, вспоминала стенографистка судебных процессов, «лицо покрывалось бледностью, черные глаза становились не только одухотворенными, но и красивыми, по адресу суда лилась изящная, полная остроумия и содержания импровизация на любую тему».

Этот полуполяк, полубашкир с открытым широким лбом, монгольскими глазами и львиной гривой волос, спадающих на плечи, был истинный русский человек, в нем жило искренне национальное чувство, боль за грехи России, горе от ее неудач, гордость и радость в дни славы и побед.

Во время политических распрей начала XX века Плевако отличался терпимостью, благодушием и уважением к противоположному взгляду, если он навеян любовью к человеку, а не ненавистью.

— Всякий любит родину, только по-своему, — говорил он незадолго до кончины. — Любит ее и стародум, воспитанный на внешних проявлениях ее величия, и этим внешним формам приписывающий и то историческое, великое, что совершалось, несмотря на убийственную тяжесть форм. Любит ее и честный мыслящий доктринер, которому кажется, что книга управляет жизнью, а не жизнь диктует и поправляет книги. Любят, несомненно, если не самую страну, то меньшую братию, и те, кто изверился в достижимости блага при современных формах общественности. Не любят разве только те, кому хочется все уничтожить, все залить кровью, кому чувство злобы застилает глаза, затемняет сознание…

Правы были его коллеги по сословию присяжных поверенных,

говоря, что Плевако так и остался в русской адвокатуре одиноким и единственным.

Маг и волшебник. Антрепренер и режиссер Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906)

На Антроповых ямах, между Божедомским переулком и Самотекой, москвичи попадали в сказочную страну с густым старым лесом, холмами, изрезанными тропинками, большими, с проточной водой прудами, таинственными беседками, двумя деревянными театрами, тиром, рестораном, буфетами, открытыми площадками для игр и представлений, аллеями, залитыми светом газовых и электрических фонарей.

В небе — красочные фейерверки, воздушный шар с бесстрашным аэронавтом, эквилибрист-канатоходец на тонкой проволоке. В воде покачивается гондола, русская и турецкая эскадры ведут бой, плещутся нимфы. На берегу — фантастическая феерия, соревнования гимнастов, состязания по бегу. На специальных летних площадках — выступления цыганского хора, негритянского ансамбля, военного оркестра. В театре «Антей» — премьера веселой оперетки с лучшими московскими актерами: Зориной, Запольской, Давыдовым, Родоном. В другом театре профессор магии удивляет публику волшебными фокусами.

В театральной ложе восседает генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков, в ресторане в окружении дам ужинает полицмейстер Н. И. Огарев, в тире сбивает подсвеченные фигурки врач и литератор А. П. Чехов. Вся Москва собралась тут: чванливые дворяне, разухабистые купцы, осмотрительные чиновники, любопытные мастеровые. Семейные пары, кокотки, пьяницы, холостяки, отставные генералы — людей всех сословий и положений неудержимо тянет в сад «Эрмитаж»[10].

«Сказка, а не сад, — вспоминает В. М. Дорошевич. — Я видел все увеселительное, что есть в мире. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке нет такого сказочного увеселительного сада».

«Эрмитаж», открытый для москвичей 5 мая 1878 года, был создан талантом и неукротимой энергией Михаила Валентиновича Лентовского — мага и волшебника, по единодушному мнению москвичей. Его любили за то, что умел потрафить вкусу публики, и уважали, что не шел у нее на поводу. Купцы-миллионщики почитали за честь посидеть с Лентовским за одним столом, артисты мечтали получить ангажемент к нему на летний сезон, мещане останавливались на улице, завидев его

колоритную персону, и горделиво указывали гостям-провинциалам: «Вон Лентовский идет!»

«Он обладал огромной силой, — набрасывает портрет мага и волшебника К. С. Станиславский, — импозантной фигурой с широкими плечами, с красивой черной окладистой бородой немного восточного типа и с длинными русскими волосами под старинного боярина. Громкий голос, энергичная уверенная походка, русская поддевка из тонкого черного сукна, высокие лаковые сапоги придавали всей его фигуре молодцеватую стройность. Большая золотая цепь, увешанная всевозможными брелоками и подношениями от публики и именитых лиц, не исключая и коронованных. Русский картуз с большим козырьком и огромная палка, почти дубина, устрашавшая всех скандалистов».

Детские годы Лентовский провел в городе Аткарске Саратовской губернии, где выучился от отца-пьяницы кое-как пиликать на скрипке и услаждал слух гостей на мещанских свадьбах, дабы прокормить вечно полуголодную семью. Мальчика больше всего привлекала театральная сцена («я как безумный ходил целые вечера около театра»), и, когда удалось попасть на гастроли М. С. Щепкина, игра знаменитого артиста так ошеломила его, что он тоже решил попасть на театральные подмостки. Лентовский написал Щепкину длинное чувствительное письмо, изобразив свою унылую жизнь и страстную любовь к театру, и умолял взять его в ученики. По-юношески легко возбудимый, хоть и престарелый, артист внял мольбе пятнадцатилетнего подростка, приютил в своем московском доме и определил учиться как обычным наукам, так и актерскому мастерству. Через три года, когда благодетель уже покоился в могиле, его подопечный поступил в труппу Малого театра.

«Он молодец, красив, развязен, — писали газеты о первых выступлениях молодого дарования, — поет довольно приятно, когда не форсирует, дикция ясная, не тонирует речь и не долбит в одну или две ноты; в игре его много огня, говорят иные, что даже слишком много».

Как и большинству актеров, Лентовскому, прежде чем утвердиться на московской сцене, пришлось завоевывать провинциальную публику. Он в течение нескольких лет подвизается в театрах Орла, Казани, Саратова, Харькова, Одессы. Играет в пьесах Островского, драмах Шекспира, водевилях Ленского. Играет не хуже других, но ни в образе замоскворецкого купца, ни датского принца лавров славы не стяжал. «Зато вызывал целые бури восторгов, — рассказывает о его выступлениях в

Казани провинциальный актер В. А. Тихонов, — когда в дивертисментах, одетый в русский национальный костюм, распевал народные песенки. Особенно славился его «Комаринский».

Как на улице Варваринекой
Спит Касьян, мужик Комаринский… —

распевал весь город, копируя Лентовского в те дни. Он был очень популярен среди публики».

Выступая в провинции, Лентовский испытал себя и в режиссерском мастерстве. Здесь-то и проявился его талант во всю мощь. Купцы открыли ему денежные кредиты: строй театры, набирай труппу, учи лицедеев уму-разуму, чтобы публике потрафили, мы нраву твоему не препятствуем, лишь бы полный сбор с каждого выступления был.

Лентовскому многое прощалось, москвичи даже гордились его сумасбродством. Он мог напиться до положения риз в ресторане и изображать из себя дрессировщика с хлыстом в руках, когда собутыльник актер Леонидов, встав на четвереньки и скаля зубы, рычал по-львиному. Мог при людях спихнуть в пруд опостылевшего миллионера-дисконтера, который субсидировал его театр. Мог вытащить из кармана все деньги и, не считая, протянуть обнищавшему актеру. Ему все прощали, потому что он знал толк в деле и умел сделать его прибыльным, умел увидеть в молодом артисте искру настоящего таланта и выучить его, умел создавать новые доходные театры (построил и открыл около десяти в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде), умел добиваться успеха, не щадя в работе ни себя, ни других, подчиняя своей воле всех, начиная от суфлеров и кончая всероссийскими знаменитостями. Он всегда был в центре театральной жизни, где среди гомона и суеты после долгих мук рождалось искусство.

«Лентовского рвут на части. Он всюду нужен, всюду сам, все к нему: то за распоряжением, то с просьбами, — подмечает В.А. Гиляровский. — И великие, и малые, и начальство, и сторожа, и первые персонажи, и выходные… Лаконически отвечает на вопросы, решает коротко и сразу».

На репетициях он царил на сцене. Указывал место статистам, поправлял жесты и речь актеров, тут же правил текст пьесы. Без числа рассыпал по сторонам новые идеи, выдумывал оригинальные декорации, костюмы, шумовые и световые эффекты. «Колеблющийся человек, — говорил он, — тормозит дело. Всего бояться — лучше не жить». Несмотря на единоличное самовластие, требовательность к актерам, он не порабощал их

волю, обладал способностью выслушивать других и моментально находить единственно правильное решение.

«Превосходный режиссер, глубоко проникающий в суть дела, — оценивал его работу оперный певец П. И. Богатырев, — он поднял оперетку на такую высоту, которой она потом уже не достигала».

Да и не только оперетту. Он поставил «Власть тьмы» Льва Толстого, «Снегурочку» А. Н. Островского с музыкой П. И. Чайковского, оперу Майерберга «Гугеноты». Он перевел на русский язык пьесу Г. Гауптмана «Ганелле» и пригласил на режиссерский дебют в ней молодого К. С. Станиславского.

Особенно удавались Лентовскому постановки грандиозных массовых сцен, феерий, шествий, народных празднеств. Он умел и любил управлять большими массами людей, его спектакли наполнялись кордебалетом, хоровым пением, карнавальной шумихой. Не жалея ни своих, ни чужих денег, он частенько тешил простонародную публику грандиозными представлениями с сотнями участников: «Вокруг света в восемьдесят дней», «Робинзон Крузо», «Морской праздник в Севастополе, или Русско-турецкая война». Для феерии «Переход русских войск через Балканские горы» выстроил целый неприятельский городок и под занавес представления, на радость публике, подорвал его крепостные стены.

«Ваша постановка так жизненна, художественно проста, — признавался Лентовскому знаменитый режиссер Людвиг Кронек, — что я, не зная языка, понял все происходящее на сцене».

Наслышанная о его увлечении устраивать грандиозные представления для простолюдинов комиссия по организации торжеств по случаю коронации Александра III доверила Лентовскому подготовку и проведение народных гуляний на Ходынском поле. Праздник удался на славу. Вот только его организатор не нажился на государственном заказе, а наоборот, — влез в долги. Впрочем, за широкую натуру, бескорыстие, презрение к тугой мошне его любили еще больше.

«Лентовский, безусловно, был самой оригинальной личностью, с которой меня когда-либо сталкивала судьба, — характеризовал московского мага и волшебника декоратор Большого театра К. Ф. Вальц. — Одаренный громадными способностями как режиссер, безалаберный, талантливый и сумасбродный, он был типом шалого русского человека. Нажить и прожить сотни тысяч рублей было для него пустяшным делом».

В конце концов Лентовский был объявлен несостоятельным должником и с него взяли подписку о невыезде из города. И вдруг

он пропал… Хищные кредиторы подняли вой, бросились к обер-полицмейстеру. Успокоились, лишь когда спустя несколько дней должник как ни в чем не бывало вернулся, в Москву. Оказалось, что он улетел за пределы губернии на воздушном шаре. Ему за нарушение подписки пригрозили судом.

— Но я не давал подписки о невылете, — рассмеялся Лентовский. И добавил, уже без смеха: — Там вверху такая тишина, что мне стало страшно.

Когда за долги описывали его имущество, возле дома всемогущего антрепренера собралась толпа любопытных — посмотреть на роскошь, которую будут выносить. Каково же было всеобщее удивление, когда узнали, что человек, ворочавший миллионами, имел один стол, одновременно и письменный и обеденный, старенькую кровать и несколько скрипучих стульев. Пришлось торги приостановить.

Оставшись без денег, Лентовский не остался без работы. Деловые люди знали, что если театр попадет под его начало, то станет прибыльным, и наперебой приглашали его для новых дел. Он устраивает театр в доме Бронникова на Театральной площади. А. Н. Островский уверен в успехе: «Труппа у него составляется хорошая, к нему переходят лучшие актеры от Корша». Открывает театр «Скоморох» на Воздвиженке (позже под таким же названием на Сретенском бульваре). А. П. Чехов надеется на удачу нового предприятия: «У г. Лентовского есть изрядный вкус, есть умение, есть и желание». Создает увеселительный сад на Садовой улице возле Триумфальной площади. Ф. И. Шаляпин подбадривает старшего товарища:

Пускай лягаются ослы,
А все же лев, лев ты!

Служил Лентовский и в театре Лианозова, в частной опере Мамонтова, театре Солодовникова. Все его заработки уходили, как и прежде, на театральное дело. Долги росли. В Москве стала популярной поговорка: «Должен, как Лентовский». Давно распроданы библиотека, подарки и награды. Кредит закрыт. Кое-кто еще сулит хорошие деньги, но он отвечает отказом, потому что от него желают не службы театральному искусству, а устройства балаганной похабщины. Шестидесятилетний Лентовский переезжает в скромную квартиру на Котельнической набережной, где за ним, уже больным, ухаживают горячо любимая сестра и тайно влюбленная в него актриса М. Г. Пуаре. Москва стала забывать своего мага и волшебника. Если в детские годы он зарабатывал на жизнь игрой на скрипке, то теперь

публикациями в газете «Московский листок».

Литературным ремеслом Лентовский занимался с 1870-х годов. Сочинял в основном водевили, исторические драмы, куплеты для исполнения со сцены. За год до смерти, в 1905 году, поступила в продажу его книга «Перед закатом». Через всю жизнь промчавшийся бешеным галопом, Лентовский в старости пытается ответить на вопрос: «Кто я?»

Я раб страстей, слуга вина,
Гульбы приятель закадычный.
Блудница — вот моя жена!
Мой брат — бедняга горемычный!
Здоровый смех — мой лучший друг,
Отец мой — труд, а мать — природа.
Вот кто друзья мои, мой круг.
Девиз — искусство и свобода!
Теперь, махнув на все рукой,
Свершаю я мой путь законный,
Стремглав лечу вниз головой,
Как шар по плоскости наклонной.

Лентовский спокойно переносил закат своей славы и незатейливую бедность. «Помни, — писал он, — как тебе ни скверно, но есть кому-то хуже твоего». Он сумел примириться с тишиной, которой не знал в театре и которой так испугался, паря в небе на воздушном шаре. Он понял что-то новое, не испытанное за долгие годы бурной деятельности.

Все для меня теперь полно значенья,
Все то, что прежде я не замечал.
Величье, мощь господнего творенья
Я, разрушаясь, лишь теперь познал.

От карикатуры к портрету. Текстильный фабрикант Михаил Алексеевич Хлудов (1843–1885)

Фамилия текстильных фабрикантов Хлудовых гремела по Москве во второй половине XIX века. Конечно, в этом большую роль играло их многомиллионное состояние — одно из самых значительных в Первопрестольной. Но слава знаменитой купеческой династии создавалась не только деньгами…

Родоначальником хлудовского богатства стал Иван Иванович Хлудов — уроженец деревни Полеваново Егорьевского уезда Рязанской губернии. Он тяготился крестьянской жизнью, особенно терпеть не мог полевые работы. «Пойду в Москву, — мечтал он, — буду лучше торговать моченой грушей, чем печься на солнце».

Так и случилось. В день Георгия Победоносца, 26 ноября 1817 года, отслужив молебен и получив благословение родителей, Иван Иванович вместе с женой Маланьей Захаровной и малыми детьми отправился в Москву, где и поселился в убогой хижине на берегу Яузы. Но торговать он стал не моченой грушей, на которой лишь медные деньги можно нажить, а пестрыми купеческими кушаками, которые сразу же принесли ему хорошие барыши. Стройный, высокий, с русой бородой и орлиным взглядом, он быстро выбился в купеческое сословие и, когда скончался 24 марта 1835 года на сорок восьмом году от роду, оставил шестерым сыновьям и дочери свое доброе имя, приличный капитал, лавки в Гостином Дворе и Городских рядах, большой дом на Вшивой Горке.

Старший сын Тарас ненадолго пережил отца († 1837). Савелий († 1855) продолжил дело отца и основал Егорьевскую бумагопрядильную фабрику. Он «был холост, ходил в цилиндре и был приятелем Л. И. Клопа». Назар († 1858) считался в семье «философом XIX века». Младший Давыд († 1886) в 1857 году был избран городским головой Егорьевска и с этого времени стал отходить от фамильного дела, направив свою деятельность в русло благотворительности. Алексей († 1882) и Герасим († 1885) стали московскими купцами 1-й гильдии, совладельцами Торгового дома «А. и Г. Ивана Хлудова сыновья», нескольких бумагопрядильных и ткацких фабрик. Оба были не только уважаемыми коммерсантами, но и известными коллекционерами. Первый собирал древнерусские рукописи и книги, второй —

русскую живопись.

Семейство Хлудовых все больше разрасталось, приумножались его капиталы и недвижимое имущество. Одну за другой возводили они обители милосердия — богадельни для бедных и прочие богоугодные заведения — дома бесплатных квартир, ремесленные училища, народные школы, больницы, бани и библиотеки для рабочих, кельи для монахов, храмы…

Но людская молва завистлива. Люди больше обращали внимание не на достоинства, а на пороки богатых негоциантов. «Хлудовы были известны в Москве, — вспоминает М. К. Морозова, — как очень одаренные, умные, но экстравагантные люди. Их можно было всегда опасаться, как людей, которые не владели своими страстями».

Наиболее яркой эксцентричной фигурой в семействе был Михаил Хлудов, сын Алексея Ивановича. Он послужил прототипом богатого подрядчика Хлынова в комедии А. Н. Островского «Горячее сердце», под именем купца Хмурова был изображен в романе Н. Н. Карамзина «На далеких окраинах», черты его характера нашли свое воплощение в собирательном образе Ильи Федосеевича — главного героя рассказа Н. С. Лескова «Чертогон».

Но художественное произведение — это выдумка, в которой действительный факт, как катящийся с горы снежный ком, обрастает неудержимой фантазией автора. Это же свойство присуще большинству старческих воспоминаний и биографических очерков, которые только с виду похожи на правду, а на самом деле представляют собой набор слухов и легенд, в которых мемуарист или литератор желаемое выдает за действительное, создает мнимую реальность. Но, к сожалению, более достоверных сведений о жизни Михаила Хлудова почерпнуть негде. Увы, ни он, ни его близкие не оставили потомкам своих искренних дневников, где события излагались бы по свежим следам, без оглядки на «мировые катаклизмы» и без мечтаний увидеть свое сочинение когда-нибудь напечатанным.

Итак, о чем главным образом пишут мемуаристы, когда речь заходит о Михаиле Хлудове?.. Во-первых, о том, что в его доме в Хлудовском тупике (ныне Хомутовский тупик) жила ручная тигрица Сонька, которая пугала посетителей. «Через неделю повел меня отец к Хлудову, — вспоминает художник К. А. Коровин. — Против Садовой части, в тупике, его большой особняк. Со двора ведет лестница на второй этаж. Входим. Большая столовая, за столом, во главе его, сидит сам Хлудов… В столовой сзади — стена стеклянная, за стеклами пальмы: зимний сад… Вдруг из стеклянной двери, где пальмы, выбежал пудель, а

за ним… Я окаменел от неожиданности — за пуделем показалось чудовище длинною, по крайней мере, в сажень, могучее, оранжевое, как бы перевитое черными лентами». Во-вторых, о его кутежах, пьянстве, разврате и полубезумии. «Огромная толпа окружала большую железную клетку, — вспоминает о собачьей выставке 1885 года В. А. Гиляровский (кстати, очень любивший приврать). — В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудова». В-третьих, что он «сорил деньгами направо и налево, выдавал без счета векселя и даже, как говорили, подделывал подпись отца» (Е. Б. Новикова). В-четвертых, что он в открытую высмеивал православие. По Москве расходились его каламбуры: «Во имя овса и сена, и свиного уха, овин…» или: «Господи, владыка живота моего и прочих внутренностей…» (А. А. Шамаро). В-пятых, что он допился до белой горячки и вторая хлудовская жена В. А. Максимова стала ему изменять и отправила его раньше времени на тот свет. «У нее был защитник среди ее девичьих друзей, — вспоминает Н. А. Варенцов, — доктор Павлинов, с которым она и сошлась близко. При его содействии она мужа, болевшего белой горячкой, сделала сумасшедшим, поместила в комнате с железными решетками в окнах, со стенами, обитыми толстым слоем ваты. И никого из родственников к нему не допускала».

Портрет, судя по вышеприведенным фактам (вернее, преданиям и сплетням), получился весьма неприглядный. Но, может быть, представление о Михаиле Хлудове изменится в лучшую сторону, если к пренебрежительному шаржу прибавить несколько подлинных штрихов его деятельности и характера.

Михаил Хлудов первым из русских купцов посетил в 1863–1865 годах Бухару и, не скрывая своего происхождения, установил с нею торговые отношения. В последующие два года он, опять же первым, приехал в Коканд, организовал там русскую контору покупки хлопка и устроил в Ходженте современную европейскую шелкомотальную фабрику. Это стоило ему громадного риска и затрат, так как все оборудование для фабрики пришлось переправлять волоком по пустынным песчаным степям. Кроме того, он проник с караваном в Кашгар и завязал непосредственные торговые отношения с владельцем Алтышара Якуб-беком.

Михаил Хлудов участвовал в завоевании Средней Азии, бескорыстно снабжая русскую армию продовольствием. Он присутствовал при взятии русскими войсками Ташкента и Коканда, штурмовал Ура-Тюбе и Джюзак.

В 1869 году он был в Афганистане, после чего представлялся императору и получил орден Владимира 4-й степени.

В Русско-турецкую войну 1877–1878 годов состоял адъютантом при генерале М. Д. Скобелеве, снабжал на свои средства военные лазареты медикаментами и корпией. Однажды, пробравшись в турецкий лагерь, взял «языка», получив за храбрость Георгиевский крест.

Михаил Хлудов умел укрощать как зверей, так и людей. Приехав к своему знакомому на дачу, он решил подойти к собаке, привязанной двумя цепями. Хозяин пытался остановить его, уверяя, что собака очень сильная и злая, может разорвать даже две цепи и наброситься на человека.

— Вздор! — сказал Хлудов и быстро подошел к цепному псу.

Тот вдруг трусливо завизжал и скрылся в конуре. Хлудов вытащил его за цепь наружу и пошлепал ладонью по морде. Пес только скулил, поджав хвост.

В другой раз забастовали рабочие на Ярцевской мануфактуре. Отец, Алексей Иванович, наотрез отказался ехать на свою фабрику, опасаясь эксцессов. Поехал Михаил. Его встретила большая возбужденная толпа рабочих, что-то возмущенно кричавшая и кому-то грозившая. Михаил без страха посмотрел на толпу, поднял руку, и все замерли. Он подошел к зачинщикам бунта, одного похлопал по плечу, другого по животу, третьему погладил бороду. И все это с прибаутками. Рабочие рассмеялись. Примирение состоялось. После угощения повсюду слышались возгласы: «Вот это хозяин!.. Настоящий хозяин!» В память о безвременно умершем сыне Михаил Хлудов завещал для создания детской больницы свой богатый дом и 350 тысяч рублей. Больница была закончена строительством и открыта в 1891 году на Большой Царицынской улице. Она существует до сих пор, хотя в советский период и перестала носить имя своего создателя (Большая Пироговская улица, дом 19).

Ну вот теперь получился, хоть и миниатюрный, но все же портрет Михаила Хлудова, а не карикатура на него.

Сеятель добра и знаний. Издатель детской литературы Дмитрий Иванович Тихомиров (1844–1915)

Дмитрий Тихомиров родился в селе Рождествено Нерехтского уезда Костромской губернии 24 октября 1844 года в семье священника местной церкви отца Иоанна.

«Нашему отцу тоже приходилось крестьянствовать, — вспоминал младший брат Дмитрия Андрей, — то есть наравне со своими прихожанами пахать, сеять, косить, жать, молотить — одним словом, вести обыкновенное крестьянское хозяйство. И через это являлась возможность семье священника жить получше крестьянина, иметь больший достаток. Мы, дети, тоже по мере своих сил участвовали во всех этих работах и даже с большим удовольствием».

Белокурый, не по годам рослый, Дмитрий не только участвовал в крестьянской работе и детских забавах, но и с восьми лет во время богослужений стоял на клиросе, читал Шестопсалмие и Часы. В августе 1854 года он был определен в Костромское духовное училище.

«Во сне иной раз увидишь себя школьником, — признавался Тихомиров в зрелые годы. — Ранним утром идешь в училище, по пути в собор заходишь и на коленях перед чудотворной иконой, на холодной плите храма проливаешь горячие слезы в жаркой молитве, чтобы учитель не вызвал к ответу (хотя ответ и был с полным старанием приготовлен), хотя бы на этот день, только на этот день… Но не дошли, видно, детские слезы, не оправдалась горячая молитва. Вот пришел в класс, вот звонок, вот отворяется дверь, тревожно бьется детское сердце. И кровью обливалось оно — меня вызвали к ответу на середку класса. Страхом скована память, нейдут в голову слова твердо заученного урока».

Отец мечтал, что Дмитрий поступит в духовную семинарию, получит духовный сан и продолжит его пастырское служение. Но денег на образование не было, а тут появилась возможность определить сына на казенный счет в Ярославскую военную школу. После двух лет учебы в ней случай вновь изменил судьбу Дмитрия — его перевели в Петербургские учительские классы, созданные для лучших воспитанников военных училищ. Еще через два года новый перевод — в Москву, в Военную учительскую семинарию.

«Заботливо организованная по заграничным образцам, —

вспоминал Тихомиров, — обеспеченная лучшими педагогическими силами, пользуясь свободой в постановке преподавания и воспитания, военная по названию, но чуждая всякой военщины и воинствующая лишь со всяческой казенщиной и рутиной, свободная по духу семинария представляла тогда собой небывало новое и оригинальное учебное заведение в начавшейся тогда новой жизни России».

Именно здесь Дмитрий Иванович выбрал свой дальнейший жизненный путь — служение на ниве народного просвещения. Окончив семинарию первым учеником в 1866 году, когда Россия вошла в эпоху великих экономических, общественных и судебных реформ, он был оставлен преподавать в родном учебном заведении, а также начал педагогическую деятельность в вечерней школе на фабрике Ф. С. Михайлова, во Второй мужской гимназии и на женских учительских курсах. На одну из его лекций случай привел Елену Николаевну Немчинову, внучку начальницы одного из московских институтов. Девушка была очарована ораторским талантом молодого учителя и уговорила его встретиться со своей бабушкой. Тихомиров стал часто бывать у Немчиновых, и в апреле 1871 года они с Еленой поженились.

На втором году семейной жизни Дмитрий Иванович издал свою первую книгу — «Букварь». Она имела невероятный успех и в дореволюционные годы разошлась в ста шестидесяти изданиях общим тиражом свыше четырех миллионов экземпляров (в 1990-х годах переиздания тихомировского «Букваря» возобновились).

Вслед за первой появились и другие книги, имевшие хоть и не столь громадный, но тоже успех в начальной школе: «Азбука правописания», «Элементарный курс грамматики», «Как жить по слову Божию», «Книга для церковно-славянского чтения», «Из истории родной земли». И, конечно, нельзя не вспомнить про составленную Тихомировым самую популярную в народных школах хрестоматию «Вешние всходы».

Кроме того, Дмитрием Ивановичем написано более ста педагогических статей для «Русских ведомостей», «Народной школы», «Русского слова», «Женского дела» и других газет и журналов.

В 1880-х годах супруги Тихомировы занялись издательской деятельностью и открыли в Москве свой книжный магазин «Начальная школа». Небольшие книги и брошюры ценой в три — пять копеек, включавшие в себя рассказы Л. Н. Толстого, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Вас. Ив. Немировича-Данченко, И. С. Шмелева, А. С. Серафимовича, имелись почти в каждой русской семье, где были школьники.

Каждую хорошо написанную детскую книгу Тихомиров

считал своим праздником. Он упрашивал, чуть ли не заставлял писателей писать для детей, уверенный, что каждый талантливый сочинитель может и должен справиться с этим трудным делом. Полностью отрицая слащавость и нравоучительную жвачку, он одновременно твердо был уверен, что нельзя раскрывать ребенку мрачных сторон жизни, как и развивать в нем воинственные инстинкты. «Он из любви к детям, — подметил Вас. Ив. Немирович-Данченко, — дрожал над их душевной ясностью».

С декабря 1894 года в течение более двадцати лет Тихомиров редактировал популярный журнал «Детское чтение», переименованный в мае 1906 года в «Юную Россию». «Внеклассное чтение, — считал он, — должно главным образом формировать лишь общие понятия и общие руководящие мысли, а самое главное — воспитывающие душу ребенка гуманные впечатления, сумма которых и создаст в душе известные настроения, заложит благородные симпатии и антипатии… Воспитание интереса к знаниям и стремления к обогащению себя ими, воспитание гуманного чувства по отношению к природе и людям и стремление к самоусовершенствованию — вот задачи всякой детской книги, а следовательно, и детского журнала».

Но одним журналом дело не ограничилось, появились и другие периодические издания: «Педагогический листок», «Библиотека детского чтения», «Учительская библиотека». В помещении редакции на Тверской всегда было по-деловому шумно, а по субботним вечерам здесь накрывали стол, за которым собирались на чай писатели, художники, артисты, педагоги. С благодарностью вспоминает Н. Д. Телешов эти посиделки и их устроителей — Тихомировых.

«Они ввели меня, в то время чужака в литературе, в свое редакционное гнездо, где я перевидал большинство известностей того времени и не без пользы переслушал множество серьезных речей и споров, а также шуток, веселых острот и талантливых каламбуров; а остроумная шутка бывает иной раз значительней длинной речи».

Тихомиров был неутомимым тружеником не только в научном и издательском деле, но и в общественном служении. Он состоял инспектором ряда школ, председательствовал на учительских съездах, заседал в Московском комитете грамотности, который, по его словам, служил «не только сборным местом для свободного обмена мыслями по вопросам народного образования и первоначального учения, но был и вольным соборным учреждением, своего рода лабораторией, где вырабатывались и разрешались вопросы народного образования для осуществления этих решений в действительной жизни».

В 1900 году Тихомирова избрали гласным городской думы, и он выполнял депутатские полномочия в течение трех сроков — до 1909 года. В эти и более поздние годы, благодаря наследству жены и капиталам от издательской деятельности, на его пожертвования выстроены на Девичьем Поле здание Педагогических курсов Московского общества воспитательниц и учительниц, за которыми упрочилось имя Тихомировских курсов (ныне здание принадлежит физическому факультету Московского государственного педагогического университета), а в родном селе Рождествено двухэтажная школа и земская больница.

14 октября 1915 года Дмитрий Иванович Тихомиров тихо скончался, окруженный женой, дочерью и внуком. Похоронили его в пяти минутах ходьбы от Тихомировских курсов — на Новодевичьем кладбище. Поэт Иван Белоусов почтил память усопшего искренними стихами, опубликованными в ноябрьском номере журнала «Юная Россия», редактировать который теперь взяла на себя труд вдова Дмитрия Ивановича.

Кончил труд свой пахарь мирный…
Не жалея сил,
Век свой по полю родному
Он с сохой ходил.
И в распаханную землю
Сеял семена,
Веря — лучшие настанут
В жизни времена.
Утомленный и уставший
Лег он отдохнуть,
И в труде, и с светлой верой
Кончив жизни путь!

Среди кошек и книг. Библиофил Федор Федорович Мазурин (1845–1898)

В Древней Руси, когда не существовало еще печатного станка, создание каждой книги требовало долгого и упорного труда переписчика, из-за чего владельцами библиотек были почти исключительно монастыри. Богатые люди нередко заказывали книгу и потом передавали ее в полюбившуюся обитель, за что заслуживали себе вечное поминание на церковных службах. Вкладчики часто оставляли на страницах своего дара записи, в которых предупреждали монахов не выносить книгу за стены монастыря и выражали желание, чтобы читатели молили Бога о спасении души дарителя.

С развитием печатного дела стали появляться библиотеки и у просвещенных вельмож. К сожалению, как частные, так и церковные книжные собрания большей частью пропали невозвратно из-за пожаров, сырости, крыс, набегов завоевателей, равнодушия к просвещению потомков коллекционеров.

До XIX века светская книга почиталась за прихоть, игрушку и пользовалась уважением лишь у немногих любителей чтения. Пик коллекционирования пришелся на вторую половину XIX века. Собирали, конечно, не любую печатную продукцию, а выборочно. К примеру, к ценным экземплярам никогда не относились сочинения по математике, технике и естествознанию. Предпочтение отдавалось философско-богословским, географическим, юридическим и литературным книгам. Особой гордостью считалось иметь инкунабулы, напечатанные наборными буквами в XV и XVI веках. Гонялись также за книгами, оттиснутыми в одном-двух экземплярах (например, «Карманный календарь Его Императорского Высочества Государя Великого Павла Петровича за 1761 год»). Далее шли по ценности издания, уничтоженные по распоряжению цензуры или истребленные самим автором, русские запрещенные книги, напечатанные за границей, и масонские сочинения. Букинистические магазины и лавки множились, как грибы по дождю. Более, чем другие города, ученых библиофилов знавала Москва. Каждый из них был оригинален и все признавались за маньяков, одержимых страстью собирательства. Например, чудаковатый Ф. Ф. Мазурин…

Всегда угрюмый, одетый как попрошайка, сгорбившийся Федор Федорович целыми днями толкался в книжных лавках на

Никольской возле Проломных ворот (на Проломе), на Сухаревке и Лубянке, где плаксивым голосом часами торговался с продавцами. Букинисты обычно не уступали ему ни рубля, его подводило полное отсутствие актерских способностей — Мазурин весь трясся, прижимая к груди облюбованную книгу, и было ясно, что он без нее не уйдет. Но за ним нужен был глаз да глаз: бывало, потихоньку вырвет последнюю страницу и купит книгу, как с изъяном, подешевле, а дома аккуратно вклеит похищенный лист. Или вовсе сунет тайком под тулуп книгу, когда денег нет, и унесет.

Жил Мазурин вместе с тремя старухами, управлявшими его холостяцким хозяйством, в нижнем этаже старинного купеческого особняка в переулке возле Мясницкой улицы. Но настоящими хозяевами в доме были не он, не старухи, а полтора десятка кошек, которых он звал по имени-отчеству и угощал молоком из своей чайной чашки. Другими хозяевами были книги. Самые ценные Мазурин держал завернутыми в бумагу на замке в сундуках. Остальные заполонили все его скудно меблированные комнаты, располагаясь в шкафах, на стульях и столах. Особенно любил Федор Федорович среди них *девственные экземпляры* — без единой помарочки, с неразрезанными страницами.

— Да что вам стоит страницы разрезать? — удивлялись редкие гости.

— Нет уж, успеют и после нас. Если нужно почитать, я и потрепанную такую же найду.

Ученые мужи, бывавшие у него, видели не только множество редких книг, но и бесценных рукописей. К примеру, собственноручные письма императора Петра I и черновой катехизис митрополита Филарета.

Библиотека чудаковатого библиофила с каждым днем пополнялась, как золото в сундуке пушкинского Скупого рыцаря. Вот только у того был сын расточителем, а у Мазурина — мать. По мягкости характера Федор Федорович не мог попенять ей, что не след тратить деньги на украшение храмов, когда их можно пустить на пополнение библиотеки. Долго мучился сын, думая, как обуздать траты матери, которой никогда не мог отказать в просьбе. И надумал! Наложил сам на себя опеку, выбрав опекунами Василия Алексеевича Бахрушина и Михаила Алексеевича Чернышева, наказав им, даже если он сам будет просить, не давать денег на матушкины храмы.

Может показаться, что Мазурин был безумцем и проку из его собирательства не было никакого. Отнюдь! Лучшие знатоки книг — Шибанов, Большаков, Фрейман, Байков — часто обращались к нему за справками и тотчас получали верный ответ. Федор

Федорович на память знал год издания, тираж, количество рисунков почти каждого фолианта XVII и XVIII веков. «Он — живая энциклопедия по старинной и редкой русской библиографии, — признавался другой ученый библиоман А. П. Бахрушин. — Конкурентов ему нет!»

Мазурин постоянно реставрировал книги — чинил корешки, выводил пятна, работая, как лучшие мастера-профессионалы. Думал он и о том, чтобы коллекцию не растащили по кусочкам наследники, и завещал ее во всей полноте в Московский архив Министерства иностранных дел. Куда она и поступила во исполнение последней воли покойного, навеки расставшегося с любимыми книгами 23 декабря 1898 года. Ныне его уникальная коллекция, насчитывающая около семи тысяч томов старопечатных изданий и книг XVIII века, а также семьсот рукописей XII–XVI веков, хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Обыкновенная жизнь. Владимир Константинович Шпейер (1846–1915)

О богатых москвичах в старину говорили не меньше, чем об императорской семье, гордились капиталами вельможных тузов, роскошными барскими особняками, многочисленной дворней. Юсуповы, Орловы, Голицыны — их имена окружали героическими легендами и завистливыми сплетнями. Такой уж удел бедных — издали любоваться великолепием жизни богатых. «Юсупов-то сам не выходил из кареты, — бывало со слезами восторга на глазах начинал рассказ московский старожил, — его четверо гайдуков вынимали».

Обыватели изо дня в день ездили по замощенным мостовым, переходили через реки по мостам, пользовались мытищинским водопроводом, но о городском хозяйстве вспоминали, лишь чтобы ругнуть городскую управу за дорожную грязь или погасший фонарь. Как-то считалось само собой разумеющимся, что кто-то строит мосты и плотины, прокладывает канализацию, расширяет улицы, устраивает скверы и бульвары. Оттого вряд ли нашлись москвичи, которые отметили 11 августа 1996 года 150 лет со дня рождения Владимира Константиновича Шпейера.

Уроженец города Николаева Херсонской губернии, сын полковника Корпуса флотских штурманов, он получил прекрасное техническое образование в Цюрихе. По его проекту и под наблюдением проложили железную дорогу в Крыму на самом трудном гористом участке: Симферополь — Севастополь. С конца 1870-х годов Шпейер служит в Москве инженером Коломенского машиностроительного завода братьев Струве, затем в течение тридцати лет работает городским инженером. Им построены Москворецкий, Краснохолмский, Крымский, Высокояузский, Яузский, Устьинский, Чугунный мосты. Спроектированы железные ряды на Красной площади во время перестройки Верхних торговых рядов (позже перенесены на Болотную площадь), железный навес на Хитровом рынке. Шпейер проложил канализацию в самом сложном, пологом участке города — Замоскворечье. Им составлены расценочные ведомости на все строительные работы в городе. Он участвовал в постройке и капитальном ремонте плотин, шлюзов, набережных, улиц, бульваров, жилых и нежилых построек, трассировке пути трамваев, прокладке кабелей электрического освещения и первых телефонных проводов. Владимир Константинович в течение многих лет изучал особенности Москвы-реки, составил ее

подробное описание с сотнями диаграмм и схем и предложил конкретные мероприятия для предотвращения наводнений и обмеления.

Но перечисленные труды московского инженера не вызывали интереса у обывателей. Их мало интересовало, что Шпейер с раннего утра до позднего вечера трудится для блага города, что через его руки несколько десятилетий подряд проходят все важнейшие технические городские проекты, что губернаторы и городские головы, зная его честность и ученость, часто обращаются к нему с просьбой помочь в том или ином деле по благоустройству Москвы.

Выдающийся инженер, опытный гидравлик, знаток городского технического хозяйства, Шпейер провел свою жизнь скромно, в беспрестанном труде и, когда умер в 1915 году, мало кто, кроме сослуживцев, отметил этот факт. Да и они, собравшись помянуть наставника и товарища, ничего необычного в его жизни вспомнить не могли.

— В праздник ездил на охоту, в остальные дни — в рабочие канавы.

— Собирались часто у него на квартире, обсуждали вопросы городского хозяйства.

— Он лучше всех знал иностранную техническую литературу и помогал нам, делился своим опытом.

— Каждое утро объезжал все работы, а каждый вечер десятники обязаны были являться к нему с докладом о сделанном за день.

— Его неизменная привычка — строить прочно, надежно и из-за нехватки городских средств дешево.

— Пройти школу Владимира Константиновича — значит научиться профессионально и добросовестно работать.

Не правда ли, обыкновенная жизнь обыкновенного человека… И написать о нем по большому счету нечего… То ли дело князь Юсупов — его четверо гайдуков из кареты вынимали!

Исследователь славянских песен. Музыкальный критик и пианист Юлий Николаевич Мельгунов (1846–1893)

30 августа 1846 года в Ветлуге Костромской губернии родился Юлий Николаевич Мельгунов, чей старинный дворянский род был записан в «Бархатную книгу». Но прославился он не родовитостью, а тем, что по окончании Александровского (бывшего Царскосельского) лицея всецело посвятил себя музыкальной деятельности, став известным пианистом и исследователем славянских песен.

Вместе с профессором Вестфалем он концертировал по Германии, где дал более шестидесяти концертов, со скрипачом Лаубом и виолончелистом Давыдовым по России. Наконец поселился окончательно в Москве, где давал уроки музыки, издал фуги Баха, редактировал вологодские песни, собранные М. Куклиным. Наиболее интересное из его деятельности — издание двух выпусков «Русских народных песен» с обширным предисловием. Мельгунов подметил, что теория музыки не может постичь тайну чудных народных напевов. Он первым указал на полифонию (многоголосие) народной песни, обратил внимание на гармоническое происхождение мелодий.

«И музыка, и текст народной песни пленяют нас своей безыскусственностью и подкупают отсутствием всяких измышлений. Едва ли мы ошибемся, сказав, что ни один народ Европы не может в настоящее время дать такой массы национальных мотивов, замечательных по своей красоте и оригинальности, как народ русский. Цивилизация, принятая с Запада, с поразительной скоростью уничтожает у нас остатки народной музыки, и мы близки уже к тому времени, когда и у нас исчезнут народные мелодии… Неудивительно, если следующее поколение не будет знать и десятой доли того, что теперь поется народом».

К радости, нашлись последователи у Мельгунова, посвятившие свою жизнь сбору и изучению поэтического народного творчества, сохранив его для будущих поколений. Сам же Мельгунов, увы, как и многие талантливые люди, неосуществленные планы и мечтания унес с собой в могилу (умер 19 марта 1893 года). После него остался огромный архив, который так никто и не удосужился разобрать. Это и обширный

курс фортепьянной музыки, и разборы сочинений Бетховена, Шумана, Листа, Глинки, и исследование о церковном пении. Забыли воспитателя многочисленные ученики и друзья. Забылась и его могила на Ваганьковском кладбище.

Вечера дяди Володи. Меценат Владимир Егорович Шмаровин (1847–1924)

В 1772 году в Москве иностранцами был основан первый клуб — Английский, в 1784-м появился второй — Дворянский (Московское благородное собрание), в начале следующего века добавились к ним Немецкий и Купеческий. Еще через сто лет клубов стало не перечесть: женский, автомобилистов, гимнастов, лыжников, велосипедистов, врачей, служащих в кредитных учреждениях, шахматный, охотничий, речной и т. д. Люди же искусства — литераторы, живописцы, артисты — объединялись в тесные полусемейные кружки, часто враждовавшие друг с другом из-за разности взглядов на художественное творчество. Просуществовав несколько лет, кружки обычно бесследно исчезали и на свет появлялись новые. Исключением стали «Среды» Шмаровина, зародившиеся в 1886 году и просуществовавшие тридцать восемь лет.

Кто только не побывал на «Средах»! Из художников — С. И. Ягужинский, И. И. Левитан, В. И. Суриков, К. А. Коровин, И. Е. Репин, А. М. Васнецов; из артистов — А. П. Ленский, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Комиссаржевская; из писателей — В. А. Гиляровский, И. А. Бунин, В. Я. Брюсов.

К тридцатилетию кружка Владимир Гиляровский приготовил стихотворный спич:

Эх ты, матушка-голубушка «Среда».
Мы состарились, а ты все молода.
Тридцать лет прошло, как будто не бывало,
Тридцать лет тебе сегодня миновало.
Тот же самый разговор живой и смелый,
А родитель твой, хоть малость поседелый,
Да душа его, как прежде, молода,
Эх ты, матушка-голубушка «Среда».

Имена многих членов «Среды» золотыми буквами вписаны в историю русского искусства. Их творчество живет и будет жить. Другое дело — скромная роль *родителя* и вдохновителя кружка В. Е. Шмаровина. Он не создал ни живописных полотен, ни поэтических строк, но в шедеврах многих русских художников есть доля и его труда.

Владимир Егорович Шмаровин закончил курсы счетоводов и поступил на службу бухгалтером к московскому купцу Полякову. Женившись на его дочери, он стал богатым человеком и, страстно влюбленный в живопись, начал приглашать к себе домой по средам художников. Многие из них жили бедно и рады были получить от хозяина бумагу, холсты, краски, кисти, хороший ужин, а иногда и помощь в приискании заработка.

«Живой, общительный, с искренним чувством дружбы к художникам, Шмаровин сделался своим человеком для многочисленной художественной братии, — вспоминал гравер И. Н. Павлов. — Шмаровин, имея личные средства, а также связи с промышленным миром, часто выручал многих художников покупками картин».

Каждую среду с восьми часов вечера в доме Владимира Егоровича все собравшиеся члены кружка, кто умел рисовать, брали в руки карандаши и кисти. Ровно в двенадцать Шмаровин ударял в бубен, рабочая обстановка сменялась застольем, появлялись закуски и неизменный бочонок пива. Спорили, пели, смеялись, хвалились только что нарисованными шаржами друг на друга. Отличившиеся в этот день удачным рисунком или застольным экспромтом удостаивались выпить из почетного кубка «Орел».

«Утро. Сквозь шторы пробивается свет, — вспоминал завсегдатай шмаровинских вечеров Владимир Гиляровский. — Семейные и дамы ушли… Бочонок давно пуст… Из «мертвецкой» слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном и, облокотясь на стол, дремлет *дядя Володя».*

Со временем кружок *дяди Володи* переехал из Савеловского переулка возле Остоженки в более просторный особняк на Большой Молчановке и «Среды» теперь зараз могли приютить до ста гостей. Шмаровин трудолюбиво вел протоколы всех вечеров, коллекционировал рисунки своих талантливых гостей, которые считались собственностью кружка.

В 1918 году дом «Среды» реквизировали под футуристические выставки, но громаднейший архив кружка не пропал, а сохранялся в квартире Шмаровина на Большой Никитской. Последний раз очередную годовщину «Среды» отметили в октябре 1924 года, а несколькими днями позже Владимир Егорович готовился расстаться с жизнью.

Великие люди перед смертью изрекают что-нибудь существенное. Предания гласят, что, умирая, римский император Август пошутил: «Пьеса сыграна, аплодируйте»; писательница

госпожа Сталь заявила: «Я любила Бога, отца и свободу»; полководец Наполеон Бонапарт воскликнул: «Боже мой! Французская нация! Глава армии!»

Шмаровина ни он сам, ни многочисленные друзья не относили к великим людям. Он не умел ни управлять государством, ни сочинять романы, ни уничтожать в сражениях тысячи человек. Он лишь умел видеть в людях искру таланта и всеми силами старался не дать ей погаснуть. Поэтому перед смертью ему не подходило изрекать афоризмы, он лишь с чувством выполненного долга думал о том, что все богатство «Среды» — протоколы, альбомы, собрания рисунков и акварелей — остается после него в полной сохранности и по завещанию попадет в Третьяковскую галерею. Так и случилось.

В нескольких словах трудно передать изумительную атмосферу шмаровинских вечеров. Но ее можно ощутить, обратившись к вышедшей тридцать лет назад прекрасной книге Екатерины Кисилевой «"Среды" московских художников».

Тенор из рогожской слободы. Певец Павел Иванович Богатырев (1849–1908)

Более тысячи лет назад византийские историки называли славян «песнелюбивыми». Под песню рубили избу, пеленали ребенка, справляли свадьбу, хоронили.

«Во все продолжение путешествия нашего по России я не мог надивиться охоте русского народа к пению, — писал в путевых заметках конца **XVIII** века один англичанин. — Ямщик поет от начала до конца станции, земледелец не перестает петь при самых трудных работах, во всяком доме раздаются громкие песни, и в тихий вечер нередко доходят до слуха вашего отголоски из соседних деревень».

Когда раненого после разгрома Варшавы (1794 г.) поляка Немцевича везли пленного в Петербург, он, хоть и был зол на все русское, заметил: «Нет другого народа, более способного и более любящего музыку, чем русские. Ничего не может быть мелодичнее и трогательнее их песен и того выражения, с каким они поют их. Кажется, что все их рабство и несчастная судьба изливаются в этих жалобных звуках».

«Создаем музыку не мы, — уверял М. И. Глинка, — создает народ. Мы только записываем и аранжируем».

Песня — незаменимое, доступное всем наслаждение, а хорошие певцы, по народному поверью, — Божьи люди. Но если старинного сочинителя прозы или виршей мы можем ныне прочитать и определить, насколько он искусен в своем мастерстве, то творчество исполнителей песен до появления граммофонной записи погибло полностью и невозвратно. Ну, хоть не голос, так судьбу одного из самых любимых московских певцов второй половины XIX века послушаем…

Павел Иванович Богатырев родился 15 июля 1849 года в Рогожской слободе, на Малой Андроньевской улице, в семье богатого мещанина, занимавшегося *сырейным* промыслом, а по-простому — живодерством.

«Покупали живых и мертвых лошадей, — вспоминает знаменитый артист-самородок. — Первых убивали обухом топора в лоб и с тех и с других снимали шкуру. Кости с мясом закапывали в землю, где в течение двух лет мясо сгнивало и кость оставалась чистой. Тогда ее выкапывали, жгли на кострах и, насыпав в кули, продавали».

Держали Богатыревы также до двухсот меделянок (крупных собак, напоминавших статями бульдога) и устраивали для азартных москвичей кровавое зрелище — травлю медведей, волков и быков собаками.

«Жизнь текла по раз заведенному порядку. Вставали мы все рано, пили чай и пили его утром долго, так что самовар подогревали раза три. Потом отец уезжал, я шел в контору, со двора все разъезжались по назначению и дом пустел».

Отец слыл в молодости известным кулачным бойцом и передал свою могучую силу сыну, который, еще не перевалив за двадцать лет, мог подлезть живой лошади под живот, поднять ее и поставить в телегу. Но отец часто твердил: «Бойся, Пашутка, своего кулака да Бога». Он не советовал сыну продолжать свое *сырейное* ремесло и заставлял учиться. Павел закончил Рогожское городское училище и Мещанское училище Купеческого общества.

Отец слыл сведущим в театре и пении. В молодости он «волновал Днепр» в опере «Аскольдова могила», подлезши под полотно с нарисованной на нем рекой. Кроме того, мальчиком служил в музыкальном магазине Ленгольда, бегал за водкой для знаменитого гитариста Михаила Тимофеевича Высотского и выучился играть на гитаре вальс «Меланхолия».

«Благодаря посещениям театров и некоторой склонности к искусству в нашей родне, я очень полюбил музыку и, часто слушая скрипачей в балетах — Минкуса и Гербера, а в опере — Кламрота, я пристрастился к скрипке и спал и видел играть на ней.

Однажды в субботу я пришел из бани и, сев в кухне на лежанку, взял лучинку и начал ею водить по вытянутой, долженствовавшей изображать скрипку левой руке. В это время в кухню вошел дядя Петя и, увидев меня за таким занятием, спросил:

— Хочешь учиться на скрипке?

Я вскочил с лежанки, бросился к дяде и начал его целовать. Мне было тогда четырнадцать лет.

— Ну, ладно, — сказал дядя, — я завтра поговорю с отцом».

Павел учился скрипичному мастерству сначала у старичка-соседа Константина Яковлевича, у регента Ивана Ефимовича, потом переучивался у скрипача императорских московских театров Карла Антоновича Кламрота. В восемнадцать лет он уже играл на сцене в оркестре Юлия Густавовича Гербера соло из балета «Конек-Горбунок».

Но благодаря случаю скрипку пришлось забросить и переменить судьбу. Еще будучи пятилетним ребенком, Павел очень любил петь и даже получал от подрядчика отца по копейке

за каждое исполнение русской песни. Пел и в Мещанском училище в церковном хоре, куда входили также семинаристы, обладавшие чудными басами. Как-то, чтобы разучить Второй концерт для скрипки с оркестром Шарля Берио, он нанял дачу в Кускове и по вечерам пел, прогуливаясь по графскому саду. Его голос заворожил семью жившего неподалеку знатока *столбового* пения, протоиерея Успенского Кремлевского собора Петра Ильича Виноградова, который и посоветовал Павлу Ивановичу учиться петь профессионально. Начались занятия с итальянцем Форкатти, оперным певцом С. В. Демидовым, потом у петербургских профессоров и в Придворной певческой капелле.

«Я потихоньку с капеллы съездил в Москву, чтобы показаться своим. Явился я в вицмундире со светлыми пуговицами, в фуражке с красным околышем и кокардой. Эффект был поразительный».

Но вскоре учебу в Петербурге пришлось прервать — старому отцу понадобилась помощь единственного сына на живодерне. Но учиться петь он не бросил, теперь его наставником стал профессор Московской консерватории В. Н. Кашперов. За великолепный, чисто грудной тенор москвичи прозвали Богатырева Русским Тамберликом. Он на пари тушил керосиновую лампу, когда брал верхние ноты. Гордился, что мог с блеском спеть арию Сабинина «Братцы, в метель» из «Жизни за царя», обыкновенно в театре исключавшуюся, так как она требовала от певца исключительного голоса и виртуозного исполнения. Начав выступать на провинциальной сцене, Павел Иванович позже был принят в московский Большой театр, где сто пятьдесят раз выступил в «Демоне» и двести семнадцать в «Жизни за царя», не говоря о множестве ролей в других операх.

Иные думают, что был бы голос — и успех у зрителей обеспечен. Слава богу, Богатырев по-иному смотрел на певческое искусство. Он упорно работал над каждой оперной партией.

— Вот вы, молодежь, — подтрунивал Павел Иванович в старости над певцами, — привыкли, чтобы вам все даром доставалось, без хлопот. А вот посмотрели бы вы, как приходилось работать нашему брату-чернорабочему. Вы и понятия не имеете о такой работе. Вы на высокой-то ноте норовите на цыпочки приподняться, чтобы вольготнее было. А мы не так делали. Бывало, нарочно станешь на коленки, да возьмешь еще карандаш в зубы, да вот эдаким манером как ахнешь верхнее «до» — чертям станет тошно в аду.

Богатырев, недаром у него такая фамилия, был высоким могучим атлетом, удалым молодцом в русской поддевке и высоких сапогах бутылками, вечно благодушный, шутливый,

жизнерадостный. Осенью он расставался с музыкой Глинки и Верстовского и недели на две уезжал в Рогожскую слободу, где превращался в простого живодера.

Особенно ярко его талант проявился в исполнении русских народных песен, которые он бесконечно любил и пропагандировал. Не только москвичи, немцы и французы приходили в восторг, когда он приезжал петь в Германию и Францию. В Лондоне англичане заставляли его по три-четыре раза повторять каждую песню.

«От колыбели я знаком с песней, под нее я вырос, под нее возмужал, ею овладел, не щадя труда и сил. Мне кажется, что я в ней потонул… Где только не искал песни, где только не слыхивал ее! Такие песни слыхал, что, кажется, камни плакали, такие голоса попадались, что от взрыва одной ноты лес шатался, кажись, и гудел потом от края и до края! Волгу, колыбель песни, вдоль и поперек, вверх и вниз изъездил. Такое хоровое исполнение слыхивал, что к месту примерзал».

Примерно в 1896 году бархатный голос Богатырева стал пропадать. Врачи старались помочь, но безрезультатно. Двадцать три года проработав на казенной сцене оперным певцом, он не дотянул двух лет до положенной государственной пенсии и остался без средств к существованию. Как часто бывает с русским человеком, Павел Иванович начат глушить свое горе в вине. Чтобы не остаться без последней копейки, вновь перешел на провинциальную сцену, выступал в частных московских театрах. Князь Б. А. Щетинин был поражен, когда на открытой сцене сада «Аквариум» узнал в лысом сгорбленном старичке, тренькавшем на гитаре, напевая какую-то грустную песню, знаменитого Богатырева. «Кумир москвичей, — горестно восклицает Щетинин, — он тихо угас на окраине Москвы, почти всеми забытый, полунищий, больной, изможденный старик. Украшение русской оперной сцены, артист Божьей милостью, под конец жизни должен был ради куска хлеба подвизаться на ресторанных и кафешантанных подмостках, снискивая себе скудное пропитание жалкими остатками некогда дивного, чарующей красоты мощи голоса».

Мы никогда не сможем почувствовать, как пел Богатырев, сравнить с современными певцами. Нам осталось лишь его литературное наследство. Его рассказы, очерки, стихи с 1880-х годов часто публиковались в газетах и журналах. Прекрасное бытоописание нашей древней столицы «Московская старина» несколько раз переиздавалось (с сокращениями), в том числе в 1989 году в одноименном сборнике. Вышло несколько книг при жизни автора, лучшая среди них — «Скитницы древляго

благочестия» (1897 г.), где изображена жизнь заволжских раскольничьих скитов и Рогожской старообрядческой слободы. Уже посмертно были опубликованы автобиографические очерки «На долгом пути. Рассказ простого человека» и «Из недавнего прошлого». В предисловии к ним Павел Иванович как бы подвел итог своей жизни:

«Мне пятьдесят три года. Жизнь явила мне много разнообразия в дни моего детства, отрочества и юности. Круто изменив свое течение, она направила меня на другую дорогу, совершенно мне чуждую, неожиданную, но прекрасную. Много мне пришлось слышать, видеть, передумать, вообще пережить, но горького, больного я не видел для себя — жизнь мне улыбнулась светлой улыбкой, пришла светлым праздником. Теперь, на склоне дней моих, когда я оглядываюсь назад, я вижу, что праздник жизни просто-напросто оказывается серенькими буднями, ибо ласки этой жизни не оставили в душе никакого следа и душа моя так же узка, как и была, и не в силах вместить Божьей красоты, что действительно освящает и освещает и ширит ее. Некогда было заглянуть в себя, а заглянул — и ужаснулся, и "болезнь в сердце моем день и ночь" (Пс. 12). Ушел бы куда-нибудь от пережитого, от душевной пустоты, как раб нерадивый, зарывший в землю талант. Не напитал души моей внешний блеск жизни. Ну и Бог с ним, с прошлым. Теперь, в годы старости, когда ближе к концу, когда случай еще раз указал мне иную дорогу, начинаешь разуметь смысл жизни, хоть и поздно. Но виноградарь заплатил ту же плату и тем рабочим, которые были наняты в позднем часу, что и тем, которые были наняты ранним утром (Мф. 20). Я уже отжил, жизнь кончилась, надо начать "житие". И здесь, только здесь можно обрести ту радость, что освещает не только самого себя, но и других, соприкасающихся с тобой. И кто знает, может, я кончу дни мои где-нибудь в тишине обители, в скромной келье, молясь Всемогущему Творцу за ниспосланные мне блага, за Его щедроты, и, припадши к Нему, буду слезно просить, чтобы Он даровал мне тихий закат, как ярко гаснущая вечерняя заря, сливаясь с темно-синим звездным небесным сводом, как будто указывающая на новое небо и новую землю.

И теперь ласкают меня воспоминания, но это радость плотская, мгновенная, дождевой пузырь, без следа. Какой ответ я дам Тому, чей образ и подобие ношу, за Его ко мне милости, щедроты и долготерпение? "Во светлостях святых Твоих како вниду недостойный? Аще дерзну совнити в чертог, одежда обличает мя, яко несть брачно?"»

Осенью 1907 года П. И. Богатырев заболел прогрессивным параличом и его, нищего, приютили в Убежище Общества

призрения престарелых артистов, где он и скончался 17 мая 1908 года.

Собиратель цифр. Статистик Николай Алексеевич Каблуков (1849–1919)

Одни шли в народ, чтобы мутить его против правительства и царя, другие — научить грамоте, третьи — за песнями и сказками. Каблуков шел за цифрами. На телеге с захудалой лошаденкой он объезжал село за селом, уезд за уездом Московскую губернию, чтобы составить достоверные таблицы развития кустарной промышленности, переписать население, собрать сведения о положении с продовольствием.

Статистика — это наука о состоянии государства. Еще в древности правителям необходимо было знать число своих подданных на случай войны. Четвертая книга Моисея в Ветхом Завете (Числа) есть не что иное, как перепись населения, способного носить оружие. Кроме того, статистика помогает изучать житейские потребности народа, определять, что с течением времени в стране изменяется, а что остается постоянным.

В России началу упорядоченного собирания статистических сведений послужил указ 1802 года, которым министр внутренних дел обязал губернаторов доставлять ему данные о численности населения, количестве каменных и деревянных домов и прочие цифры, без которых невозможно вдумчиво и умело управлять государством.

В середине XIX века в статистику пришли профессионалы и лучший из них — Василий Иванович Орлов. Когда он скоропостижно скончался в 1885 году, на его место руководить Статистическим бюро Московского губернского земства был приглашен Н. А. Каблуков, проработавший в этой должности без малого семнадцать лет. Николай Алексеевич видел за цифрами множество проблем жизни народа, особенно его беднейшей части, о чем постоянно писал статьи для газет «Земство», «Московский телеграф», «Русский курьер» и журналов «Русская мысль», «Юридический вестник», «Русское богатство». Он преподавал в Московском университете, Практической академии коммерческих наук, Университете А. Л. Шанявского, на Высших женских курсах и Пречистенских курсах для рабочих. На квартире Николая Алексеевича и его жены Мины Карловны (автора исследования о женских кустарных промыслах в Московской губернии) по субботам собиралось человек двадцать — тридцать

для беседы, большей частью университетская молодежь. Среди частых посетителей были также Д. Н. Анучин, Н. А. Златовратский, В. О. Ключевский, А. Н. Эртель.

В течение восемнадцати лет с 1894 года Каблуков состоял гласным Московского уездного земства, с 1899 года исполнял должность товарища председателя статистического отделения Московского юридического общества, с 1882 по 1897 год был экзекутором (заведующим хозяйством) студенческого общежития Московского университета.

Чтобы собирать сведения о жизни простолюдинов, надо понимать и уважать их, иначе с тобой никто говорить не станет. Уже двенадцатилетним мальчиком Каблуков покинул родное село Марфино Московского уезда и жил в Москве попеременно то у дяди — управляющего крупной торговой фирмой, то у тетки — содержательницы портновской и шляпной мастерской, где наблюдал жизнь торговых служащих и ремесленников. Потом учеба в Четвертой гимназии, Московском университете, служба в Пензенском окружном суде, поездки по уездным городам в качестве защитника по уголовным делам, командировка на два года за границу для усовершенствования знаний и опять постоянные разъезды по российской глубинке ради любимого дела, которое многим казалось нудным и бесполезным — сбор статистических сведений. Дело это, несомненно, не только ненужное, но даже вредное, если им занимается политик, подгоняющий цифры под свои теоретические рассуждения, или ваятель всевозможных современных рейтингов. Но Каблуков был ученым, всецело преданным своей науке, и говорил о своей деятельности: «Я всегда был далек от того, чтобы сознательно подгонять факты или не обращать внимания на те из них, которые противоречат мнению или заключению, которое мне больше бы нравилось, и очень настойчиво всегда предупреждаю своих учеников об опасности поддаться своему субъективному предвзятому мнению».

Книги и таблицы Николая Алексеевича Каблукова и прежде, и ныне, и в будущем будут важным источником для изучения состояния Москвы и России в целом в предреволюционные десятилетия. Не угасает и надежда, что возродятся и станут привычными его принципиальные взгляды на статистику, которая нынче напоминает плутовские махинации с цифрами и именами.

Ясная погода души. Юрист и общественный деятель Михаил Васильевич Духовской (1850–1903)

— Слышали, Духовской умер?

— Что вы? Не может быть!

— Какое несчастье для Москвы!

Духовской слыл одним из самых популярных людей в городе. Нет, он не был ни талантливым артистом, ни щедрым меценатом, ни известным коллекционером, ни опытным врачом, ни даже грозным полицмейстером. Таких людей, как он, в Москве знали и любили. Хотя им обычно не ставят памятники, не отмечают их юбилеи, их имен не встретишь в энциклопедиях. Когда сменяются поколения, о них просто-напросто забывают, как о чем-то обыденном, недостаточно изысканном и не отличающемся экстравагантностью. Но сейчас, спустя сто лет после его смерти, обществу так не хватает его слов и дел.

Духовской писал, как будто предвидя будущее России: «Дурное политическое устройство страны, дурной экономический быт, дурное воспитание, дурная нравственность — вот те причины, благодаря которым совершаются большинство преступлений». Он боролся против унижения человека вне зависимости от сословий. А значит в первую очередь против унижения бедного простолюдина.

…Зимний вечер. Большая аудитория Московского университета освещена двумя-тремя электрическими лампочками. Темновато и на кафедре, где стоит профессор уголовного права Духовской. Он весел, шутит со студентами и, как никто другой, терпим к свободе мнений своих учеников. Ведь чистый специалист — человек ограниченный, набор технических сведений и терминов. Прежде чем стать специалистом, нужно быть человеком. Что и доказывал Духовской на собственном примере, всегда отказываясь участвовать в громких уголовных процессах и берясь исключительно за гражданские дела, которыми пренебрегали знаменитые присяжные поверенные. Вся его жизнь — это деятельное стремление доставлять счастье другим.

Весной 1883 года его избирают первым председателем открытого по его инициативе Общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите детей. «Нам нужны прежде всего активные, преданные делу и энергичные люди, — выступал он

перед членами нового общества, — а материальные средства явятся сами собой, как логический и неизбежный результат деятельности». Через год общество уже имело двести работников, отвечающих этим стандартам, и работа закипела, и деньги нашлись.

В 1895 году он принимается еще за одно начинание — становится председателем Пречистенского попечительства о бедных. И вскоре пречистенская часть Москвы покрылась сетью приютов, новых школ и мастерских для обучения рабочим профессиям. Ни Духовской, ни его коллеги не ждали, когда к ним придут нищие просить милостыню, пристанище или лечебную помощь. Они сами обошли всех окрестных бедняков, считая, что главное — выявить особо нуждающихся и постараться помочь им на дому. Познакомившись с бытом так называемых *каморочно-коечных квартир,* Духовской предоставил в Московскую городскую думу доклад, в котором требовал лучшего устройства жилищ для бедных. «Поразительно, — писал он в докладе, — что такие дома, являющиеся гнездами заразы, находятся не только на окраинах Москвы, но и в самом ее центре. Таким образом, эти гнезда — кругом нас, ими окружены дома центрального управления, они рядом с зеркальными окнами, украшающими лучшие улицы столицы. Беднота часто живет в одних домах с богатыми людьми, мимо их жилищ двигаются ежедневно тысячные толпы. Надо ли доказывать, что вопрос об уничтожении этих гнезд заразы есть вопрос жгучей, безотлагательной потребности, что о нем не вправе забыть ни один из жителей Москвы?..» Не прошло и двух-трех лет, как по выработанному Духовским плану и типу стали строить улучшенные дома для бедных, многие из которых существуют и поныне. Помощь бедным, по мнению Духовского, должна стать центральным делом городского управления. И главное внимание следует уделять *предупредительной благотворительности,* нужно предотвращать скатывание общества в бедность, а не бросать, когда уже поздно, нищему подачку.

Не было в Москве последних десятилетий XIX века, наверное, ни одного серьезного начинания в деле помощи бедным, в котором бы не принял участия Духовской. Он был прирожденный общественный деятель работы. Единственное место, где он скучал, — это салоны. «В общежитии Духовской производил на всех чарующее впечатление своим мягким приветливым обращением и веселым характером, — вспоминал князь Б. А. Щетинин. — Настроение у него почти всегда было одинаково ровное, с виду сдержанно спокойное, бодрое. Кто-то очень удачно назвал такое настроение «ясной погодой души». И мне думается,

в конце концов, не этой ли «ясной погодой души» и объясняется главным образом та удивительная неиссякаемая энергия, которой отличалась общественная деятельность Духовского?»

Вот и оказалось, что человек, менее других искавший популярности, благодаря своей светлой деятельности стал одним из самых популярных в Москве людей. Человек, посвятивший всю свою жизнь борьбе с нищетой, оказался одним из самых счастливых в Москве людей.

Многие ли нынче способны на такое?..

Добрая Шахерезада. Писатель Алексей Михайлович Пазухин (1851–1919)

Забытых русских литераторов насчитывается гораздо больше, чем прославленных. Одних предавали забвению еще при жизни, других вскоре после пышного некролога. Да и как же иначе? Время беспощадно уносит в Лету книги, которые хоть и пользовались успехом у современников сочинителя, но уже не удовлетворяли их потомков, так как были написаны «на злобу дня» или как развлекательное чтение для нешибко грамотной публики. И все же попробуем «воскресить из мертвых» одного из напрочь забытых писателей…

Алексей Михайлович Пазухин за свою почти семидесятилетнюю жизнь написал более пятидесяти романов, посвященных главным образом купечеству. Соблазнителями в его сочинениях обычно были выставлены аристократы, главенствовали любовная интрига и уголовные преступления, осуждалась жажда обогащения.

Романы печатались в газете «Московский листок» и потом выдерживали до двадцати изданий каждый. Пазухина называли «властителем дум низов» и у него насчитывалось во много раз больше читателей, чем у Льва Толстого или Антона Чехова. Сам же автор с грустью признавался, что он — «поставщик фельетонных романов, на которые любое литературное ничтожество смотрит много-много, что с презрительным снисхождением». Да, если сравнивать творчество Пазухина с прозой лучших русских писателей, оно заслуживает лишь забвения. Но обычно злой на язык Влас Дорошевич попробовал посмотреть на романы Алексея Михайловича не с высоты *чистого искусства,* а с *чисто человеческой* стороны.

«Я помню, — вспоминал он, — давно это было, я жил на Балкане, в Живорезном переулке, и снимал крошечную комнату. Сквозь тоненькую перегородку я слышал, как слышат пульс, как билась унылая жизнь. Я снимал комнату у двух сестер-портних. Старшая была хоть вдова. Хоть в прошлом видела дом, семью, ласку и радость. Младшая осталась старой девой, и работа сделала ее кривобокой. Эта в жизни не видела ничего. Бедно они жили. Когда не было спешной работы, в сумерках не зажигали лампы:

— Чтоб не тратить керосина.

Единственной их радостью было почитать «Листочек» [газету «Московский листок»]. Они покупали его два раза в неделю, по средам и субботам, когда печатался роман А. М. Пазухина. Они читали про богатого купца-самодура, про его красавицу-дочку, про приказчика, который был беден:

— Как они.

Которому приходилось терпеть:

— Еще побольше.

Но который, в конце концов, добивался счастья. Они верили этой золотой сказке. И прерывали чтение замечаниями:

— Это правда!

— Это взято из жизни!

На Пятницкой даже был такой дом. На углу.

И Пазухин, добрая Шахерезада, рассказывал им сказку за сказкой.

И они видели золотые сны.

Милый добрый писатель, да благословит вас счастьем небо за те хорошие минуты, которые вы внесли в жизнь маленьких, бедных и обездоленных. Вас и ваших близких».

А. М. Пазухин родился 11 февраля 1851 года в семье старшего заседателя Ярославского совестного суда Михаила Павловича (1799–1859) и его жены Евдокии Николаевны (1817–1896). Алексей Михайлович с гордостью вспоминал, что родоначальник их рода шляхтич Федор Пазухин выехал в 1496 году на службу к великому князю Иоанну Васильевичу, оставив в Литве многих своих сородичей, и «присовокупля детей великой Руссии умре». Пазухины получили поместья в Вологодской, Тульской и Ярославской губерниях и служили русским царям рындами, стряпчими, поручиками, мичманами, уездными предводителями дворянства.

По окончании курса в Ярославской гимназии Алексей Михайлович сдал экзамен на звание домашнего учителя и в течение десяти лет преподавал в школе села Великое Ярославской губернии. В 1879 году он получил должность чиновника особых поручений при ярославском губернаторе Безаке и по поручению последнего составил «Календарь Ярославской губернии с несколькими этнографическими статьями».

Его первая повесть «Злая доля» была опубликована в журнале «Воскресный досуг» в 1872 году. Окрыленный первой публикацией, Пазухин стал писать очерки о сельской жизни, пьесы. А когда вместе с матерью, братьями и сестрами переехал на жительство в Москву, взялся за сочинительство романов.

Злопыхатели распускали слух, что он «набивает свой карман»

и ничто кроме денег и славы его не интересует. Но завистники чаще всего говорят с чужих слов или вовсе выдумывают факты, меряя других по себе.

Пазухин в 1906 году отказался от предложения приятелей устроить чествование в честь 35-летия его литературной деятельности, публично заявив, что «количество проработанных лет и написанного не может служить мерилом полезности». Юбилей не состоялся.

Пазухин отчасти иронически относился к своим многочисленным сочинениям, но жить без того, чтобы не писать, не мог. Другой на его месте, умея быстро и профессионально создавать художественные произведения, которые публика глотала запоем, несомненно, разбогател бы. Но Алексей Михайлович, по уверениям людей, близко его знавших, никогда не умел устраивать свои материальные дела и, раздавая деньги направо и налево, жил весьма скромно.

«Пазухин умер буквально от голодной смерти, — записывает 30 марта 1919 года Е. И. Вашков. — Последний раз, когда я виделся с ним, это было около месяца тому назад, он говорил мне:

— Дорогой мой, я голодаю. Если так продолжится, я умру голодной смертью.

…Словно проклятый рок тяготеет над судьбой русского писателя. Почти полвека напряженной работы и в результате голодная смерть и жалкий некролог».

Вот этот некролог, напечатанный в газете «Дело народа» 30 марта 1919 года: «27 марта в Москве от полного истощения организма скончался один из старейших русских романистов Алексей Михайлович Пазухин. Покойный в своей жизни написал более ста романов, которые охотно читались средней публикой, быт которой он мастерски описывал. Среди всех людей, сталкивавшихся с ним, Алексей Михайлович сохранил самую светлую память, как на редкость хороший и светлый человек. Похороны покойного состоятся в воскресенье. Вынос тела из квартиры в Ваганьковском переулке».

Не хочется заканчивать короткое жизнеописание Пазухина на столь грустной ноте. Ведь в жизни он был веселым, добродушным человеком и одним из самых наблюдательных бытописателей. Особенно ему удавались слегка ироничные, точные в деталях очерки и рассказы о повседневной жизни москвичей, их причудах, труде, развлечениях, дворянском или мещанском счастье. Этих небольших по объему произведений Алексеем Михайловичем написано несколько сотен, но все они ныне малодоступны, даже в крупнейших библиотеках Москвы отсутствуют. Прочитаем же

один из них, о новом гласном (по-нынешнему: о депутате) Московской городской думы. Может быть, и по сей день эта смешная сценка не потеряла своей актуальности.

«Купец Федот Акимович Зимигоров был избран в гласные и поэтому немножко «зачертил» по выражению своей супруги Дарьи Максимовны, то есть выпивал более, чем следует, и ездил кутить по ресторанам. В один прекрасный великопостный вечер, когда Дарья Максимовна собиралась уже отходить ко сну, он приехал домой с каким-то гостем. Гость нетвердыми стопами проследовал в кабинет, а хозяин отправился к жене и приказал ей подать закуску.

— Да тово, получше, чтобы все было, — говорил он, значительно подмигивая. — Репетитора я привез, человека нужного.

— Какого еще, к лешему, лепетитора? Есть же у Вани ло-петитор, сам директор отрекомендовал.

— Не Ваньке репетитора, а себе.

— Себе-э-э?

— Ну да. Что бельма-то выпучила? Не понимаешь, кем я стал, бестолочь таганская? Заседать должен, речи говорить, дебаты. А как же это я без приготовления-то? Это ведь не в лавке торговать, на это сноровка нужна, дрессировка… Да тебе этого не понять, у вас в Таганке этому не учат. Подавай закуску-то.

— Путаник ты, вот что. Тебе бы к случаю придраться да выпить… Из наших этот, гость-то новый?.. Не опять ли такого привез, как намедни, буяна?

— Смирный этот. Устамший человек — из Курска пешком пришел. Актер он, в Курске играл и «на чашку чая» к антрепренеру попал, по пятаку за рубль получил, ну и шел пешком. Хар-р-роший человек, вежливый, а фамилия его Закатай-Ковригин.

— Да он гласный, что ли?

— То «есть по своей-то части, что ли? Гласный, гласный. Первые, говорит, роли играл — королей, графов всяких. А то и пел. Голос у него с хрипотцой, а сильный.

— Тьфу!..

Дарья Максимовна плюнула и пошла приготовлять закуску, не приученная перечить. А Федот Акимович направился в кабинет, где «гласный» актер Закатай-Ковригин сидел довольно уже в меланхолическом виде и клевал носом.

— Как тебя кличут-то, друг? — обратился купец к гостю, садясь с ним рядом и подавая ему сигару.

— По сцене я — Закатай-Ковригин, а по паспорту — Филадельфов.

— Прозвище умное. Имя-то как?

— Пигасий.

— Ого!.. Это, то есть, по сцене?

— В жизни. Пигасий Архипович Филадельфов.

— Так. По-дружески, стало быть, Пигаша?

— Звали маленького и Пигашей.

— Чудесно. Так вот что, Пигаша. Ты мне, пока это нам навагу жарят и все такое прочее, преподай кое-что. Ты актер, Гамлетов всяких играл и прочих этаких, так ты должен знать манеры и все такое, а мы, торгуя, например, рыбой на Солянке, шагу ступить не умеем, никаких этих жестов не знаем, да и говорим-то, словно на лошадь хомут клещами тащим. А при новой должности нашей развязка должна быть, манера, речь. Я, было, хотел с адвокатом заняться, какого-нибудь этакого помощничка присяжного поверенного голодненького захватить, да актер, пожалуй, еще лучше будет… Ась? Пигасий, ты спишь никак?

— Я?.. Я мечтаю.

— Ну, ты уж после ужина помечтай, а теперь преподай мне что-нибудь. Нет ли этакой роли какой-нибудь по гласной части? А?.. А ежели нет, так из головы что-нибудь запусти, с треском этакое и с жестом. Вот Южин оченно жесток по этой части. Ох, жесток! Как тарарахнет, так аж в пот ударит. Играл он какого-то графа, из Гамлетов этакого, в трике, прозвище вот забыл. Да-да, вспомнил! Рюи Блаза, вот как. Есть такой?

— Имеется.

— Ну вот. Как почал он каких-то там министров пушить, как запустил им речь: так что же это такое, господа, за шик!.. Орет, глаза сверкают, руками это и так, и этак, а цепь у него на груди, вроде как у мирового, так и звенит!.. Да вот, что я хотел тебя спросить: полагается гласному цепь али нет?

— Что?

— Цепь, говорю, полагается гласному?

— Какой гласный, другого необходимо на цепь.

— Да не про это я, чудак! По форме-то полагается цепь, как вот у мирового али нет?

— Цепь? Цепь можно. Купи у меня, я продам.

— Это у тебя, откуда же?

— А у антрепренера взял. Грош он мне заплатил, ну а как играл я графа в последний спектакль, так во всем и уехал домой, и свой пиджак в узелке унес. Костюм-то графский я продал в Орле, а цепь у меня. Купи!

— Подходящая?

— На что уж лучше! Золотое руно на нем, испанская цепь.

— Может, совсем фасон-то не такой? Да ладно, я посмотрю и

куплю, дело небольшое… А вот ты мне преподай что-нибудь. Встань ты это в позу и произнеси речь. Есть-де, господин голова и господа гласные, у нас некоторая трещина и должно-де нам, как мы уполномоченные, эту трещину то-во… Пигаша, да ты спишь?.. Эх, ослаб, брат, коньяку перепустил…

— Ужинать подано, — доложила сонная горничная.

— Ужинать? — переспросил сам. — Убери ты этот ужин на завтрак, а мы с Пигашей поспим.

Новый гласный примостился на диване и захрапел».

Создатель книжной империи. Издатель Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934)

Сто тридцать с лишним лет назад, 14 сентября 1866 года пятнадцатилетний малограмотный мальчик Ваня Сытин с пустые карманом и рекомендательным письмом явился из Нижнего Новгорода, где торговал вразнос меховыми изделиями, в Москву на Лубянскую площадь — наниматься на работу к купцу Шарапову. Место в меховой лавке уже было занято, и Шарапов, кроме других дел издававший лубочные картинки, сонники и песенники, взял парнишку служить в другую свою лавку, возле Ильинских ворот, заваленную книжной дешевкой. Ваня и торговал, и бегал по воду и дрова, и чистил хозяину сапоги.

«Призванный «отворять дверь» в книжную лавку, — вспоминал писатель Телешов, — Сытин впоследствии действительно во всю ширь распахнул двери к книге — так распахнул, что через отворенную им дверь он вскоре засыпал печатными листами города и деревни, и самые глухие «медвежьи углы» России, куда понесли офени и коробейники — бродячая сытинская армия — копеечные брошюрки «Посредника» с произведениями крупнейших писателей во главе с Л. Н. Толстым, за которым следовали Лесков, Гаршин, Короленко, с рисунками выдающихся художников, как, например, Репин».

К 1917 году крупнейший российский книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин, чей годовой торговый оборот достигал двадцати миллионов рублей, имел книжные магазины в Москве, Петрограде, Киеве, Одессе, Харькове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Иркутске, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Варшаве и Софии. Под маркой Сытина выходили в свет русская и зарубежная классическая литература, учебники, наглядные пособия, юридические, экономические и философские труды, книги по сельскому хозяйству и ремеслам, библиотечка для самообразования, словари и справочники, детская литература… Книга из предмета роскоши, благодаря удивительной энергии и предприимчивости этого русского самородка, превратилась в предмет первой необходимости.

«На днях я был у Сытина, — пишет Антон Павлович Чехов Суворину. — Интересно в высшей степени. Это настоящее народное дело. Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не

толкают в шею. Сытин умный человек и рассказывает интересно. Когда случится вам быть в Москве, то побываем у него на складе, и в типографии, и в помещении, где ночуют покупатели».

Сытин, крестьянский сын, окончил лишь одноклассную сельскую школу, не силен был в орфографии, но его хваткий мужицкий ум, природный такт, любовь к книге и народному просвещению одарили его дружбой не только с офенями-книгоношами, но и писателями Львом Толстым, Чеховым, Горьким, Мережковским, Эртелем, с адвокатом Плевако, обер-прокурором Синода Победоносцевым, историком Иловайским. Множество планов, проектов на ближайшее и далекое будущее громоздилось в дальновидной голове Сытина. То, что другим казалось фантастическими мечтаниями, он неустанным трудом превращал в реальность, свершившийся факт. За ним укрепилась слава человека, который может всего добиться.

«Хорошая башка у Сытина, — пишет Максим Горький Ладыжникову, — очень быстро и верно понимает он то, над чем другой подумал бы с год времени».

Но не так уж гладко шла издательская деятельность Сытина. Постоянные тяжбы, штрафы, цензурные запреты, судебные преследования. Иногда удачно задуманные книги, например многотомная «Военная энциклопедия», приносили ощутимые убытки. Публика же не ведала о существовании помех в огромной сытинской империи. На виду была иная, главная ее часть.

Роскошный пятиэтажный особняк на Страстной площади, фасадом на Тверскую. Парадный подъезд, внушительный швейцар, электрический лифт. Здесь помещалась сытинская газета «Русское слово», тираж которой возрос с 1895 года по 1917-й с десяти тысяч до миллиона экземпляров.

Четырехэтажное здание, занимающее целый квартал на Пятницкой, с подземным сообщением, автономным энергоснабжением. Новейшие печатные машины, уникальный литографический цех, ротационная машина для цветной печати. Рядом механические мастерские, четырехэтажный склад для бумаги, трехэтажный дом с квартирами для служащих, конюшня, автомобильный парк. Здесь, в сытинском издательском комбинате, выходила в свет добрая четверть всех книг России. Кроме того, многочисленные газеты, журналы, конторские книги, тетради, календари.

Многоэтажный дом на Маросейке с конторскими и складскими помещениями, переплетная мастерская при Городском тюремном замке, множество других сытинских учреждений и фабрик трудились не для личного обогащения своего хозяина (он продолжал ходить в скромном потертом

пиджаке и экономить на семейных нуждах), а для расширения книгоиздательства и просвещения народа.

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя С базара понесет?

Сытин, благодаря коммерческому успеху, добился выпуска самых дешевых книг в России. «Капитанскую дочку» можно было приобрести за пять копеек (цена одной поездки на конке), а «Тараса Бульбу» всего за три. Библиотека же русских классиков, куда вошло около ста книжек, продавалась за три рубля. Дешевизне книг способствовали их огромные тиражи. Например, «Русский букварь» Вахтерова раскупался ежегодно в количестве миллиона экземпляров.

Тиражи, а значит, и доходы с сытинских изданий росли даже во время Первой мировой войны. Сытин приобрел большой участок земли рядом с Тверским бульваром, решив выстроить на нем Полиграфический институт. На Пятницкой же задумал, вложив туда весь свой свободный капитал, устроить Дом книги — центр российского просвещения. Не успел..

В конце 1917 года арестовали все сытинские календари на 1918 год, закрыли газету «Русское слово», сытинские журналы. Вскоре национализировали все то, что невозможно было закрыть. И хотя советская власть подрядила на государственную работу бывшего миллионера, служить книге с каждым днем становилось все труднее. В 1924 году Сытин выпустил свое последнее издание — каталог книг, оставшихся на складе. Он прожил еще десять лет, мечтал о работе и видел, как помаленьку хиреют созданные им за полстолетия неустанного издательского труда предприятия

Жить учениками и для учеников. Надзиратель Земледельческой школы Федор Васильевич Соболев (1851–1914)

Первое сельскохозяйственное заведение в России — Московская Земледельческая школа — была основана Н. Н. Муравьевым в 1822 году для обучения в первую очередь помещичьих крестьян, ибо стране крайне нужны были люди, «способные к занятию должностей приказчиков в деревнях и которые имели бы достаточные сведения, дабы с пользою приводить в исполнение открытия по части землепашества и сельского хозяйства».

За сто лет своего существования Земледельческая школа несколько раз меняла адреса (последний — на Смоленском бульваре, дом существует доныне), устав, правила приема. Приходили и уходили директора, преподаватели, воспитанники, многие из которых стали знаменитыми на всю страну. Но когда в школе появлялся кто-нибудь из выпускников, он вспоминал в первую очередь не громкие имена, а спрашивал, как поживает Федор Васильевич.

Есть люди, которые не занимали высоких должностей, не прославились ни научными открытиями, ни военными подвигами, а память о них все равно сохраняется навсегда у тех, кто их знал.

Федор Васильевич Соболев родился в семье псаломщика в селе Никульском, что в восьми верстах от Коломны. Перебиваясь, как и другие братья и сестры, с хлеба на воду, закончил Коломенское духовное училище и Московскую духовную семинарию. Далее потекла обычная, немного более удачная, чем у других бедных людей, жизнь, учитель земской школы в Бронницком уезде, преподаватель русского и церковно-славянского языков в московском Донском духовном училище, а с 12 ноября 1880 года в течение тридцати четырех лет — надзиратель Земледельческой школы.

Бывшие питомцы «земледелки» почитали за грех побывать в родной школе и не повидать Федора Васильевича Многие, узнав печальную весть о его кончине 8 ноября 1914 года, так больше и не переступили порог школы. Зачем? Нашего «дедушки» нет, все переменилось, не с кем отвести душу, вспомнить старину.

Да что он такого сделал, если после смерти его портрет

украсил один из классов? Ничего особенного. Выпустил восемьсот воспитанников. Знал все о каждом где и как учился, кто его родственники, как собирается дальше жить. Как нянька нянчился с учениками, старался получше накормить их, особо заботился об юнцах из провинции, попавших от семейного очага в пучину столичной жизни. Вел постоянную переписку с родителями своих питомцев, хлопотал о сооружении школьного храма, обустраивал жизнь мальчишек во время практики в подмосковном опытном хозяйстве и на Бутырском хуторе. Вечно вокруг него собиралась толпа молодежи, слышался радостный шум их голосов

Это был скромный, несколько суетливый надзиратель-педагог, который жил учениками и для учеников. Таким не воздвигают гранитные монументы. И все же остался памятник — нерукотворный. Его зодчие — сотни воспитанников Федора Васильевича Соболева, которым с малых лет запала в душу искренняя и бескорыстная любовь к ним надзирателя Земледельческой школы.

Школьный труд. Начальница женской гимназии Ольга Афиногеновна Виноградская (1853–1914)

Кое-кто считает, что лишь в России мужчины скептически отзывались о женском образовании. Нет, сильный пол во всех странах был одинаков.

«Ученая женщина есть бич своего мужа, своих детей, своих слуг, всего света».

Ж. Ж. Руссо

«Нет мужчины, который не предпочел бы провести свою жизнь лучше с горничной, нежели с ученой женщиной».

Стендаль

«Ученая женщина пользуется своими книгами так же, как часами, которые носит напоказ другим, хотя бы эти часы постоянно стояли или шли неверно».

Кант

Русский человек, скорее, видел в женщине бестию, которая, дай ей только случай, обскачет мужика. Оттого и поговорка прижилась: «Где черт ничего не успеет, туда женщину посылает».

Конечно, в каждой семье жизнь шла по-своему и чаще женщину оберегали и боготворили, чему свидетельство не только европейские рыцарские романы, но и российская действительность. Но отчего у нас до Петра женщина из терема ни ногой?.. «Грубость нравов, — писал историк С. Соловьев, — делала невозможным пребывание женщины в мужском обществе, ибо в человеке не умирает сознание, что женщина есть блюстительница семейной нравственности, семейного наряда и потому должна находиться в среде более чистой».

В конце концов на исходе XVIII века для женского образования, ранее бывшим исключительно домашним, появились Смольный институт и несколько частных, французских и немецких, пансионов.

Заведения для женского воспитания и образования более походили на монастыри и долгое время были доступны лишь привилегированным сословиям. Лишь в 1855 году разрешили открывать как в городах, так и в больших селениях училища для *приходящих девиц.* Москва, как держательница патриархальных устоев, не торопилась принять новшество, пропустив вперед в этом начинании не только Петербург, но и многие губернские

города. Лишь 30 августа 1859 года была открыта Первая женская гимназия в доме князя Воронцова (приняли 38 учениц, но уже через два месяца их число достигло 171). В 1861 году открыли Вторую женскую гимназию (на Старой Басманной), в 1865-м — Третью (в Замоскворечье), в 1870-м — Четвертую (на Поварской).

Преподавали здесь на первых порах исключительно мужчины, ведь у женщин не было на то соответствующего образования. Но вот появились первые выпускницы, в 1869 году открылись Лубянские женские курсы, а в 1872-м — Высшие женские курсы, которые стали поставлять преподавательниц в низшие классы училищ и гимназий.

Кроме казенных учебных заведений, в женском образовании в Москве большую роль играли частные, и среди них самая величественная, состоявшая из двух каменных зданий в три и четыре этажа (последнее выстроено в 1910 году), — женская гимназия на Покровке Ольги Афиногеновны Виноградской.

Всю свою сознательную жизнь Виноградская посвятила славному делу образования женщины. Но мужчины не любят в своих мемуарах останавливаться на женской судьбе, если, конечно, это не актриса. Здесь дело даже не в том, что они брезгуют учеными дамами, а скорее внутреннее стеснение заглядывать в личную жизнь трудолюбивой добропорядочной женщины. Они привыкли в дамах описывать лишь страсть или отсутствие страсти.

Так что же можно написать о директрисе гимназии, которая на сцене не выступала, фривольно себя не вела и даже не имела миллионного состояния?.. Как ни крути, а рассказ получится пресным и малохудожественным. И все же рискнем, хотя бы потому, что Ольга Афиногеновна представляла собой тип хорошего педагога, который стал распространенным в России повсеместно с конца XIX века и не пропал в советские годы.

Она родилась 7 марта 1853 года в Петербурге и первоначальное образование получила дома, от отца Афиногена Васильевича, окончившего Казанский университет, и матери Клеопатры Ивановны, выпускницы Смольного института. В пять лет Ольга уже декламировала «Братьев-разбойников» Пушкина, к десяти говорила по-французски и по-немецки. В 1866 году семья переселилась в Москву, где Виноградская окончила Первую женскую гимназию и некоторое время состояла в ней классной дамой. Затем преподавала в детских садах и низших классах женских гимназий, одновременно обучаясь на Лубянских курсах и давая частные уроки. Наконец она поступает учителем в учебное заведение для девочек-сирот болгар и сербов и через два года встает во главе этой школы, слившейся с пансионом госпожи

Керкоф и в июле 1883 года переехавшей на Покровский бульвар.

С этих пор начинается самостоятельная педагогическая деятельность Ольги Афиногеновны. У нее преподают профессора А. А. Казиветтер, М. К. Любавский, М. И. Коновалов. Школа постепенно из третьего разряда переходит в первый и в 1902 году получает полные права женской гимназии.

Более тридцати лет Виноградская руководила созданным ею учебным заведением и преподавала в нем русский язык и литературу. Скончалась она от сердечного приступа 26 октября 1914 года на своем посту — проверяя школьные сочинения.

Немногочисленные воспоминания о ней сослуживцев и воспитанниц рисуют образ труженицы-педагога, знакомый большинству из нас по детским годам своей жизни.

«В учительской, видя высокую, несколько суровую фигуру начальницы и слыша ее слегка ворчащий голос, я чувствовал себя не вполне свободно».

«Мы сразу почувствовали в ней вожака».

«Я видел суровую игуменью, постоянно наставляющую и сторожащую своих послушниц и келейниц, своих монахинь, свой причт, своих служащих, не знающую ни сна, ни отдыха, постоянно стоящую на своей педагогической молитве».

«За время моей совместной работы с Ольгой Афиногеновной я не запомню ни одного момента, когда бы на ее лицо легла тень усталого равнодушия».

«Отношение учениц к Ольге Афиногеновне можно охарактеризовать двумя словами: почтительная любовь. Ее боялись ученицы, но не как запуганные, не как чего-то страшного, но боялись, скорей, из-за благоговения, как перед чем-то высшим».

«Ее спутница вечная — толстая записная книжка, в восьмушку форматом, — то и дело воспринимала на свои страницы короткие записи того, что было для Ольги Афиногеновны новым и казалось ей нужным и ценным».

«В слове «Москва» звучит много отрадных ассоциаций для русского. В частности, с этим словом связано много для русского просвещения. Мне кажется, высокая, независимая, представительная фигура Ольги Афиногеновны, с виду несколько суровой и торжественной, на самом деле сердечной, простой и глубоко человечной, с педагогическим пафосом и самоотверженной преданностью своему служению, признающей только дело и умеющей юмористически высмеять всякое безделье, эта фигура — типичная фигура московской начальницы в самом лучшем смысле этого слова».

Какие бы новшества в школьной педагогике мы ни

выдумывали, как бы ни оригинальничали, главным для учителя всегда остаются знания, трудолюбие и любовь к детям.

Спасибо вам, Ольга Афиногеновна Виноградская!

Директор иконописной палаты. Академик живописи Клавдий Петрович Степанов (1854–1910)

Членами императорской Академии художеств состояли лучшие российские живописцы, скульпторы, архитекторы и гравюры. Иное — иконописцы, их в XIX веке никто не почитал достойными быть в списках людей искусства, зачисляя в разряд ремесленников наряду с малярами.

Да как же так? Неужто стенные росписи XVII века Архангельского собора Московского Кремля — не искусство? Неужто творчество преподобного Андрея Рублева — ремесло? Неужто фрески Виктора Васнецова во Владимирском соборе Киева значат меньше, чем гравировальные портреты?

Прежде всего надо пояснить, что церковная стенопись, в отличие от иконописания, никогда не была предметом религиозного почитания, а лишь украшением храма, поэтому в ней дозволялись индивидуализм художника, субъективная трактовка сюжетов на библейские и церковно-исторические темы. Но если «рисование есть, — по словам церковного писателя IV века Астерия, — вторая грамотность, то иконописание есть, можно сказать, второе исповедание веры».

Любая православная икона должна удовлетворять строго определенным требованиям, так как в первую очередь является не предметом искусства, а объектом религиозного почитания. Иконопись — верная хранительница преемственности священных традиций, здесь ни на шаг нельзя отходить от «иконописных подлинников», указывающих, как правильно изображать тот или иной священный лик. На Московском Соборе 1666 года даже постановили, чтобы «во иконописцех дозорщики были», дабы те не своевольничали.

Но, несмотря на строгие каноны, истинный иконописец мог одухотворить, оживить икону ему одному известным мастерством, нераздельно связанным с молитвой и постом, с чистой душой создателя святого образа.

В XVII веке еще не брезговали царских иконописцев именовать живописцами и они создавали непреходящие творения, трудясь в первой русской академии художеств — Оружейной палате. Увы, император Петр I, озабоченный развитием заводов и фабрик, лишил заработка создателей боголепных святых образов, и многие иконописцы забросили свое

занятие, ради хлеба насущного поступая в маляры и даже придворные истопники. Но были и мастера, оставшиеся верными избранной профессии, передававшие тайны своего искусства из рода в род.

Последний и самый сильный удар по иконописанию был нанесен во второй половине XIX века, когда оно стало превращаться в фабричное ремесло, мастера стали гоняться за доходностью, а заказчики за дешевизной. Где уж тут вкладывать душу, когда платят за количество, а не качество, когда в иконописных мастерских стали появляться «доличники», рисующие исключительно одежду, и «личники», пишущие лица.

И вот, когда, казалось, настали последние дни для русской иконы, на ее защиту встали русские художники, не брезговавшие поменять свое звание живописца на ремесленника. Одним из них был академик живописи Клавдий Петрович Степанов.

Родился он 2 октября 1854 года под Москвой, окончил Лицей цесаревича Николая, историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, год проучился в Академии художеств, откуда ушел в 1877 году вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский полк. За храбрость в Русско-турецкой войне К. П. Степанов был награжден орденом Святого Георгия и, выйдя в отставку по заключению мира, закончил Академию художеств. Получив за свои картины звание академика живописи, уехал во Флоренцию, где жил и плодотворно работал с 1880 по 1889 год. Картины «Бедняга-скрипач», «Сцена из посольства Чемоданова во Флоренции при царе Алексее Михайловиче в XVII веке», «Дон Кихот после сражения с мельницами», «Скупой», «У венецианского мастера» и другие создали К. П. Степанову известность и репутацию классического художника. Его картины покупали известные европейские музеи, русские коллекционеры П. М. Третьяков, А. Н. Русанов, великий князь Константин Константинович.

Вернувшись из Флоренции в Москву, Клавдий Петрович сошелся с кружком славянофилов и до конца жизни оставался «типичным представителем кристально чистого консервативного идеализма». Он издает и редактирует газету «Московский голос», где пропагандирует свои взгляды на религиозную живопись, с помощью В. М. Васнецова выпускает в свет любопытный сборник, посвященный искусству, — «Цветник», на съездах и собраниях художников выступает с докладами о соборности в русском православном иконописании. 22 ноября 1908 года исполнилась его заветная мечта — в Доме детских приютов на Остоженке была открыта Иконописная палата, ставившая своей целью возрождение культуры иконописания. Ее первым директором стал

К. П. Степанов. «Я счастлив, — говорил он на торжестве освящения палаты, — что могу представить вам в настоящее время здоровых детей тех поколений, которые и двести, и триста, и более лет тому назад занесены в летописи нашей иконографии. В прекрасных храмах их сел я видел иконы их прадедов, представляющие драгоценные для нас свидетельству их благоговейных трудов».

Свою мастерскую директор перенес в Иконописную палату, чтобы работать на глазах учеников — старый испытанный способ преподавания, основанный на постоянном обмене мыслей учителя с учениками, практическая передача знаний.

Клавдий Петрович, как и все художники, в своем творчестве стремившийся к оригинальности и субъективности, в конце концов пришел к ремеслу иконописца, ибо отчетливо видел, что сейчас его опыт, мастерство, искренняя религиозность необходимы в многотрудном деле возрождения русского иконописания. Он без сожаления «наступил на горло собственной песне» и последние полтора года жизни полностью посвятил воспитанию истинных иконописцев, которые могли бы изображать не нарушаемые произволом художника одухотворенные лики святых, то есть создавать произведения религиозного почитания и одновременно шедевры искусства.

Пойте разумно! Директор Синодального училища церковного пения Василий Сергеевич Орлов (1856–1907)

К концу XIX века в России насчитывалась не одна тысяча церковных хоров. Во многом именно благодаря им храмы не пустовали. Даже староверы потянулись к православию, завороженные чудным пением. Тысячи католиков и лютеран из западных губерний отдавали своих детей в православные училища, где можно было получить блестящее певческое образование.

Более других на Руси славился Патриарший хор, переименованный в 1710 году в Синодальный. В нем значилось около четырех десятков дьяконов и поддьяконов. В 1767 году к штату прибавились малолетние певчие и для их обучения в Москве устроили Синодальное училище церковного пения.

«Пойте Богу нашему, пойте. Пойте Цареви нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно!» — восклицает псалмопевец Давид.

Чтобы «петь разумно», кроме искры Божией, нужно иметь знания и опыт. Благочестие требует в церковном пении избегать крайностей — излишней утонченности, приличной салонному пению, и грубого крика, вся задача которого — показать свои мощные голосовые связки. Дабы не вводить прихожан в соблазн, регент хора должен добиваться согласия голосов, верности в тонах, простоты, одухотворяемой благоговением, и четкого произнесения слов.

В 1886 году освободилось место регента Синодального хора, в связи с чем знаменитый композитор П. И. Чайковский писал прокурору Синодальной конторы А. Н. Шишкову: «Василий Сергеевич Орлов пользуется в музыкальном мире Москвы такой превосходной репутацией музыканта вообще и специалиста по церковному пению в особенности, что я мог бы ограничиться лишь несколькими словами для того, чтобы должным образом воздать ему справедливость…Будучи прекрасным музыкантом, будучи практически знакомым со своей специальностью (ибо он в малолетстве сам был певчим, а теперь уже несколько лет состоит регентом известного Вам хора), будучи умным человеком, притом одушевленным горячей любовью к делу, он, в случае назначения, поставит хор синодальных певчих на подобающую высоту и, без

всякого сомнения, оправдает возлагаемые на него надежды».

Родился Василий Сергеевич Орлов в селе Ржавки Московского уезда 25 января 1856 года в семье псаломщика местной церкви Святителя Николая. С восьми лет пел в частных хорах, был определен в Синодальное училище и, окончив его в 1871 году, поступил в Московскую консерваторию, избрав в ней, по своей бедности, специальностью игру на фаготе, что освобождало от платы за учебу. Воспитываясь у таких выдающихся знатоков музыки, как Н. Г. Рубинштейн и П. И. Чайковский, он одновременно подрабатывал дирижерством, организовав хор при типографии А. И. Мамонтова. Получив высшее музыкальное образование, преподавал пение в Елизаветинском институте, служил регентом в хоре Смирнова, потом дирижером в Русском хоровом обществе. Став в 1886 году регентом Синодального хора, он подтвердил данную ему рекомендацию Чайковского и довел мастерство своих подопечных до совершенства. Синодальный хор гремел (конечно, в переносном смысле) не только по Москве, он завоевал Северную столицу, и петербуржцы вынуждены были признать, что «синодалы» не уступают императорской Придворной капелле. Да что Петербург — в 1889 году музыкальная Вена принимала у себя воспитанников Орлова и требовательную венскую публику покорили необычные духовные концерты, составленные из произведений Бортнянского, Турчанинова, Львова, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского.

Но Синодальное училище не только пело, его выпускники становились церковными композиторами и регентами приходских хоров.

Орлов, вступив 22 февраля 1901 года в должность директора училища, до своей кончины (10 ноября 1907 года) продолжал начатое дело профессионального обучения духовному пению. Он создал целую школу русской церковной музыки, основанную на сохранении древних отечественных напевов и создании новых песнопений в том же духе. Он не терпел щеголяния голосами, дешевой эффектности внешней звучности. Для него петь — значило молиться, славословить Господа и каяться.

Пение Синодального хора некоторые называли «нецерковным», но, по мнению профессионалов, вся его «нецерковность» заключалась в том, что он пел образцово, был законодателем для других московских хоров.

Альт-солист в хоре мальчиков, дирижер, пианист, педагог, глубоко верующий человек… На отпевание Орлова в храм Большого Вознесения, что у Никитских Ворот, собрались профессора консерватории, депутации от московских хоров,

ученики и коллеги — весь музыкальный мир города. Преосвященный Серафим, епископ Можайский, совершил заупокойную обедню. Согласно предсмертному желанию усопшего Синодальный хор под управлением А. Д. Кастальского исполнил песнопения из литургии Чайковского… Умер Василий Сергеевич Орлов, но духовная музыка, которой он посвятил всю жизнь, продолжала жить.

Русский инженер. Директор Технического училища и председатель Политехнического общества Александр Павлович Гавриленко (1861–1914)

В полдень 13 мая 1914 года с Ходынского аэродрома Москвы поднялся в небо аэроплан и взял курс на Донской монастырь. Это авиатор Б. И. Росинский и его друг А. М. Игнатов, бывшие студенты императорского Технического училища, летели попрощаться со своим учителем. Вот показались могучие крепостные стены и золотые купола храмов.

Возле монастырских ворот скучилось более сотни экипажей, а все обширное кладбище пестрело народом — студенты в форменных сюртуках, монахи в черных рясах, несколько тысяч москвичей в разношерстной одежде. Услышав шум пропеллера, все невольно оторвали взгляд от гроба, стоявшего возле свежевырытой могилы, и посмотрели вверх. Аэроплан уже парил над ними на высоте двухсот метров, и с него прямо в могильную яму посыпались ландыши и незабудки. «Ньюпор» Росинского описал над кладбищем круг, на секунду как бы замер над раскрытой могилой и лишь потом взмыл на высоту 1000 метров и поплыл прочь. Там, наверху, не было слышно, как застучали комья земли о крышку гроба и толпа запела «Вечную память». И не было видно слов, написанных на лентах более чем ста траурных венков…

«Политехническое общество. Своему незабвенному председателю».

«Осиротелое студенчество Императорского Технического училища. Старому испытанному другу…»

«От бюро труда Императорского Технического училища. Единственному, последнему».

«Инженеры Московского трамвая. Глубокочтимому учителю и редкому человеку…»

«Библиотека студентов-техников. Последнему из немногих».

«От студентов-евреев. "Умер праведник…"»

«Студенты-кавказцы. Незаменимому…»

«От инженеров Коломенского машиностроительного завода. Дорогому, незабвенному…»

«Благодарное Тульское землячество… "И нет тебе смены на

славном посту!.."»

Обыкновенное для Москвы событие — похороны директора высшего учебного заведения — вылилось в грандиозное, искреннее, печальное торжество, невиданное уже четыре года, с тех пор, как хоронили председателя первой Государственной думы Муромцева. Как бы предчувствовали, что минет два с небольшим месяца и Россия станет уже другой страной, по ней ударит молот Первой мировой, а затем Гражданской войн, настанет голод, разруха, крах экономики, просвещения и с таким трудом достигнутого технического прогресса. Ушел из жизни достойный русский инженер…

Александр Павлович Гавриленко родился 1 марта 1861 года в семье отставного прапорщика, дворянина Екатеринославской губернии Павла Антоновича. Первые годы жизни протекли в городе Александровске, потом на Кавказе, где отец, не имея опыта, занялся овцеводством и разорился. Пришлось продать свое небольшое имение и переселиться в Москву, где Александр учился некоторое время в реальном училище Воскресенского, а с двенадцати лет — в подготовительных классах Технического училища. Вскоре училище преобразовали в высшее учебное заведение, которое Гавриленко и закончил в 1882 году. Еще в училище он с четырьмя товарищами сговорился поехать в Америку, выдвинувшуюся на первое место среди промышленных стран мира, попрактиковаться в инженерных навыках, что и случилось в октябре 1882 года, после его трехмесячной службы вольноопределяющимся в артиллерии. Работал Гавриленко на механических заводах Филадельфии простым слесарем, получая пять долларов в неделю, из которых более четырех уходило за ночлег и еду. Он переходил с одного завода на другой, изучая все подробности технологии обработки металлов. Мистер Гаври, как звали его в чужеземной стране, усвоил практичность, терпимость и любовь к свободе американцев. Вернувшись на родину в конце 1885 года, он работал помощником директора на заводе Московского товарищества металлических изделий, конструктором на Механическом заводе Доброва и Набгольц, заведовал постройкой московского водопровода. По вечерам у него в меблированных комнатах дома Арманд на Воздвиженке собирались сослуживцы и вели разговоры, главным образом на технические темы.

«Он нам рассказывал, — вспоминал Виктор Лист, — о приемах при работах у Броуна Шара и о той точности, с которой там изготовлялись разные детали машин-орудий, калибры и измерительные приспособления. Он нас знакомил с жизнью в Америке и, защищая все американское, он так увлекался, что

казался нам в то время более американцем, чем сами природные американцы. Увлечение его всем американским было до того искренно, а главное, сам Александр Павлович со своим прирожденным нравственным и умственным свойством так проникся всем хорошим из Америки и в то же время так остался чужд всего дурного и несимпатичного в этой стране, что из него выработался цельный человек в благороднейшем смысле слова. Чисто американская деловитость, ясное мышление и потому всегда правильное направление действий, в связи с чисто русским, кристально чистым и добрым сердцем, давали в его последующей деятельности те прекрасные результаты, которые создали ему славу культурного деятеля не только в узко германском, но и в чисто русском или, лучше, толстовском смысле».

Богат на события для Гавриленко оказался конец восьмидесятых годов. Он начал преподавать в родном Техническом училище, возглавил Политехническое общество и, что не менее важно, женился на дочери генерал-майора П. В. Залесского Софье. Не оставлял он и практической деятельности инженера, в течение шести лет с 1890 года заведуя техническими сооружениями возводимых клиник Московского университета. Но его основными видами деятельности становятся уже преподавательская, административная и литературная работы. Он издает учебные книги по технологии металлов и паровым котлам, обучает и воспитывает студентов, привлекает лучших отечественных инженеров к делам Политехнического общества.

Все, кто учился с ним или у него, работал бок о бок, дружил с его семьей, отзывались об Александре Павловиче с восторгом и почтением…

«Я провел в Нижнем [Новгороде] три дня [1886 г.], и все свободное время мы проводили с А. П. в бесконечных разговорах о нашей семье техников вообще, о выпуске 1882 года в частности. И тут вновь предо мною воскресла старая особенность личности А. П. Из разговоров ясно стало, что вокруг него опять сгруппировался весь выпуск 1882 г., и все обращались к нему «в минуты жизни трудные» (Л. Бершадский).

«Когда в качестве студента приходилось проектировать у покойного Александра Павловича, мы, студенты, всегда поражались тем «глазом», которым он обладал. Стоило ему только посмотреть на чертеж, как он тотчас же нащупывал слабое место проекта и сейчас же давал директивы для его исправления. Нельзя при этом не отметить того всегдашнего благожелательного спокойствия, которым были обвеяны занятия со студентами нашего дорогого учителя» (Б. Угримов).

«Его можно было видеть на улицах Москвы в сопровождении человек восьми детей, своих и чужих. Четырехлетний сын моего брата находил удовольствие беседовать с ним. А. П. брал на руки мальчика, и начиналась беседа, иногда оживленная, шутливая, иногда серьезная, но всегда детская, всегда искренняя. А. П. умел превращаться не только в юношу, но и в ребенка» (В.П.З.).

«Постоянство и ровность в отношении ко всем у А П. Гавриленко были похожи на некую силу природы, с той разницей, что эта сила всегда была неизменно для всех благодетельна» (А. Мастрюков).

«У котла, при свете пламени топочного огня, в непосредственной близости котельной воды, в жарком воздухе котельной, прошли многие дни жизни Александра Павловича. И мы знаем, что и смерть постигла его, можно сказать, на этом же посту, что эти стихии, которые столько раз ласкали и убаюкивали его, как колыбельная песня, в конце концов, свели его в могилу».

Гавриленко был идеальным воплощением талантливого русского инженера, который умел видеть в конкретном техническом вопросе самую суть дела, а в конкретном человеке самую суть его души.

Начало русского кино. Кинорежиссер Василий Михайлович Гончаров (1861–1915)

Летом 1909 года дачники в Сокольниках наблюдали прелюбопытную картину. В жаркий солнечный день на берегу пруда зачем-то разожгли костер и вокруг него дремали два десятка взрослых людей в кольчугах и шлемах, с деревянными мечами и кинжалами. Чуть поодаль, за кустами залегла группа раза в два больше. Каждый из них вырядился во что-то несусветное, похожее на звериные шкуры. Со всех градом тек пот.

— Внимание, начинаем! — раздался зычный голос пожилого человека с закрученными усами и седой бородкой, в поношенном, но опрятном костюме.

«Казаки» у костра и «татары» за кустами, побросав окурки, насторожились. К деревянному ящику на треноге приник худой иностранец в берете и вдруг, как заправский шарманщик, стал крутить торчащую из ящика ручку. Дачники приготовились услышать музыку, но по округе разнесся лишь негромкий непрестанный треск.

Пожилой человек с закрученными усами закричал что есть мочи:

— Татары, выползайте из кустов!.. Передний татарин, держи крепче кинжал в зубах, а то он выпадет!.. Казаки у костра, вы пока ничего не замечаете, клюете носом!.. Татары, окружайте их!.. Внимание, схватка!.. Татары, больше жизни — коли спящих, души проснувшихся!.. Эй, старший татарин, быстрее умирай!.. Второй отряд, выползайте!.. Окружайте шатер!.. Зубов не видно — больше скальтесь!.. Петр Иванович, покажись из шатра!.. Хватай меч, руби направо и налево!.. Прокладывай себе путь к Иртышу!.. Татары, пленка кончается — быстрее падайте и умирайте!.. Петр Иванович, бросайся в воду, тони!.. Не забудь погрозить кулаком перед смертью!.. Живые татары, засыпайте его стрелами!

Снимали тринадцатую сцену кинокартины «Ермак» по сценариусу и под непосредственным руководством Василия Михайловича Гончарова, в прошлом служащего Владикавказской железной дороги, автора «Сборника железнодорожных тарифов». Баловался он и литературным трудом, напечатав несколько рассказов и одноактных пьес. Около пяти лет назад, расставшись со службой, Василий Михайлович попал на сеанс в электротеатр и с тех пор увлекся кинематографом, даже в течение нескольких

недель изучал любимое дело на родине «живой фотографии» — во Франции. Вернувшись в Россию, по заказу французов делает кинокартину «Ухарь-купец». Для фирм А. Дранкова, А. Ханжонкова, «Бр. Петэ», «Гомон» пишет сценариусы и ставит картины «Стенька Разин», «Песнь про купца Калашникова», «Русская свадьба», «Ванька Ключник», «Генерал Топтыгин», «Жизнь Пушкина», «Преступление и наказание», «Пасхальная картина», «Петр Великий» и т. д. Одни из них пользовались громадным успехом у зрителей, другие прошли скромно, и все забылись через два-три года. Гончарову на смену пришли более искусные профессиональные люди, но он навсегда остался первым русским кинорежиссером, его картины стали отправной точкой российского кинематографа.

«Живая фотография» появилась в России в 1896 году, когда в Петербурге и Москве в перерывах между актами театральных оперетт показали короткие французские киноленты. Русский кинорынок оказался довольно прибыльным, и в 1903 году в Москве были открыты два постоянных электротеатра и вскоре одно за другим стали появляться представительства зарубежных фирм по производству и продаже фильмов. До 1907 года киноленты были исключительно иностранные — французские и итальянские мелодрамы и комедии. Русские газеты, и правые, и левые, все без исключения, набросились на молодое искусство (впрочем, искусством «живую фотографию» тогда никто не смел называть). Обвиняли кинематограф в разврате молодежи, обирании честных небогатых людей, пошлятине, недостойном соперничестве с театром…

«Кинематограф, демонстрируя картины из подвалов преступного мира, показывает часто такие ловкие приемы, до каких не додуматься заправскому преступнику. Эти картины могут служить целям усовершенствования для новичков, и всякие темные личности получают возможность изучать интернациональное преступное дело. Дикие злодеяния разжигают страсти у молодежи, приучают к жестокости, вдохновляют колеблющихся».

«Человек, имеющий силы протестовать, искать, требовать хотя бы просто здорового зрелища, не был бы в числе посетителей современного кинематографа. Он навсегда отряхнул бы его прах со своих ног. Только усталый, пассивный зритель может без возмущения выдержать современную кинематографическую картину».

«Непристойность, сцены раздевания, любовные приключения, совращения — вот притягательные средства кинематографа».

Упреки были во многом справедливы. Но «живая

фотография» с каждым месяцем завоевывала все большую аудиторию, становясь *самым демократичным* из зрелищ. Как же тут не схалтурить, не потрафить зрителю, когда он платит тебе звонкой монетой! И заслуга русского кино, что началось оно не с порнографического холуйства перед публикой, а с попытки с первых же шагов обрести собственное лицо и достоинство — с создания фильмов на сюжеты русской истории и русской классики. За пять лет работы в кинематографе Гончаров прошел путь от малохудожественной ленты «Стенька Разин» до полнометражного исторического фильма с зачатками настоящего искусства — «Оборона Севастополя».

Когда Гончаров задумал снять на месте трагических событий Крымской войны фильм с привлечением многочисленных войск и кораблей, над ним лишь посмеялись: это дело неподъемное даже для богатых французских фирм, не говоря о русской фабрике А. Ханжонкова. Но неутомимый фанатик от кинематографии отправился в Петербург и месяц спустя до Москвы дошла неслыханная новость: постановка фильма «Оборона Севастополя» взята под высочайшее покровительство, для чего по всей империи фабрике Ханжонкова обещаны содействие и помощь от властей.

На Гончарова уже смотрели с завистью — для него не существовало препятствий. Он взялся за работу как всегда с неистовым азартом и громадным размахом. В костюмерной Пинягина выбрал и отправил в Крым целый вагон военного обмундирования полувековой давности. В пиротехническом заведении Кульганек заказал несколько тысяч бомб, гранат и дымовых шашек, дабы запечатлеть на пленку нешуточное сражение. В Севастополе он быстро перезнакомился со всеми начальниками города и, где лестью, где угрозами, добыл все, что необходимо для съемок: войска, хор певчих, редчайшие экспонаты местного музея, паровые и парусные суда, даже подводную лодку.

«Он проявил много инициативы, давшей блестящие результаты, — вспоминал А. Ханжонков. — Так он созвал в Севастополь престарелых участников Крымской кампании, и мы благодаря этому украсили картину ценными кадрами с живыми свидетелями казалось бы такого отдаленного исторического события. Он выискал композитора Козаченко, убедил его оставить свои текущие дела и заняться специальной музыкой для нашей картины и т. д. и т. п. Все его заслуги перечислить трудно».

«К концу съемок, — вспоминает другой их участник, кинооператор Луи Форестье, — командующему Севастопольским гарнизоном адмиралу Бострему, первое время охотно дававшему в наше распоряжение солдат и матросов для батальных сцен,

надоели затянувшиеся съемки, которые отрывали солдат от учебы. Он отдал приказ, запрещавший частям гарнизона участвовать в киносъемках. Гончаров поехал к адмиралу просить войска еще на несколько дней. Адмирал приказал выставить его за дверь. Но Гончарова это не смутило. Так как у дверей адмиральского кабинета стоял часовой, Гончаров полез в окно и стал грозить Бострему, что будет жаловаться военному министру, великим князьям, самому Николаю II. Адмирал перепугался, дал разрешение, и мы спокойно закончили съемки».

Премьера «Обороны Севастополя» состоялась в Большом зале Московской консерватории 15 октября 1911 года, и в течение нескольких лет фильм не сходил с экрана, принося большие барыши фирме «А. Ханжонков и К⁰».

Кино во всем мире началось не как искусство, а как выгодное помещение денег. Но с его младенческих лет существовали люди, подобные Гончарову, которые верили, что это не способ наживы, а «великий немой просветитель народа».

Веселый и обаятельный, умеющий найти нужный язык и с чиновниками, и с толстосумами, и с сослуживцами, Василий Михайлович сам понимал, что ему мешает переизбыток темперамента, иногда губивший съемки (одно время Ханжонков даже нанял специального человека, чтобы во время съемок удерживать Гончарова, порывающегося броситься в гущу играющих актеров, за фалды пиджака). Последние годы жизни, работая у Ханжонкова, он, главным образом, исполнял административную работу и редактировал журнал «Вестник кинематографии».

Гончаров до последнего дня жизни был неисправимым романтиком. 23 июля 1915 года его нашли мертвым в постели с повестью Николая Карамзина «Бедная Лиза» на груди. На похороны на Ваганьковское кладбище собралась вся кинематографическая Москва. На венке фирмы «А. Ханжонков и К ˚» была надпись: «Вечная и добрая память первому русскому кинорежиссеру».

Поклонник горной красоты. Экономист, географ, библиофил, основоположник альпинизма в России Александр Карлович Фон Мекк (1864–1911)

Бытует мнение, что альпинисты, как подавляющее большинство спортсменов, — люди малообразованные, посвятившие себя исключительно наращиванию мускулов и совершенствованию профессиональной сноровки. Мнение это бытует среди тех, кто не то что никогда не поднимался на заснеженную вершину, но даже боится посмотреть вниз с балкона многоэтажного дома. На самом же деле неучей среди альпинистов не больше, скорее даже меньше, чем среди генералов, налоговых инспекторов или политологов.

Альпинизм — юное дитя по сравнению со многими традиционными видами спорта. Людей изначально охватывал страх при виде величественных, покрытых вечным снегом горных вершин. Воображение населяло их могущественными мифическими существами, повелевающими человеком.

Отправной точкой альпинизма можно считать 1786 год, когда Бальма и Соссюр покорили высочайшую вершину Западной Европы — Монблан. Первый клуб скалолазов был основан в 1857 году в Лондоне. Следом — в Австрии, Германии, Италии и, конечно, в Швейцарии, чьи горы подарили свое имя новому виду спорта. Впрочем, альпинизм родился отнюдь не как спортивное состязание, первоначально он не ставил перед собой олимпийских задач — обыграть, опередить соперника, стать лучше других. Примером тому может послужить жизнь основоположника альпинизма в России А. К. фон Мекка.

Александр Карлович происходил из старинной дворянской семьи Курляндской губернии. Его отец, Карл Федорович (Карл Отто Георг) фон Мекк, выучившись на инженера путей сообщения, поселился в Москве и занялся железнодорожным строительством. Благодаря обширным знаниям, практическим навыкам и деловой хватке он легко получал подряды на дорогостоящие работы и нажил большой капитал. Мать, урожденная Надежда Филаретовна Фроловская, была знатоком музыки и состояла в многолетней переписке с П. И. Чайковским (опубликовано около 1200 их писем друг другу). В течение 1876–

1890 годов она оказывала гениальному композитору существенную материальную поддержку, пересылая по 6000 рублей в год. Старший брат Николай Карлович стал изобретателем и испытателем новых типов паровозов. Занимался он и благотворительностью: обеспечил железнодорожников дешевыми и качественными продуктами, жертвовал крупные суммы денег на московские учебные заведения, выстроил на свои капиталы техническое училище и телеграфную школу. Но благие дела не помогли ему уцелеть при советской власти, шестидесятишестилетний старик был расстрелян в 1929 году на Соловках. Известен был в среде русской интеллигенции и племянник Александра Карловича — Владимир Владимирович фон Мекк, принадлежавший к кругу художников «Мира искусства». Он был страстным коллекционером, и многие из собранных им живописных полотен стали достоянием Третьяковской галереи. Кроме того, он заведовал благотворительными заведениями великой княгини Елизаветы Федоровны и участвовал в постройке церкви Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке.

Но вернемся к Александру Карловичу. Слабый здоровьем, он по настоянию врачей в детские годы жил с матерью в Швейцарии. Там и получил всестороннее образование сначала у доктора Грентера, а позже в Иенском университете. Юный фон Мекк в 1885 году вернулся в Москву и увлекся экономическими науками. Его первые печатные труды были посвящены денежному бумажному обращению и торговому мореплаванию. С 1892 года он служит директором Московско-Казанской железной дороги. Выйдя в 1898 году в отставку, тридцатичетырехлетний ученый и предприниматель целиком посвятил себя научно-общественной и благотворительной деятельности.

Но пора сказать несколько слов о его главном увлечении — альпинизме. О своем первом восхождении на вершину горы (в Швейцарии в 1878 году) Александр Карлович рассказывал: «После утомительного с непривычки подъема по тропинке мы прошли к Монтанверской гостинице, и величественная горная природа предстала нашему удивленному взору! Я во всю жизнь не забуду того впечатления, какое произвело на меня это зрелище, и одного этого впечатления было достаточно, чтобы навсегда сделать меня ярым поклонником горной природы. В каком-то экстазе сидел я на скамейке и впивал жадными глазами подавляющую панораму альпийских великанов. Новый мир в одно мгновение овладел мною, и я стал поклонником, даже рад был сделаться рабом чистой горной природы!»

В летние месяцы Александр Карлович всегда путешествовал

по Западной Европе или Югу России, стремясь подняться на все новые поднебесные вершины. Но для него это занятие не было спортом ради спортивных достижений. О своих горных восхождениях он был самого скромного мнения, неумеренное честолюбие отважного скалолаза было чуждо его натуре. «Не жажда приключений гнала его в горы, но любовь к высокогорной природе и желание своими исследованиями насколько возможно поработать для нее, — утверждал А. Фишер. — Кавказ был особенно дорог его сердцу, и из многих разговоров, как я припоминаю, он горячо желал пробудить интерес к этой еще мало исследованной чудной стране, приобрести для этой цели друзей, основать учреждения, которые должны были бы облегчить экскурсии».

В конце 1890-х годов Александр Карлович задумал объединить людей, посвятивших себя научному исследованию российских горных массивов. Он страстно желал, чтобы кабинетные ученые, изучающие климат и природу заоблачных вершин, стали одновременно хорошими альпинистами и на практике убеждались в правильности своих теоретических изысканий. Ему хотелось, чтобы и обыкновенные туристы приносили пользу науке, чтобы их горные восхождения сопровождались изучением местной флоры и фауны, метеорологическими и гидробиологическими наблюдениями. Для этих целей в 1901 году им было основано в Москве Русское горное общество, и он стал его бессменным председателем. О задачах этого первого в России клуба альпинистов А. К. фон Мекк писал: «И этнография, и история, археология, нумизматика, языковедение, обычное право, все могут быть пополнены ценными указаниями путешественников. Но одной из главных научных задач нашего Общества, как ассоциации любителей горных восхождений, следует признать, по нашему мнению, выяснение топографии горных цепей. Лишь путем близкого знакомства и подробного изучения и съемки возможно разобраться в сложном рельефе горных цепей, отдельных массивов, определить снежный покров, выяснить водоразделы, указать проходы и перевалы и т. д…Каким образом наше Общество могло бы содействовать ознакомлению русского образованного общества с чудной, богатой горной природой, где человек невольно поддается обаятельному действию девственных красот белоснежных великанов, сочетанию цветов воды, — зелени, снега и разнообразных переливов скал, где душа отдыхает от тревог и мучений, где, одним словом, человек облагораживается от соприкосновения с чистой природой? Главными средствами для этого, конечно, служат публичные

чтения о путешествиях и экскурсиях, живое слово которых и графическое изображение виденного путешественником лучше всего знакомят публику с отдаленными местами нашего дорогого отечества. Затем, печатные труды в наше время служат неоспоримым средством для распространения полезных сведений о горах. Но, кроме того, и музеи, и библиотеки, и выставки являются могучими пособниками для ознакомления широкого круга лиц с задачами и целями Общества, а главное, с современным состоянием наших знаний о той или другой горной области».

За свою недолгую жизнь, несмотря на болезнь сердца, А. К. фон Мекк совершил восхождения на многие горные вершины Кавказа, Альп, Пиренеев, Балкан. В «Ежегоднике Русского горного общества» им опубликован ряд статей о развитии альпинизма в Западной Европе. Он участвовал в работе международных альпинистских конгрессов, состоял членом многих зарубежных альпинистских клубов.

Александр Карлович был человеком чрезвычайно разносторонним и оставил заметный след на разных направлениях русской науки и культуры конца XIX — начала XX века. При Русском географическом обществе им была создана Русская ледниковая комиссия, занявшаяся систематическим изучением ледников. Он собрал великолепную библиотеку, основной раздел которой составили книги по мировой экономике. Имелось в ней также немало трудов по географии и альпинизму, редкие карты, атласы, путеводители. Он коллекционировал русские экслибрисы и старые кредитные билеты. В 1906 году по его инициативе было создано Московское общество любителей книжных знаков, и его избрали его первым председателем. В последние годы жизни А. К. фон Мекк увлекся археографией, поступил слушателем в Московский археологический институт, взялся за изучение старых рукописей в московских и западноевропейских архивах, что послужило толчком к написанию ряда научных статей.

Дух захватывает, если, не вдаваясь даже в подробности, просто назвать, кроме уже перечисленных выше, организации, в работе которых Александр Карлович принимал деятельное участие. Он состоял председателем Общества содействия русскому торговому судоходству, председателем Московского попечительства о бедных Человеколюбивого общества, председателем Братолюбивого общества, членом Русского географического общества, членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, членом Общества для доставления средств высшим женским курсам, членом

Общества акклиматизации животных и растений… Его невозможно было застать праздным. Он хорошо разбирался в живописи и сам профессионально рисовал, был хорошим фотографом, увлекался музыкой, резьбой по дереву, топографией… Как на родном, он общался с европейцами на английском, немецком, французском и итальянском языках.

Но главное, что отмечали современники в А. К. фон Мекке, — это его прекрасный характер и любовь к ближнему. «Как человек, А. К. представлял собою удивительно симпатичную и скромную личность, — вспоминал Ф. Красильников. — Тем более удивительно, что по своему общественному и социальному положению он принадлежал к верхнему слою общества. Отдавая громадное количество времени различным благотворительным учреждениям, он стремился через них принести людям пользу и добро, ради которых эти учреждения были созданы. В них он работал во имя любви к людям и не стремился ни к каким отличиям. Этой же любовью и желанием добра была проникнута его деятельность и в обществах, поставивших своей задачей помощь учащейся молодежи. Даже в таких учреждениях, как Общество Московско-Казанской железной дороги, ничего общего с благотворительностью не имеющих, и то сказывалось его любвеобильное сердце. Он не раз высказывался за устройство для служащих дороги вполне здоровых и удобных жилищ, и в настоящее время это его желание осуществляется. Но это все, так сказать, его официальная деятельность. А сколько добра он сделал вне этой деятельности! Мне приходилось быть не раз свидетелем многочисленных и разнообразных просьб, которые отказа не получали. И все это делалось не с досадливым чувством к докучающим людям, а с поразительной скромностью и терпеливостью… Чрезвычайно скромный к себе и внимательный к людям, он обладал удивительной выдержкой. Я никогда не видел его не только раздраженным, но и просто рассерженным или даже разговаривающим с кем-либо повышенным тоном».

Чем больше слабел Александр Карлович телом, тем более укреплялся в нем дух. Больной и умирающий, лежа в постели своего московского особняка, он отвечал добродушным отказом на советы врачей и друзей поехать лечиться за границу: «Да, надо отдохнуть. Но я, кажется, набрал себе столько работы, что едва ли мне останется время для отдыха».

Три пасхальные службы. Религиозный и общественный деятель Александр Дмитриевич Самарин (1869–1932)

Великая суббота Страстной седмицы 1890 года. Всенощная в церкви Святой Татианы Московского университета. На клиросе слаженно поет студенческий церковный хор, которым руководит студент историко-филологического факультета Александр Дмитриевич Самарин, сам обладающий прекрасным баритоном.

Великая суббота Страстной седмицы 1919 года. Всенощная в церкви Бутырской тюрьмы. Антифоны и стихиры читает арестант Александр Дмитриевич Самарин. Он же руководит созданным из заключенных хором. После богослужения все, принимавшие в нем участие, с иконами и хоругвями, с пасхальным пением пошли крестным ходом по тюремным коридорам.

Великая суббота Страстной седмицы 1927 года. Всенощная в городском соборе Якутска. Службу псаломщика выполняет ссыльный Александр Дмитриевич Самарин. Он же, когда выходят к плащанице, третьим голосом поет: «Воскресни, Боже!»

Удивительную, с крутыми поворотами судьбы, радостными и горькими, прожил он жизнь. Кратко, используя казенный стиль, перечислим несколько фактов его биографии. Родился в Москве 30 января 1868 года, в доме 6 по Леонтьевскому переулку (ныне там Музей-квартира К. С. Станиславского). Племянник прославленного славянофила Ю. Ф. Самарина и сын также известного славянофила Д. Ф. Самарина. Окончил с золотой медалью 5-ю гимназию, на углу Поварской и Молчановки. По окончании в 1891 году Московского университета отбывал воинскую повинность как вольноопределяющийся гренадерской артиллерийской бригады.

В 1892–1899 годы — земский начальник в Бронницах Московской губернии.

В 1899–1907 годы — богородский уездный предводитель дворянства.

26 января 1903 года обвенчался в церкви Бориса и Глеба на Поварской с Верой Мамонтовой, дочерью известного богача-мецената Саввы Мамонтова, изображенной Серовым на знаменитой картине «Девочка с персиками».

27 декабря 1907 года — смерть жены.

В 1908–1915 годы — московский губернский предводитель

дворянства.

В 1914–1915 годы — главный уполномоченный Всероссийского Красного Креста.

С 5 июля по 25 сентября 1915 года — обер-прокурор Святейшего Синода.

С 30 января 1918 года — председатель Совета объединенных приходов московских церквей.

25 сентября 1918 года — первый арест и заключение в Бутырской тюрьме.

В апреле 1919 года выпущен из тюрьмы по личному распоряжению Дзержинского и лето провел в бывшем имении жены — усадьбе Абрамцево.

15 августа 1919 года — второй арест и заключение в Таганской тюрьме.

16 января 1920 года — приговорен к расстрелу, но «ввиду победоносного завершения борьбы с интервентами» суд счел возможным заменить высшую меру наказания «заключением его в тюрьму впредь до окончательной победы мирового пролетариата над мировым империализмом».

В марте 1922 года выпущен из тюрьмы и три с половиной года прожил в Абрамцеве.

Осенью 1925 года — третий арест и семимесячное заключение в тюрьме на Лубянке, после чего осужден на три года ссылки за церковную деятельность и отправлен по этапу в Якутию.

Летом 1929 года отпущен из Якутии и отправлен на жительство в Кострому, где прошли два последних года его жизни.

Сухие факты. Но за ними — полнокровная, жертвенная жизнь. Это даже не жизнь, а житие. Вот лишь три крохотные сценки, без разграничения на главные и второстепенные. Ведь даже вороша свое собственное прошлое, мы зачастую не в силах понять, что считать в нем значимым, а что — пустяшным.

Рассказ Самарина о своей встрече с Николаем II в Барановичах 20 июня 1915 года.

«Я надел мундир с орденами и стал ожидать приема у Государя. Мне пришлось ждать несколько долее, чем я предполагал, т. к. Государь из палатки, где выслушивал доклад о ходе военных действий, направился в местный лазарет. Наконец, меня позвали к Государю. Вагон Государя имеет какое-то особенное устройство. В нем так же, как в других вагонах, идет сбоку коридор, но из этого коридора нет обычных дверей в отделения. В конце коридора лакей отворил мне дверь, и я вошел в небольшой кабинет Государя. Сбоку у наружной стены, между

окон, стоял письменный стол, а у стены, перпендикулярно к наружной, был диван и несколько кресел. Над диваном висело зеркало. Государь встретил меня приветливо словами:

— Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Вы приехали вчера?

— Да, Ваше Величество. Я извиняюсь, что, по-видимому, запоздал своим приездом.

Обращение Государя «Александр Дмитриевич», вместо прежнего «Самарин», заставило меня сразу почувствовать, что решение назначить меня обер-прокурором уже принято Государем. Государь сел на диван, а мне повелел сесть в кресле против него так, что я видел себя *все время в* зеркале.

— Мне писал Горемыкин, что Вы отказываетесь от предлагаемой Вам должности обер-прокурора Св. Синода.

— Да, Ваше Величество, я нахожу для себя невозможным принять эту должность, и я просил бы Ваше Величество разрешить мне высказать откровенно те соображения, которые заставляют меня отказаться.

— Пожалуйста, высказывайтесь совершенно откровенно.

— Меня заставляет отказаться, Государь, прежде всего моя полная неподготовленность к этой деятельности. Моя служба протекала до сих пор в совершенно другой области. А между тем деятельность обер-прокурора Св. Синода требует большой подготовки именно в области церковных вопросов. Скоро, Бог даст, Россия возьмет Константинополь, и тогда возникнет чрезвычайно сложный вопрос о том, в какие отношения стать нашей церкви к церкви Константинопольской.

— Этот вопрос уже разрабатывается в Синоде или в специально для этого организованной при Синоде комиссии. Как только возник вопрос о занятии нашим десантом (теперь обстоятельства иначе сложились и мы можем действовать только своим флотом) Константинополя, я велел заняться этим вопросом в Синоде и, наверное, там этим уже заняты. Во всяком случае, материал для решения этого вопроса у нас будет. Мне думается, что нашей церкви не следует вмешиваться в дела церкви Константинопольской, они обе должны жить совершенно самостоятельно. Тем более что ведь наша церковь — дочь церкви Константинопольской. Может быть, я и ошибаюсь, но мое мнение таково. А что касается Вашей неподготовленности к деятельности обер-прокурора Св. Синода, то скажите: кто же может считаться к ней подготовленным?

Я уже почувствовал это возражение, и так как на него мне нечего было ответить, я перешел ко второму основанию своего отказа.

— Ваше Величество, недавно Вам угодно было удостоить

меня благодарности за откровенное и правдивое слово. Государь, если я мог сказать такое слово, то только в силу своего положения, как представителя дворянства. Я выражал не свои мысли и чувства, а мысли и чувства дворянства, мысли и чувства, которые разделяются широкими кругами русского общества. А выразить эти мысли я мог потому, что служил на месте, в Москве, в среде местного общества. Я сросся с Москвой всей своей жизнью, я прирос к ее жизни как бы корнями. С переездом на службу в Петроград я потеряю эту связь с дворянством и Москвой, стану, если позволите так выразиться, простым чиновником. Я не говорю, что чиновник не мог бы сказать правдивое слово своему Государю, но то будет уже его мысль, его мнение, а не мнение общества. Кроме того, своим уходом я поставлю в затруднение московское дворянство.

— Разве Вас некем там заменить? Кто там уездный московский предводитель?

— Князь Владимир Владимирович Голицын. Он человек дельный и энергичный, но слишком молод. Вряд ли на нем остановились бы при выборе губернского предводителя. И трудно назвать кого-нибудь другого, кто мог бы объединить большинство дворянства. Между тем в последние годы удалось дворянству московскому сплотиться. И его голос получил самостоятельное, определенное значение. Вряд ли было бы желательно, чтобы этот голос замолк. В некоторых случаях, в силу сложившихся обстоятельств, голос московского дворянства выражал Москву и дворянство являлось объединяющим центром.

— Да, Вы немало потрудились при открытии памятника моему отцу и в столетнюю годовщину войны 1812 года.

— Наконец, Государь, самая должность обер-прокурора Св. Синода мне представляется по существу ненормальной. Было бы вообще желательно освободить церковь от опеки государственной власти.

— Я с этим совершенно согласен. Вот Вы и старайтесь вести дело к этому.

— А наряду с этим давлением обер-прокурорской власти на церковь меня крайне смущает зависимость церкви от Государственной Думы. Уже в силу моих основных политических убеждений мне было бы крайне неудобно являться в Думе в качестве члена правительства. Но, кроме того, самую зависимость церковной власти в финансовом отношении от людей или равнодушных к церкви, или вовсе неверующих, я считаю крайне ложной.

— Я с Вами совершенно согласен.

Мои аргументы исчерпывались, а между тем цели они не

достигали. Государь молчал и, видимо, не считал их достаточными для того, чтобы согласиться на мой отказ. Тогда, после некоторой паузы, я сказал:

— Ваше Величество, есть еще одно обстоятельство, которое заставляет меня отказаться от должности обер-прокурора. Хотя мне крайне тяжело его касаться, но я просил бы Вас, Государь, дозволить мне высказать и его.

— Пожалуйста, говорите совершенно откровенно.

— Я хочу сказать о Распутине.

При этих словах Государь опустил голову.

— Государь, вот уже несколько лет, как Россия находится под гнетом сознания, что вблизи Вас, вблизи Вашего семейства находится человек недостойный. Жизнь его хорошо известна в России, а между тем этот человек влияет на церковные и государственные дела. Государь, это не пересуды, это твердое убеждение людей верующих, людей, Вам преданных. Это сознают многие епископы русской церкви, но не решаются только высказать. Он сам об этом говорит, и есть факты, доказывающие, что его голос имеет значение для некоторых сановников…

Помолчав немного, я сказал в заключение:

— Государь, я изложил Вам со всей откровенностью соображения, которые заставляют меня отказаться от должности обер-прокурора Св. Синода, и я снова обращаюсь к Вашему Величеству с усердной просьбой дозволить мне служить Вам, Государь, на прежней должности, где я чувствую, что могу быть полезен.

— Однако все указывают именно на Вас, как на самого подходящего кандидата на пост обер-прокурора Св. Синода.

— Позвольте, Государь, объяснить Вам, почему на меня указывают. Я имею честь носить фамилию, которая заслужила известность в России трудами старшего поколения нашего рода.

— Да, еще бы.

— Это имя, по убеждению лиц, указывающих на меня, как на кандидата в обер-прокуроры Св. Синода, не позволит мне мириться с этим влиянием.

— Вы говорите про Распутина?

— Да, Государь. Мое имя обязывало бы меня принять решительные меры, которые бы сразу всем показали, что прежнему значению Распутина в делах церковных положен конец.

Наступило молчание. Государь поник головой. Через несколько секунд, показавшихся мне большим промежутком времени, Государь сказал:

— Обдумав все, что Вы мне сказали, я все-таки прошу Вас принять должность обер-прокурора Св. Синода.

— Если, Государь, несмотря на все соображения, которые я привел, Вашему Величеству угодно, чтобы я принял предлагаемую должность обер-прокурора, мне ничего не остается, как подчиниться воле Вашего Величества.

Государь просиял. С одной стороны, ему было приятно, что я согласился. С другой, что кончился тяготивший его разговор. Он встал и трижды поцеловал меня. Я поцеловал его руку. Он снова меня поцеловал, а я вторично поцеловал его руку. Он не отнимал ее.

Я вышел, полный ощущения пережитых мгновений, подавленный происшедшей переменой во всей моей жизни.

Неурочный колокольный звон.

Душный июль 1926 года. Заключенных выгрузили из вагонов, пересчитали и погнали через весь Иркутск к пересыльной тюрьме. Большинство арестантов были москвичи и с любопытством разглядывали суровые сибирские дома. В очках, в черном подряснике и скуфье заключенный Степанов — архиепископ Иркутский Гурий — улыбнулся своему спутнику, заключенному Самарину — бывшему обер-прокурору Синода:

— Александр Дмитриевич, а ведь мне еще не приходилось бывать в своей епархии после назначения. Первый раз очутился, да и то не по своей воле.

— Владыка, вы, наверное, первый епископ, который вступает в свои владения под конвоем.

Раздался колокольный звон. Часть арестантов и солдат конвоя перекрестились. Прошли мимо церкви, наглухо закрытой, только со звонницы неслись колокольные раскаты.

— Подтянись! Не разбредайся — подстрелю, — лениво пригрозил старший конвоя.

Опять послышался колокольный звон. Он теперь шел от второй на пути церкви.

— Владыка! — вдруг взволнованно радостно воскликнул Самарин, нагнувшись к низенькому архиепископу. — А ведь это вас встречают.

— Ну что вы, — смутился Гурий, но все же приосанился, поправил подрясник на своем аскетически худом теле.

— Вас, непременно вас. По времени сейчас богослужение невозможно. Отчего же звон? Да вы посмотрите вперед.

Возле церкви собралась толпа в полсотни человек. Среди них был и священник в облачении. Все они смотрели в сторону колонны арестантов.

— А ну разойдись! — крикнул в толпу старший конвоя и вышел вперед, щелкнув затвором винтовки.

Толпа не сдвинулась с места.

— Кто разрешил здесь собираться?

— Гражданин начальник, — на излете, без надежды пропела женщина в похожем на монашеское одеянии. — Разрешите взять благословение у нашего владыки.

— А ну молчать! — старший конвоя направил винтовку на толпу и не опускал ее, пока колонна не миновала собравшихся богомольцев. Из-за спины услышал:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Это архиепископ Гурий, высоко подняв руку и не переставая идти, благословлял свою паству.

Впереди вновь раздались перезвоны — еще один храм встречал своего архипастыря.

— Как хорошо, как радостно на душе! — улыбнулся заключенный Самарин».

Похороны Самарина в Костроме по воспоминаниям его дочери.

«Бедный брат мой приехал рано утром 31 января с первым возможным поездом. Он нашел нас с тетенькой дома и все понял. На следующее утро приехала тетя Аня, Катя (Юшина жена), Нина Фудель, Дмитрий Васильевич Поленов — вот все, кого я помню из приехавших близких. Бесконечно много помогала в эти дни Марина Матвеева (Беляева), жившая тогда в Костроме («Минус шесть»). Она и тогда была верным искренним другом. Анна Владимировна, семья Никольских — были все около. Прямо из больницы гроб привезли в храм Бориса и Глеба. Как удивительно, что жизнь отца с самого раннего детства и до кончины была связана с храмами во имя этих святых. Отпевали отца три священника. Кто был, кроме о. Сергия Никольского, который глубоко переживал кончину моего отца, не помню, но кто-то местный, костромской. Не один раз при жизни отец говорил, что ему хотелось бы, чтобы при его погребении пели Софрониевскую Херувимскую и запричастный стих «Чертог Твой» Бортнянского. Это исполнил маленький и скорбный хор, потерявший свою опору, своего регента. Скромнейший отец Сергий сказал над фобом такое же, как он сам, скорбное слово, полное глубокого понимания и уважения к отцу моему. (Сам он своими умелыми руками сделал к полугоду чудесный деревянный крест с крышей, и в том же году и сам скончался и похоронен невдалеке от моего отца.) По моей просьбе отпевание служили полное. Я решилась покрыть лицо после отпевания «воздухом», присланным ему с мощей преподобного Серафима в ссылку. (Чем смутила многих женщин, решивших, что он имел сан иерея, а сана он не имел, но это было в последние годы самым заветным его желанием.) Затем гроб везли на санях, на лошади, на кладбище. До сорокового дня

приезжали еще близкие. Кончина была настолько неожиданной, что на похороны попасть было очень трудно. А сколько писем я тогда получила! Они и сейчас хранятся у меня, как многоголосый хор, провожающий уход отца моего в иной мир…»

Увы, этот очерк — лишь несколько бледных штрихов к портрету А. Д. Самарина. Для более-менее полного отображения облика этого удивительного человека понадобилось бы написать большую книгу — столь многогранна и щедра на события его шестидесятитрехлетняя жизнь. Через биографию Самарина можно увидеть и понять в неискаженном свете Россию рубежа XIX и XX столетий. Но мы на удивление нелюбопытный народ. Нам подавай клубничку — десятки, сотни книг об артистах, чьи интересы не простирались дальше съемочной площадки «Мосфильма» и театральной гримерной. А вот о многих людях, сыгравших значительную роль в истории России, мы попросту забыли.

Иллюстрации

Я. В. Брюс.

З. Г. Чернышев.

Митрополит Платон.

А. И. Мусин-Пушкин.

З. А. Горюшкин.

Н. Б. Юсупов.

Н. И. Новиков.

Ф. В. Ростопчин.

Е. В. Новосильцева.

И. С. Сальников.

Д. В. Голицын.

Москва, Ильинские ворота.

П. И. Шереметева.

М. Я. Мудров.

П. М. Меликов.

Ф. П. Гааз.

Ф. И. Толстой.

И. Я. Корейша.

П. В. Хавский.

А. А. Закревский.

М. А. Дмитриев-Мамонов.

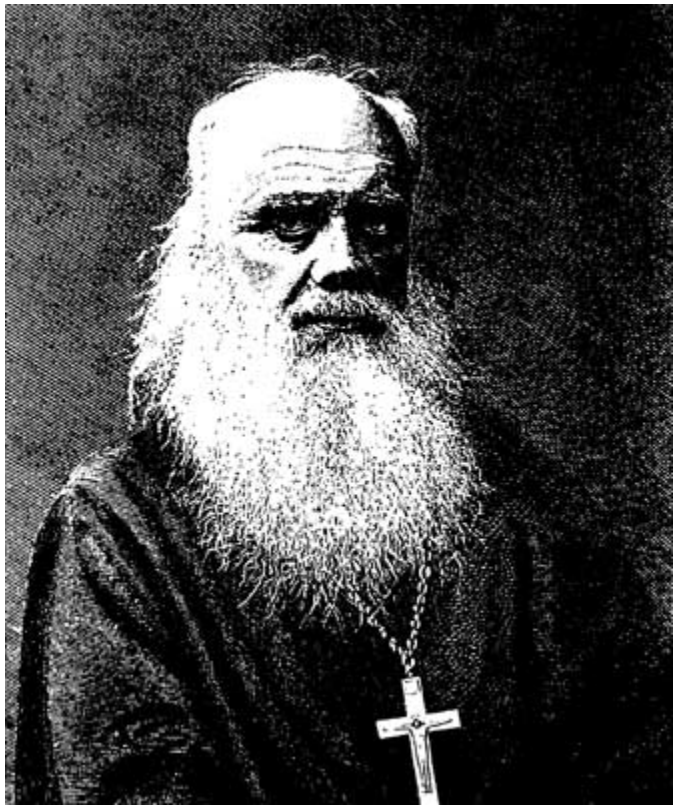
Д. М. Перевощиков.

М. Д. Быковский.

Д. Т. Ленский.

Н. Х. Кетчер.

Н. А. Степанов.



А. В. Горский.

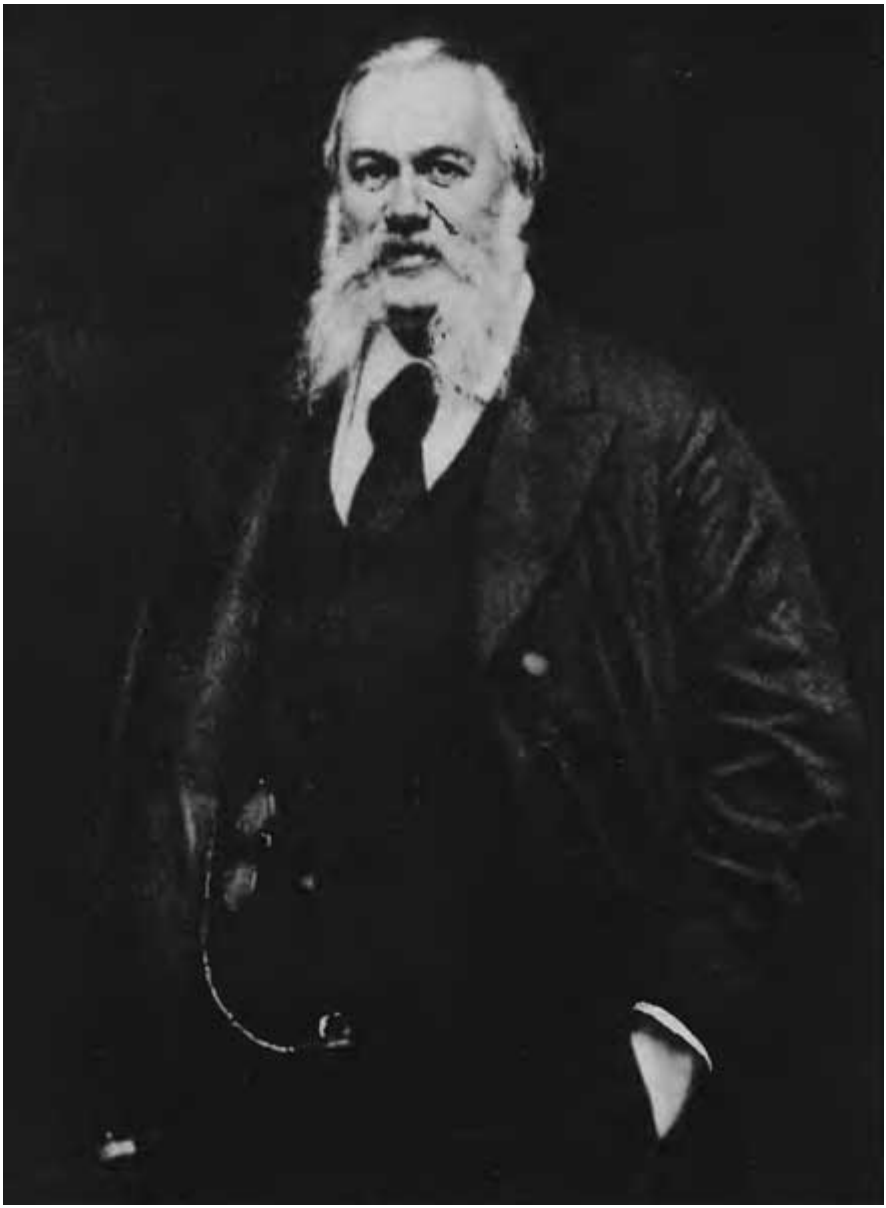
В. А. Долгоруков.

П. В. Шумахер.

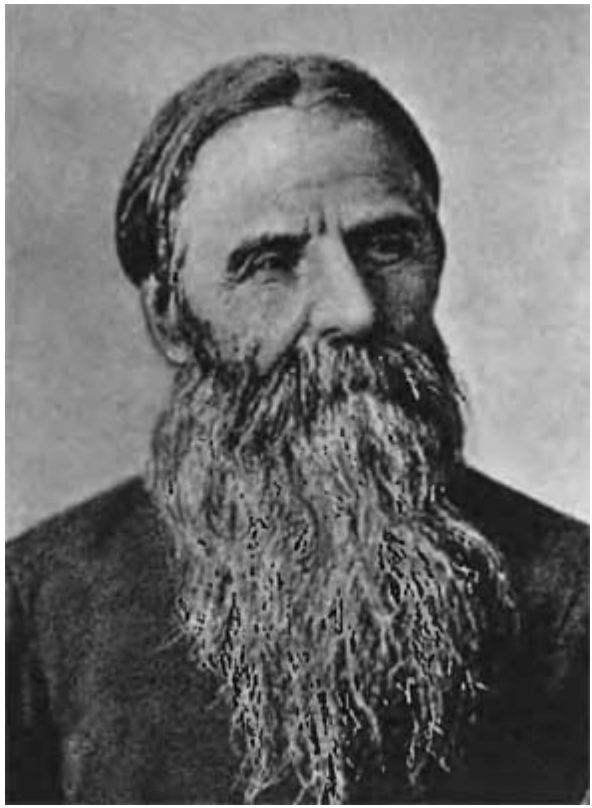
Н. И. Огарев.

М. И. Доброхотов.

И. С. Аксаков.



А. А. Щербатов.



И. И. Новиков.

Н. И. Пастухов.

А. Ф. Малинин.

Г. А. Брокар.

Л. И. Поливанов.

А. М. Эрлангер.

Общий вид Кремля на рубеже XIX и XX веков

М. К. Турский.

Ф. Н. Плевако.

М. В. Лентовский.

Д. И. Тихомиров

Ф. Ф. Мазурин.

В. К. Шпейер.

Н. А. Каблуков.

Ф. В. Соболев.

Ю. Н. Мельгунов.

И. Д. Сытин

О. А. Виноградская.

К. П. Степанов.

В. С. Орлов.

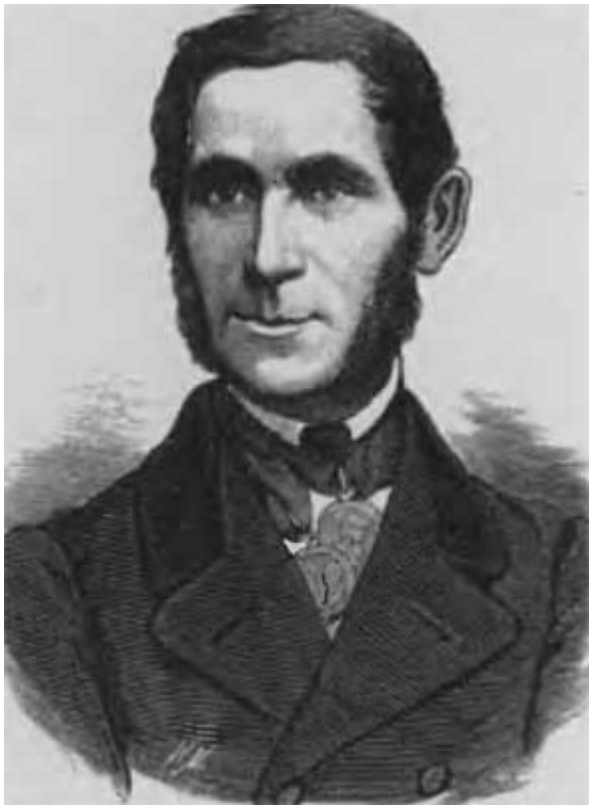
В. М. Гончаров.

Устройство электрической иллюминации на Кремлевской башне.

Московский Кремль. Гравюра. 1889 г.

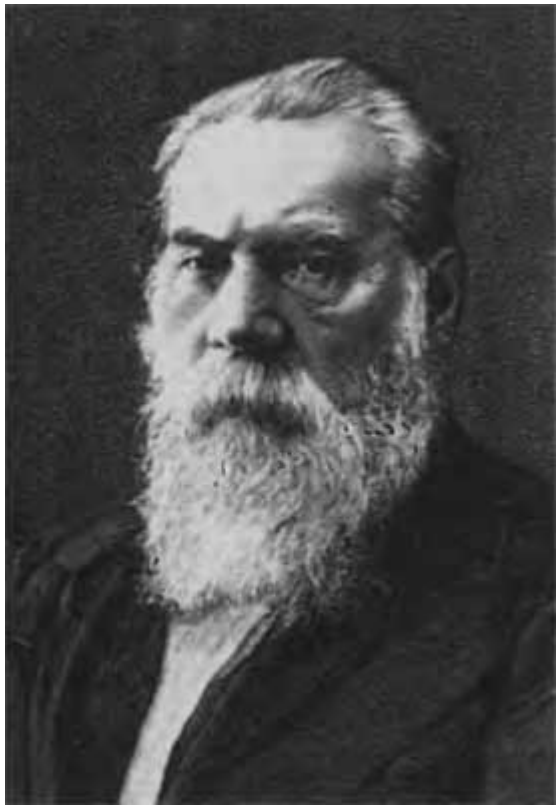
А. П. Шестов.

П. М. Садовский.



Н. И. Подключников.

П. М. Леонтьев.



Ф. В. Чижов.

Ф. А. Бюлер.

Здание архива Министерства иностранных дел на Воздвиженке.

Дом Московского Археологического Общества на Берсеневке.

А. С. Уваров.

В. А. Черкасский.

Памятник Н. Г. Рубинштейну и кн. В. А. Черкасскому в Даниловом монастыре в Москве.

А. К. фон Мекк в костюме альпиниста

М. А. Хлудов.

Красная площадь. В центре — памятник Минину и Пожарскому.

Вид Императорского Кремлевского дворца с Москвы-реки.

Старое здание Московского университета.

Новое здание Московского университета.

Зал Московской Городской Думы. 1883 г.

Театр и сад «Эрмитаж».

Вид Красных ворот.

Вид части города с Кремлевской стены. Первая половина XIX века.

Сухарева башня.

Вид Красной площади.

Попрошайка.

Книгоноша.

Антикварий.

Поливка Красной площади.

Извозчик кареты скорой помощи.

Уличные сцены. Рис. 1884 г.

Примечания

[1] Этот дом не сохранился, на его месте дом № 54 по Большой Никитской улице.

[2] Два последних анекдота записаны А. С. Пушкиным.

[3] Руссо Жан Батист — французский лирик.

[4] Живот (устар.) — жизнь.

[5] Убрус — платок.

[6] Это название Дума получила в связи с тем, что в нее избирались шесть гласных, которые под председательством головы заведовали городским хозяйством.

[7] Купец Кузьма Третьяков.

[8] Подол — так называли левый низменный берег Москвы-реки.

[9] То есть Чудову монастырю (Чуда Архангела Михаила в Хонех).

[10] Не путать с устроенным позже садом «Эрмитаж» между Успенским переулком и Садовым кольцом.